

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва)

Борис Херсонский (Одесса),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Владимир Алейников (Коктебель),

Вальдемар Вебер (Аугсбург)

Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник

Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания шестнадцатый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

www.kreschatik.nm.ru

http://magazines.russ.ru/

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2014 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

В гостях
у «Крещатика»

Поэты Донецка

Вениамин Белявский	5
Владимир Рафеенко	60
Светлана Куралех	83
Григорий Брайнин	100
Владислав Ламаш	116
Дмитрий Трибушный	139
Евгений Мокин	171
Александр Товберг	186
Мария Панчехина	251
Александр Савенков	264
Екатерина Сокрута	288

Проза

Алла Дубровская / Нью-Йорк /
Борис Ванталов / СПб. /

Одинокая звезда. Роман	10
Письма в никуда	73

В гостях
у «Крещатика»

Прозаики Донецка

Виталий Ченский	Вовлеченные. Рассказы	88
Николай Фоменко	Петрович. Рассказы	106
Элина Свенцицкая	Единственный свидетель. Рассказы	119
Дмитрий Пастернак	Милитари стайл. Рассказы	145
Алексей Купрейчик	Человек-книга. Рассказы	175
Елена Стяжкина	Всё равно, что будет. Повесть	189

Светлана Заготова	Малая проза	253
Виктор Шепило	Беспокойная ночь. <i>Рассказы</i>	269
Дмитрий Дейч	Свидетель обветшания Вселенной	292
Сергей Шаталов	Из цикла «Театр плохих актеров»	307

Контексты: эссеистика, критика, библиография

Лев Аннинский / <i>Москва</i> /	Ледяная гора среди горячих миражей	318
---------------------------------	---------------------------------------	-----

Латинский квартал

Александр Феденко / <i>Москва</i> /	Сабля. <i>Короткие рассказы</i>	323
-------------------------------------	---------------------------------	-----



Вениамин БЕЛЯВСКИЙ

/ Донецк /

Из книги
«Транзит: Юзовка — Донецк»

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ

Меня подгоняло время:
пришла пора собирать камни.
Поднял один
и надорвался.

БЕССОННИЦА

Спят часы уже лет двести,
стрелок вниз упало жало,
сердце биться перестало.
Шкафа тень стоит отвесно.

Кто-то что-то здесь бормочет.
Шашель тихо точит время,
дятел клювом долбит темя,
зверь пробрался между строчек.

Зверь заснул, застыл на месте.
Сон сбежал, опять не спится,
я повис на стрелках-птицах
тварью глупой, бессловесной.

Так проходит ночь за ночью
в тишине и ожиданье.
Между слов на самой грани,
все короче и короче...

КРУГОВЕРТЬ

Законы физики
вывернуты наизнанку:
Время идет вспять,
разбитое яйцо
собирает скорлупки,
прячет цыпленка
под своей идеальной оболочкой
и само исчезает
в материнской утробе.

Курица или яйцо —
вечный спор о первенстве.

Интересно,
кто окажется последним
в конце этой круговерти?

ОДИНО́

I

Я в Зазеркалье перебрался, там
Рассохшийся от времени диван,
заброшенные книги, дни, друзья
забытые, хоть их забыть нельзя.
Там улицы, которых нет давно,
и широкоформатное кино,
в которое бегу и прячусь в нем,
с героями делю и хлеб, и дом,
и предаю их, убегая в жизнь,
преображенную системой хитрых линз...

Я в зеркало взглянул (или в меня — оно)
и имя прочитал там — Одинó.

II

Он изучал природу Зазеркалья,
его истоки и его историю,
однажды обнаружил Забокалье
и небольшой подвальчик-зарасторию.
Бывал здесь Заратустра с поученьем,
далеким от арийского полета.
Под гул пивной сходило просветление,
и он, трезвея, вновь хотел чего-то.

Здесь Одино́ под вечер одиноко
среди чужих и неуютных судеб.
И он кричит: «Всевидящее око!» —
и бьет стекло: он зеркала не любит.

Дробится мир на мелкие частицы,
и в каждой Одино́ так одиноко,
что снова он сдержать себя не в силах,
и он поет, и песнь звучит жестоко.

III

Я робко выглянул из зеркала.
Как тихо в комнате, как пусто.
Пыль оседает так серебряно,
так безучастно, безыскусно.

И все низводится до пошлости:
ты продал то, ты предал это.
И только оттисками прошлого
сутуляются в углах предметы.

ТОПОГРАФИЯ ДЕТСТВА

Там, где сейчас вальяжно разлеглась площадь
имени немецкого шпиона, окруженная тушами небоскребов,
стояли все те же одноэтажные домишки убогой Юзовки,
чьи босяцкие традиции дошли до нашей юности.
Рядом с моим домом были две пивные, и события,
происходящие в них, были для нас событиями
мирового масштаба.

На углу стояла будка сапожника Зямы. А в трех кварталах от нас —
террикон, на который тогда лишь робко взбирались кустарники.

МОИ ПОТЕРИ

Мои потери —
старые дворы,
беспечный смех
и длительность пространства,
и протяженность времени, когда
минуты набегали друг на друга,
сбегались в день,
а в день вмещались два.

Как долго было ждать,
когда стемнеет
и все наполнится
предсонной тишиной,
когда покой
созреет.

МОЙ ОТЕЦ

Я брожу по улицам
с безусым юношей
и беседую с ним.
«Отец», — говорю я ему,
хоть старше его на полвека,
на свою прожитую жизнь старше.
А что изменилось?
Что вообще меняется?
Чем может гордиться старость?
Что седой, что юнец —
два сапога пара.
«Отец», — говорю я ему,
но он меня не слышит.
Я незаметно поправляю
ворот его пиджака
и прячусь в свое время
по-английски —
не прощаясь.

ОТ ПУНКТА А ДО ПУНКТА Б

Григорию Брайнину

От пункта А до пункта Б недолгий путь,
но нас, идущих, остается мало.
И ветер резкий продолжает дуть,
но нужно двигаться, во что бы то ни стало.

Условия задачи так просты:
из пункта А до пункта Б дойти.

От пункта А до пункта Б короткий путь,
нам нужно полуостров обогнуть,
пройти Азов и Керченский пролив.
А берегов изгиб нетороплив,

он шепчет нам, что это глупость, право,
куда спешить, когда кругом вода,
и солнце разливает желтый жар,
и ветер дует. Разве это мало...

Не нам судить. А нам творить бузу:
смотреть на море, и читать стихи,
и пить вино, испытывать судьбу,
летающую на грани двух стихий.

Мы над морской поверхностью парим,
несимметричны наши два крыла,
и боцман, как архангел Гавриил,
ну разве что немного пьян с утра.

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Кто-то скажет, что все быльем поросло, а кто-то листает
старый альбом фотографий, проживая чужое прошлое,
и становится богаче еще на одну жизнь.



Алла ДУБРОВСКАЯ

/ Нью-Йорк /

ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА¹

Сенатора от Нью-Йорка миссис Клинтон встречали в главном аэропорту штата. Располневшая и потяжелевшая, Хиллари спускалась по трапу навстречу Эвансам, показывая всем своим видом, что она в порядке и не нуждается ни в каком сочувствии. Наоборот, это они — Лиза и Джон, нуждаются в ее помощи. Глядя на нее, трудно было представить ее молоденькой и тоненькой девочкой в джинсах, с копной рыжеватых волос, всегда готовой расхохотаться над шутками Билла. Когда-то они были красивой парой. Впрочем, подумал Эванс, мы тоже были красивой парой в молодости, и он невольно сравнил миниатюрную Лизу, до сих пор предпочитающую носить короткие юбки, и стоящую рядом с ней в брючном костюме Хиллари. Говорили, что она страдает отеками ног и старается их не показывать. Очень существенный недостаток в представлении американских избирателей. Внешность никогда не была главным орудием в арсенале Хиллари. Она считалась умным и тонким политиком, сохранившим свою репутацию в партии, несмотря на все перипетии в ее семейной жизни.

После поцелуев и приветствий сразу же перешли к делу. Миссис Клинтон готова была посвятить пару дней своим друзьям и единомышленникам. У Роберта прибавилось работы. Ожидался большой наплыв желающих посмотреть и послушать бывшую первую леди, мужа которой уличили в неверности перед всем миром. А в том, что ее приезд стал настоящим событием, Роберт нисколько не сомневался. На двух сенаторов набросились телевизионщики всех местных каналов прямо в аэропорту.

Прибавилось хлопот и у Патрика. Юг Америки — это вам не Нью-Йорк какой-нибудь. Здесь до сих пор на многих домах развевается флаг конфедератов. Там, у себя на севере, миссис Клинтон может говорить о правах геев. Здесь, на юге, это не пройдет. И аборт здесь считается святотатством и приравнивается к убийству. Так что все разговоры о том, имеет ли женщина право делать аборт или нет, хороши там, на севере. А здесь, на юге, для многих миссис Клинтон — чужая выскочка, хотя именно на юге, в Ар-

¹ Продолжение. Начало «Крещатик» № № 61, 62, 63.

канзасе, она начинала свою адвокатскую карьеру и 12 лет была первой леди этого захолустного штата, после того как Билл несколько раз избирался там губернатором. Странное дело, Клинтоньы всегда и везде умели наживать не только верных друзей, но и отчаянных врагов.

Для миссис Клинтон выделили полицейский эскорт и дополнительную охрану.

Все люди в штабе Эванса срочно занялись подготовкой встречи с избирателями. Аренда, реклама, оплата всевозможных услуг... Вот когда подтвердилась главная аксиома любой избирательной кампании — деньги решают все. Роберту предстояла роль дирижера грандиозного симфонического оркестра — настоящее испытание для провинциального мальчика, пытающегося связать свою карьеру с восхождением сенатора Эванса, а в его восхождении он не сомневался.

Главные солисты занялись разборкой партитуры уже в доме Эвансов, укрытом от посторонних взглядов роскошным садом, в котором Лиза продолжала трудиться даже после операции. Этот дом мало чем отличался от других домов зажиточных южан. Разве что в нем не было детской комнаты, а в кабинете сенатора стояли полки с книгами — редкость в наше время в любом американском доме. Но приглядевшись, можно было увидеть, что книги эти исключительно по юриспруденции, а, значит, читались в пору, когда Джон Эванс еще служил адвокатом. Романами увлекалась Лиза, да и то брала их в библиотеке. В гостиной по стенам висели акварельки работы Таши Эванс, давно покинувшей отчий дом. Для Хиллари были отведены две комнаты наверху, откуда она спустилась в кабинет сенатора, едва передохнув после перелета и толкучки в аэропорту. Устроившись в кресле и положив ногу на ногу, она начала первая:

— Насколько мне известно, в Белом доме задумали опасный эксперимент. Чейни готовит ряд законов, позволяющих президенту принимать решения в обход Конгресса, ссылаясь на военное время. Вы понимаете, Джон, что это попытка изменить нашу конституцию, а может быть, даже и переворота. Сейчас нельзя им отдавать ни одного места ни в Сенате, ни в Конгрессе. Макмэрфи и вся ваша местная шайка хорошо знакомы с Чейни. Не трудно предсказать, как он поведет себя в случае прохождения в Сенат, — она говорила спокойно и уверенно, как всегда, глядя в глаза собеседнику.

Вот к этому Эванс не был готов. Хотя он и знал некоторые подробности вашингтонских закулисных игр, игры местного значения интересовали его сейчас больше. А что, если она прикрывает словами об опасности переворота какие-то свои личные интересы? Может, она ищет сторонников, пытаясь отбить очередной выпад против Клинтоньов? С другой стороны, Эванс прекрасно понимал, что Билл больше никого не интересуется, за последний год он всего несколько раз упоминался в прессе и только в связи с Хиллари. Конечно, могут быть какие-нибудь темные истории в Нью-Йорке, вокруг Клинтоньов всегда крутились сомнительные люди, но сейчас Джону до этого не было дела. К тому же, он прекрасно помнил, что год назад Хиллари Родэм Клинтон открыто высказывалась за

предоставление чрезвычайных полномочий президенту в случае военной атаки на США. И если она изменила тактику, значит, он должен понять, что за этим стоит.

— Хиллари, вы что-то знаете, чего не знаю я, да? — теперь уже Эванс внимательно следил за выражением лица своей собеседницы. Какую-то секунду она колебалась, затем продолжила:

— Я вчера говорила с Тенетом, Джон. В Ираке нет средств массового уничтожения. Проверены последние места возможного хранения. Пусто. Они держат это сообщение пока в секрете от прессы. Скорее всего, Чейни попытается провести свои законы до того как разразится скандал.

— Подождите, подождите, я-то был уверен, что все обвинения против Саддама строились на информации, полученной ЦРУ из достоверных источников. И именно Тенет, как человек возглавляющий ЦРУ, несет ответственность за эту информацию. Я, черт возьми, ему доверял... Хорошенькое дело... А тогда, простите меня, зачем вообще нужно было все это затевать?

— Ну да. Видите, чем это все оборачивается? Понимаете, как они нас подставили? Всех. Они просто нас на-е-ба-ли. Они наебали Конгресс, да что там, Господи, говорить. Они наебали весь мир, чтобы развязать нужную им войну. А теперь, когда дело сделано, а никакого оружия не оказалось, они свалят все на Тенета.

Но в середине ее гневной тирады Эванс вдруг вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь.

— Извините, ради Бога, — успел он сказать ей в свое оправдание, — мне нужно срочно позвонить.

Из гостиной Лизе было видно, как ее муж в большом волнении разговаривает с кем-то по мобильнику.

— Ты меня понял? — донеслись его отрывистые слова, — этот ролик не должен выйти в эфир. Перезвони, как только свяжешься с телевидением.

— Все в порядке, — он махнул рукой насторожившейся Лизе и вернулся в кабинет, где Хиллари встретила его понимающим и, как ему показалось, сочувствующим взглядом.

— Так о чем мы говорили? Кажется, о Тенете? Незавидное у него сейчас положение. Я все-таки не понимаю, чем можно объяснить такой ужасающий прокол. Это что, провал разведки? Мне не хочется думать, что он подыграл этим подонкам, все-таки он, кажется, ваш большой приятель.

— С чего вы взяли? — резко ответила Хиллари. — Мы никогда не были друзьями. Я имею в виду, близкими друзьями. Да, Билл поставил его во главе ЦРУ, но это еще ничего не значит. Наоборот, он считал, что очень важно сохранять между ними дистанцию. Понимаете? В таком случае, у каждого из них есть возможность иметь независимую позицию. У меня есть большие подозрения в том, что Тенет утратил свою независимость в отношениях с Бушем. Скорее всего, в какой-то момент он пошел с ними на компромисс. Все это предстоит расследовать и выяснить.

— Так вы хотите, чтобы я поставил вопрос о создании новой комиссии Конгресса по Ираку? Признаться, сейчас не самое подходящее для этого время. Я бы хотел сосредоточиться на местных проблемах. Мне пришлось рано втянуться в предвыборную кампанию. Можно сказать, Харрисон и Макмерфи втянули меня в гонку. А какие у вас планы на будущее? Не хотите попробовать выставиться на следующий год?

Вот уж этот вопрос он мог и не задавать. Искреннего ответа на него в любом случае бы не последовало. Не такой Хиллари человек, чтобы раскрывать свои планы, хотя и упрекать ее в этом нельзя. С какой это стати она вдруг разоткровенничалась бы с Эвансом? Поняв свою ошибку, он обезоруживающе улыбнулся и добавил:

— По-моему, ситуация складывается самая подходящая. Сейчас, когда станут известны новые факты в политике этой администрации, у нас появятся отличные шансы завалить Буша на предстоящих выборах. Вы не находите?

Она ответила долгим и внимательным взглядом, словно раздумывая, можно ли ему доверять.

— Вот об этом я и хотела с вами поговорить, Джон. Вам не кажется, что у Конгресса будут достаточные основания начать процесс импичмента Буша?

Эванс не торопился с ответом. Он перевел взгляд на руки его собеседницы, скрещенные на колене. Руки пожилой женщины, никогда не знавшей физической работы. Отекшие пальцы. Кольца с бриллиантами. Решительно выставленная нога в лакированной туфле. Все это начинало раздражать его. Так вот почему она так живо откликнулась на его приглашение. За все приходится платить. Импичмент. Она, кстати, большой специалист по этому делу. Сначала копала под Никсона, потом испытала все на своей шкуре с импичментом Билла и вот теперь, похоже, готова им отомстить. Может, это и хорошая идея, кстати.

— Я так понимаю, Хиллари, что, в конечном счете, многое зависит от Тенета. Он может взять ответственность на себя за ошибки ЦРУ и тем самым выгородить президента или признаться в том, что не предоставлял никакой информации по Ираку, не имея достоверных данных, и тогда всем станет очевиден подлог, на который пошли эти подонки, чтобы начать войну.

Заметив его взгляд, Хиллари убрала руки с колена и откинулась в кресле, решив ослабить давление на собеседника. Пока ей нужно было знать его позицию, готовность поддержать ее в случае, если она перейдет к действиям.

— Мне кажется, решение Тенета, — продолжала она, — зависит от многих обстоятельств... Знаете, один в поле не воин... Мне нужно знать, что вы думаете, Джон. Вы остаетесь сенатором, по крайней мере, еще год, и у вас хорошие шансы сохранить это место на следующие шесть лет. Она многообещающе улыбнулась.

— Ну, один Эванс тут не потянет... Нужны люди покруче.

— А что вы скажете о Дашэле? Я собираюсь навестить его в ближайшее время. Как самый влиятельный человек в Сенате, Том смо-

жет потребовать начать расследование. Представляете себе лицо Пауэлла, когда он узнает, как его подставили? — Хиллари злорадно усмехнулась. Между ним и Чейни откровенная вражда, и теперь кто-то из них должен уйти. Думаю, Чейни останется.

Эванс вспомнил выступление госсекретаря Колина Пауэлла в ООН. Его взволнованный голос, четко и убедительно рассказывающий о страшной опасности, исходящей от Саддама. Вот здесь он хранит химическое оружие, — Пауэлл показывает места складирования на карте... А еще бактериологическое оружие... В руках Пауэлла флакончик с каким-то порошком... сибирская язва может унести жизни тысяч людей... А еще и возможная атомная бомба... И всё это ложь... ложь... Какие мерзавцы.

— Да... но мы голосовали за войну, не забывайте, — Эванс начал расхаживать по комнате, пытаясь оттянуть время. — Конгресс сейчас на летних каникулах. Чейни все равно не успеваешь со своими законами до осени. Не думаю, что у него получится что-либо, особенно когда весь мир узнает про подлог. Пауэлл не станет с ними работать дальше. Это понятно. Могут всплыть интересные подробности. Начнутся перестановки. Статьи, Тенет может и сохранить свои позиции.

“А что, если спросить ее напрямую, — подумал Эванс. — Интересно, бывает она хоть когда-нибудь откровенна”.

— Хиллари, а почему вы начинаете с меня? — решил он, наконец, на этот вопрос.

— Неужели вы не понимаете, Джон, — в ее голосе зазвучала интимная интонация, — я вам так благодарна... вы один из немногих людей, кто не дал Билла на растерзание этим стервятникам пять лет назад. Я знаю, что могу вам доверять. К тому же вы опытный адвокат с большим судебным стажем.

Да. Было дело. Он выступал в Сенате в защиту президента, опозорившегося на весь мир. Она что же, решила, что это из личных симпатий к ней, или еще, чего доброго, к ее мужу? Билл Клинтон, которому всегда все сходило с рук, был ему неприятен. Просто тогда он не мог не использовать свой шанс. Шанс быть увиденным и услышанным в Конгрессе. Не всем молодым сенаторам даются такие выступления. Многие ждут своей очереди месяцами и произносят речи перед полупустым залом. Эванс вспомнил свой успех. Ему аплодировали стоя, словно оперной диве, пропевшей любимую арию. Сам Тепп Кеннеди демонстративно пожал ему руку после выступления. Позор Клинтонов был связан с триумфом Эванса. Сенат таки не принял решения об импичменте вопреки напору республиканцев. Как замечательно, что Хиллари напомнила ему об этом. Можно расценивать это как благодарность.

Миссис Клинтон видела, что ей удалось пробудить приятные воспоминания у своего собеседника. Но не только это входило в ее планы. Эванс должен был, по ее расчетам, связать свою будущую победу на выборах с ее именем и отплатить ей поддержкой в Сенате в случае, если удастся начать процесс импичмента Буша. Поэтому она здесь.

Летний день подходил к концу. В гостиной послышались голоса первых гостей. Пора заканчивать разговор.

— Ну что ж, если Дашэл вас поддержит, можете рассчитывать и на меня, — подытожил Эванс.

На обсуждение завтрашнего выступления Хиллари Рэдом Клинтон в поддержку сенатора Джона Эванса ушло пятнадцать минут.

Роберт прикатил в дом сенатора, когда там еще не закончились переговоры в кабинете. Плюхнувшись в кресло в гостиной, он открыл свой лэптоп, умудряясь непрерывно разговаривать по мобильнику и получать указания от Лизы, готовившейся к приему гостей.

Какое-то странное приподнятое настроение, скорее даже возбуждение, охватило Роберта.

Как будто завтрашний день был не просто решающим днем в предвыборной кампании сенатора Эванса, но и в его собственной жизни. Разговаривая с кем-то по телефону, он вдруг так расхохотался, что Лиза испуганно уставилась на него из двери кухни.

— Роберт, у вас все в порядке? — осторожно спросила она.

— У нас все в порядке. У нас все более в чем в порядке. У нас все бесподобно. У нас есть сюрприз, отличный такой сюрприз на завтра. Мы ошастливым мистера Макмэрфи завтра. Это, Лиза, я вам гарантирую.

— Да что за сюрприз такой, Роберт, вы меня просто пугаете. Обещайте, что вы согласуете все с Джоном. Ради Бога, никаких скандалов, — и она скрылась на кухне.

“Ради Бога, никаких скандалов, — передразнил ее Роберт. — А что бы ты делала без меня, Лиза Эванс? Сидела бы лучше на кухне и смотрела мыльные оперы по телевизору”.

— Да, чуть не забыла. Джону срочно нужен парикмахер. Запишите, ладно, Роберт. Лучше всего завтра утром, — раздался ее голос из кухни.

Вечером Эвансы ждали гостей. Были позваны те люди, от которых сенатор во многом зависел: крупные адвокаты, бизнесмены, кое-кто из старых аристократов, владеющих когда-то землями, перешедшими в собственность крупных корпораций. Ни о каких сосисках в тесте или пицце не могло быть и речи. Изысканная закуска, французские вина, официанты в белых перчатках. Все это ожидалось с минуты на минуту. Уже были слышны голоса охранников, пропускавших машины с прислужгой. Лиза успела переодеться в вечернее платье, обнажающее ее исхудавшие плечи. Джон должен был появиться в смокинге. В шортах и шлепанцах, с вечным мобильником в руке, Роберт как-то перестал вписываться в атмосферу дома своего босса. Он выжидающе посматривал на Лизу. Неужели она возьмет и выгонит его так запросто. Лиза, в свою очередь, в нетерпении ожидала, когда Роберт, наконец, поймет всю неуместность своего дальнейшего пребывания в ее доме, встанет и откланяется. Покружив вокруг него, она, наконец, решила:

— Роберт, у нас у всех завтра тяжелый день. Я не могу больше вас задерживать. Будет прекрасно, если вы завтра подскочите пораньше. Ну, скажем, часов в 9 утра. Желаю вам как следует отдохнуть.

Он захлопнул лэптоп.

— Хорошо, Лиза. Передайте сенатору — я все уладил на студии. Его ролик про войну в Ираке снят с показа.

— Ролик про войну в Ираке снят... — Лиза уставилась в недоумении на собирающего свои пожитки Роберта. — А что там было такого, в этом ролике?

— Да ничего особенного, — пожал плечами тот. — Обычная патриотическая дребедень, — и поднявшись со своего кресла, вышел из дому.

Сквозь листву сада виднелось заходящее солнце. Вечер был душным и влажным. Стоящему на крыльце Патрику удалось сделать незаметный жест, означающий "позвони". Кивнув ему в ответ, Роберт сел в свой автомобиль.

Уже выезжая из сада, он высунул в окно руку с торчащим кверху средним пальцем.

Дело было не в шлепанцах. При желании он мог переодеться и вернуться в смокинге уже через час. Просто ему дали понять, что он не "свой" и ему нет места среди ожидаемых гостей.

Приехавший поздно вечером Патрик, застал своего друга в приступе бессильной злобы.

— Вот так всегда, — гремел посудой на кухне Роберт, — она меня не стесняется, когда я ей нужен. И ведь как повернула... дорогой, отдохни и ты... заботливая наша.

— Ну, ты напрасно так на нее разозлился, малыш, — промаявшемуся весь день на жаре Патрику реакция Роберта показалась преувеличенной, — в общем-то, она даже смешная. Меня одно время приставили к ней, когда она еще разъезжала по штату в большом автобусе, набитом всяким хламом. Ну там, флаги, портреты сенатора и всякое другое. И с ней еще девушек пять. Энергичные до жути, как молодые кобылки на лугу. Словом, надоели в первый же день. В автобусе я садился в стороне от них, чтобы немного передохнуть. Так Лиза с этими девицами стала песни петь. Едут, значит, и поют. И час поют, и два поют. Ладно. Они поют, я дремлю. Тут она смекнула, что я их энтузиазмом не охвачен, толк меня в бок и протягивает мне песенник. Мол, давай с нами, пой. Я ей говорю, миссис Эванс, воспринимайте меня исключительно как мебель. Может, по-вашему, шкаф петь? Она слегка обиделась, но отстала. А потом еще сэндвич мне в руку сунула, мол, и к мебели должно быть человеческое отношение. А сэндвич с рыбой. Есть не могу — аллергия. Ну, сплошной облом.

Они сидели у Роберта в его небольшой квартире, где ему редко приходилось бывать с начала кампании. Чаще всего он оставался ночевать в офисе сенатора, иногда у него в доме, откуда его сегодня выпроводила Лиза. Он и сейчас продолжал работать, не выпуская мобильника из рук.

Повернувшись к Патрику, он жестом попросил его включить телевизор. Местный канал показывал данные последнего предвыборного опроса. Десять процентов в пользу Эванса.

Патрик почувствовал себя одиноко, потоптавшись на кухне, он вымыл оставшуюся после ужина посуду, открыл окно на улицу, впустив душный воздух вперемешку с запахом гари.

Загорелась чья-то машина, припаркованная возле их дома. В окна показалось несколько зевак. Какой-то человек с ведром воды вышел на улицу и остановился в задумчивости возле горящей машины.

— Внимание, засекаем время, — Патрик показал на наручные часы, оторвавшемуся от телевизора Роберту. Через десять минут раздалась первая сирена. Прибыли две пожарные машины и одна скорая. Подоспевший минутами позже шериф перекрыл улицу. Теперь уже человек десять стояли у горящей машины. Пожар в провинциальном городе всегда сродни театральному действию.

— А ты заметил, Бобби, чем меньше городишко, тем больше шума от пожарных.

— А как же, им надо показать, что они не даром едят свой хлеб. Я сам из маленького городка. На пятьсот жителей четыре церкви и один кабак. И ни одного пожара лет пятнадцать. Ну и мэр, значит, решил, что раз такое дело, пожарную команду надо распустить. И тут, как на зло, одна из церквей возьми да и сгори. Дотла. Пришлось снова пожарных заводить...

На улице горящую машину, хозяин которой так и не нашелся, залили пеной. Через 20 минут порядок и покой были восстановлены. Патрик закрыл окно.

— А я думал, ты местный, — сказал он.

— Из Техаса. Мы сюда с матерью перебрались, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Мой отец был пастором той самой церкви, которая сгорела.

— Так значит, ты из религиозной семьи.

— Как тебе сказать, Пат. Я до сих пор не уверен, что он верил в Бога. Ну, я имею в виду, по-настоящему. Проповеди-то он сочинял и все на одну тему "Дорога к Христу". Разучивал их, репетировал, только никогда сам этой дорогой не шел. Злой был, как черт и напивался по воскресеньям, как свинья. У него и приход-то был крошечный. Человек тридцать, мать говорила, таких же забулдыг, как он сам.

По лицу Роберта было видно, что детские воспоминания не самые приятные в его жизни.

Он снова повернулся к телевизору, где появившийся Макмэрфи начал рассуждения о простых ценностях американской семьи.

— Да заткни ты ему глотку, — не выдержал Роберт.

Патрик выключил телевизор.

— Чем тебе не угодил Макмэрфи? Нормальный такой дедок. Во Вьетнаме воевал.

— Когда я слышу этого... твоего Макмэрфи больше пяти минут, я чувствую себя изнасилованным... словно я снова в нашей церкви и папаша там вещает свою "Дорогу к Христу". Ненавижу этих пристойных с виду старичков. Они тебе такую мораль наведут, только слушай, а как

копнёшь, одна грязь. Он за руку жену держит, а у самого любовница в его же офисе сидит... думает, ему все сойдет, если он во Вьетнаме воевал... или про прокурора штата слышал? Наш блюститель закона попался на поездках к девочкам в Нью-Йорк. Мне даже интересно, что с ним губернатор делает. Тихо уберет или заставит публично покаяться. И еще мне интересно, на какие такие деньги господин прокурор ездил к девочкам.

— Ты так говоришь, будто сенатор Эванс другой.

— Да. Другой. Или я хочу, чтобы он был другим. Ты же не знаешь его и вообще, ты ничего не знаешь.

Раздражение снова поднималось в голосе Роберта. Патрику не хотелось ссориться. Он чувствовал, что Роберту хочется-таки рассказать ему что-то. И скорее всего, это "что-то" давно его мучило, может быть с детства, и сегодня нечаянно было задето.

— Слушай, малыш, давай поедем на реку.

— Сейчас? — удивился и обрадовался Роберт.

— Ну да. Пока доедем, станет прохладнее. Подышим там свежим воздухом.

Было уже темно, когда они подъехали к реке. Патрик опустил верх BMW и достал фляжку с виски из бардачка. Каждый сделал по глотку. Говорить не хотелось. От ночной реки веяло покоем и прохладой. Прошло немного времени.

— Знаешь, — начал Патрик, — мне почему-то показалось, что ты мог поджечь ту церковь...

Роберт повернул к нему голову, словно раздумывая, стоит ли отвечать.

— Можешь ничего не говорить, если не хочешь. Но я вижу, тебе это не дает покоя.

— А я и поджог. И я скажу тебе даже больше, если бы он сам не околочился, я бы, скорее всего, его убил. Мне доставляло особое удовольствие представлять себе, как я его убиваю. Иногда я мысленно стрелял в него из пистолета и видел его удивленное лицо. Мне всегда хотелось, чтобы он просил пощады и, знаешь, падал бы на колени и подползал бы ко мне, а я бы стрелял в него и стрелял. Или еще я представлял себя Бэтмэном, ну, это когда я еще совсем маленьким был. Папаша вещает про путь Христа в этой самой церкви, и вдруг окно открывается и влетает Бэтмэн и, как черный ангел, крылья расправляет, ну, как в кино, видел? И кружит так по церкви, кружит. А папаша опять на колени падает и просит у Бэтмэна, у меня, значит, пощады...

Сделали еще по глотку виски. Патрик приобнял Роберта.

— Включить музыку, малыш?

— Нет. Не нужно музыки, Пат, я тебе еще не все рассказал.

— Он, что, тебя бил?

— Порол лет с девяти нещадно... и не только порол... Он еще и... — Роберт закрыл глаза и откинул назад голову. Казалось, у него нет сил продолжать этот разговор.

— Что-о-о? Ты хочешь сказать, что твой отец тебя насильовал?! Уму непостижимо... пастор, читающий проповеди о пути к Христу, насилует своего собственного ребенка... Ну, а что твоя мать? Она, что же, ничего не знала? Есть же полиция, в конце концов.

— Да брось ты, Пат. Какая там полиция. Город маленький — все друг друга знают. С шерифом они вообще друзьями были. Кто бы ей поверил. И потом, она его боялась. Сама ездила покупать ему виски в соседний город за 30 миль, чтобы никто не знал, что он пьёт. Только все, конечно, знали. Я никому ничего не говорил. Сначала прятался от него в подвале, потом стал убегать из дому, но меня почему-то всегда догоняли и возвращали папаше. Я даже вел дневник. Вёл подсчет, сколько раз... Мне было лет 12, когда я написал, что убью его, когда досчитаю до ста. Наверное, мама прочитала мой дневник, а может, просто догадалась, какие мысли у меня бродили в голове, только она мне вдруг как-то сказала, что будет молиться, просить Бога, значит, чтобы тот прибрал отца к себе. И, знаешь, я так хорошо запомнил этот наш разговор потому, что я в Бога уже давно не верил. Ну, я ей и говорю, мол, плевать Бог хотел на нас с тобой и на твои молитвы. А она мне говорит: "Вот увидишь". А у меня ждате Бога уже сил не было никаких.

То лето было сухое и ветреное. Многие боялись пожаров, а в нашем городке и пожарных-то не было. Короче, я развел костер прямо под распытием по всем скаутским правилам. И ждал, разгорится пламя или нет. Ну, немного бензина добавил. И разгорелось. Ничего не осталось. Всё сгорело дотла. Может, папаша и смекнул, кто поджег, только никаких следов найти не удалось. Тут с ним инфаркт и случился. Доктор в госпитале сказал, что ничего сделать было нельзя. Сердце отказало.

— А мама твоя что же? Не догадывалась про церковь?

— Да почему я знаю. Мы потом сюда приехали, в этот штат, к ее тете. Тут она опять замуж вышла. А потом уехала с отчимом в Пенсильванию. Она, скорее всего, думает, что это ее молитва помогла. А и пусть думает. Кто его знает, может, и помогла.

— А что было потом?

— Ну, потом всё было просто. Закончил здесь школу и стал искать работу. Про колледж даже думать не пришлось. Ходил по городу и случайно набрел на офис адвоката Эванса. Он меня только и спросил: "По телефону можешь отвечать?" Я сказал — а как же! Ну, посадили за телефон сначала. Потом стал разбирать почту, потом вести его расписание. Вначале, скорее всего, я ему приглянулся как сынок такой. У них с Лизой нет своих детей. Ну, я старался, конечно. Но главное не это, Пат. Вот когда он начал меня брать на свои процессы — я обалдел! Он гений, понимаешь? Он мог работать с любыми присяжными. Я сам это видел. Я видел, как люди начинали ему доверять. В присяжных могли сидеть пенсионерки, безработные, профессора, работяги, бизнесмены. Он говорил с ними просто и понятно, ну так, как будто обращался к каждой пенсионерке там или секретарше лично. Он же не проиграл ни одного большого процесса. А попробуй выиграй у корпораций! Там такие адвокаты... со-

жрут с кишками, а с Эвансом справиться не могли. За ним слава пошла. Репутация. Ну и деньги, конечно. И, вообще, Пат, он много для меня сделал. Он мне больше чем отец, понимаешь?

— Понимаю. Чего уж тут не понимать.

Патрику начинал надоедать восторг Роберта. Он был человеком уравновешенным и не склонным к впадению в отчаяние или обожание. К сенатору он относился как к объекту, находящемуся под его защитой, и то в определенные часы. Не больше и не меньше.

Не услышав сочувствия в его голосе, Роберт повернулся к нему и, заискивающе улыбнувшись, сказал:

— Ты — это совсем другое, Пат. А, знаешь, я совсем не сразу понял, что я гей. В школе у меня были подружки. Обыкновенные деревенские девчонки. Кино. Танцы. Сам знаешь. Хотя нет, уже тогда было что-то странное. Роберт лукаво улыбнулся. В жизни не догадаешься. Я обожал подсматривать за мамой. Особенно, когда она красилась. У нас было настольное зеркало со сломанной ножкой. Мама приставляла его к Библии, чтобы оно лучше держалось и не падало на стол. Разбитое зеркало, знаешь, плохая примета. Иногда я видел, что она плачет, глядя на себя. Она была красавицей в молодости. Может, считала, что загубила свою жизнь, выйдя за отца замуж. Может, еще что. Не знаю. Только я любил смотреть, как она доставала из сумочки всякие щеточки, губную помаду, тушь для ресниц. У нее была такая черная коробочка. Она сначала туда плевала, потом возила там щеточкой и делала так: Роберт показал осторожным движением руки, как его мама накладывала тушь на ресницы, и передразнил ее выражение лица. Вышло забавно и Патрик, не удержавшись, рассмеялся. Еще, помню, у нее был обрубок карандаша, похожего на пенечек. С таким смешным названием. А, как его? Забыл. Ладно, неважно. Этим карандашиком она себе рисовала брови. Тоже смешно. Свои брови сбривала, а карандашиком рисовала новые, полукругом, которые тогда были в моде. Но самое главное — губная помада. Сначала верхняя губа — Роберт обвел пальцем свою верхнюю губу, потом слегка сжал рот. — Я любил смотреть, как помада с верхней губы отпечатывалась на ее нижней губе.

— А она знала, что ты подсматриваешь? — улыбнулся Патрик.

— Думаю, знала. Иногда она просила меня расчесать ей волосы или застегнуть молнию на спине. У меня была какая-то страсть к ее вещам. Я хотел их носить сам... даже ее нижнее белье. Да что там, особенно ее нижнее белье. Ну, этого она, конечно, не знала. А у тебя было что-нибудь подобное?

— У меня были три старшие сестры и лифчики, разбросанные по всему дому. Так я ими играл в футбол, — отрезал Патрик, не расположенный к большим откровениям.

— Я тоже терпеть не могу, когда они разбрасывают свои вещи. Знаешь, у меня даже была подруга. Отличная девчонка. Но у меня с ней ничего не получалось. Мама хотела, чтобы мы с ней поженились, но я не мог...

Патрик положил свою большую руку на его голову и притянув к себе, поцеловал в губы, поняв, что Роберту хотелось сейчас больше всего этого.

— Я люблю тебя, малыш, — начал он, но его слова прервал шум подъехавшего автомобиля, выхватившего их машину из темноты светом фар. Послышались голоса и смех, шлепок резинового мяча о воду. Щенок водолаза с фырканьем плюхнулся в реку за мячом. Патрик уже завел машину, когда щенок подбежал к ним и, встав на задние лапы, положил морду на дверцу. Рассмеявшись, Роберт хотел погладить эту мокрую и смешную морду.

— Ну-ка иди сюда, — послышался злой окрик хозяина щенка, — я не хочу, чтобы к моей собаке прикасался какой-то пидорок.

Щенок убежал. Патрик включил фары BMW и медленно вышел из машины.

— Вы что-то сказали?

Вид его мощной фигуры, освещенной фарами, произвел однозначное впечатление.

— Он ничего не говорил, сэр, — девушка тянула за руку явно струсившего молодого человека, — а если вам что-то послышалось — извините нас, ладно? Уже поздно. Мы просто хотели выкупить Барри.

— Договорились, мисс, — как всегда спокойно ответил Патрик. — У вас отличный щенок. Спокойной ночи.

Они промолчали всю дорогу домой. Уже на подъезде к городу Роберт вдруг всполошился:

— Господи, я совсем забыл про парикмахера, нужно же подстричь сенатора. Лиза сожрет меня с потрохами. — Он начал судорожно нажимать кнопки мобильного. — Может, у тебя кто есть, Пат?

— Вообще-то, у меня есть одна девушка, — улыбнулся тот, — она допоздна не ложится спать. Зовут ее Кэтрин. Классный парикмахер...

Зажав в ладонях стакан с виски, в котором исчезали тающие кубики льда, Джон с улыбкой следил за Хиллари в окружении его гостей. Она всегда привлекала к себе людей, где бы ни появлялась. Вот и сейчас все забыли Эванса, стоящего в одиночестве немного в стороне. Глядя на оживленную Хиллари, непринужденно болтающую и хохочущую над каждой шуткой, ему трудно было представить, что еще час назад они говорили об отстранении президента Буша от власти.

— Что это ее так развеселило? — сделав небольшой глоток виски, он прислушался к доносившейся болтовне.

— Кто-то весело рассказывал о том, что не смог найти во всем Техасе ни одной бутылки французского вина, не говоря уже о шампанском и коньяке.

— Эй, Лиза! У тебя что, доставка вин прямо из Франции? Как не патриотично!

Сейчас мы все выльем в знак протеста. Пусть знают, мы справимся и без них в Ираке!

— Ой, только не на ковер! — подоспевшая с бокалом в руке Лиза зашептала о чем-то с Банни, прилетевшей недавно из Европы. Банни была известной либералкой-миллионершей, обожавшей Эвансов и щедро спонсировавшей первую кампанию сенатора.

“Нужно бы подойти к ним”, — отхлебнув глоток из стакана, он не мог заставить себя сдвинуться с места и включиться в общий разговор. Бледное изможденное лицо жены, ее удивленный и встревоженный взгляд, направленный в его сторону, вызвали привычный приступ вины. Ее исхудавшие плечи с выступающими ключицами напомнили ему прежнюю Лизу, которую он полюбил много лет назад. Сделав еще один глоток, он так же привычно отогнал от себя угрызения совести.

“Она может умереть, так и не успев ничего узнать”, — промелькнула спасительная мысль. Хотя его прошлая жизнь была неразрывно связана с Лизой, свою будущую жизнь он уже отчетливо представлял без нее.

И вдруг память подбросила ему воспоминание об их первой счастливой поездке в Луизиану, где они провели все лето, развезжая по побережью от городка к городку на ее новенькой “тойоте”.

— Черт! — он стукнул пустым стаканом об поднос, вовремя подставленный рукой в белой перчатке, — Ну конечно, Хью Лонг!¹ Как я мог забыть тебя, старина! — И довольный сенатор направился к гостям. Теперь он знал, о чем говорить завтра со своими избирателями. И пусть эти подонки заткнутся насчет того, что у него нет больше никаких идей.

Кэтрин оказалась с метр девяносто ростом. Косая сажень в плечах и ноги сорокового размера, обутые в ярко-красные туфли на шпильках под цвет губной помады. Увидев ее в прихожей, Лиза слегка поперхнулась.

— Не волнуйтесь, милочка, — подбодрила ее Кэтрин. — Я подстригала самого Ричарда Гира, и из вашего сенатора сделаю душку.

Покачивая бедрами, она прошла в направлении, указанном Лизой.

— Надо же все-таки предупредить, — пожалала плечами та.

Всунувшаяся из кухни Хиллари присвистнула вслед удалявшейся красавице:

— Ну-у, ноги у неё получше моих будут. И вообще, девушка видная. Не боитесь оставлять ее одну с сенатором?

— Слушайте, она же может спокойно поносить Джона на руках, — подхватила Лиза, — хотела бы я знать, что у неё там... под юбкой.

— А вот это, — Хиллари подняла указательный палец вверх, — замечание некорректное, и красавица может подать на вас в суд.

— Придется обращаться к адвокату Эвансу, — притворно вздохнула Лиза. Ей нравилось шутовское настроение миссис Клинтон.

Хиллари всегда отлично чувствовала себя по утрам. Она любила рано вставать и планировать день заранее. Впереди было выступление в Сити-холле и перелет в Южную Дакоту. На вечеринке Эвансы познакомили её с Банни, чей самолет всегда был в их распоряжении. Оставалось только договориться о полете. Лиза заметила, что ее гостья соскучилась по домашнему быту и совсем не против повозиться на кухне с завтраком. Она великодушно уступила ей место у плиты, и Хиллари поджарила омлет по какому-то особенному рецепту. Вернувшийся с

¹ Сенатор от штата Луизиана. Прототип Вилли Старка в романе Уоррена “Вся королевская рать”.

пробежки Джон заглотил свою порцию на ходу и, перескакивая через две ступеньки, помчался на второй этаж читать утренние газеты. Около 9 часов появился Роберт.

Никаких обид. Энергия и лояльность. Стаканчик с кофе и лэптоп. Так начинают трудный день деловые люди. Он раскрыл лэптоп прямо на кухонном столе. На экране появилась панорама зала Сити-холла, где через несколько часов должна была состояться встреча с избирателями.

— Перед моим появлением должна звучать музыка Макса Флетфорда “Не переставай думать о завтрашнем дне”, — начала Хиллари, — это наш с Биллом гимн, пусть прозвучит и сегодня. Зал большой. А что, если будет много пустых мест? Это плохо смотрится по телевидению. Трибуна не должна так высоко возвышаться над зрительным залом, микрофон опустите ниже. Людям же надо видеть мое лицо. И почему сцена имеет голубую подсветку?

— Так это ж цвет нашей партии, — попробовал оправдаться Роберт, — я думаю, мы оставим голубую подсветку, на фоне которой вы начнете выступление.

— Мне наплевать на то, что вы думаете, — грубо оборвала его миссис Клинтон. — Достаточно того, что на мне будет голубой костюм. Никакие световые эффекты здесь не нужны, и флаги поставьте по обе стороны сцены.

— Хорошо, мэ. Будет сделано.

— А что у нас с шарами?— подключилась Лиза.

— Какими шарами? Нужны шары? Хорошо, будут шары. Синие и белые. Хорошо. Что еще?

К облегчению Роберта на кухне появился сенатор.

— Ну, ты и впрямь красавчик, — засмеялась Лиза, рассматривая его прическу. — А как тебе Кэтрин?

— Кэтрин произвела на меня очень сильное впечатление, — у сенатора было отличное настроение, — особенно ее туфли. Мне все время хотелось попросить их примерить. Она, оказывается, работала в Голливуде, но переехала к нам в штат вслед за своим возлюбленным. Сказала, что будет непременно голосовать за меня, а не за старого козла Макмэрфи.

— Вот так вы и набираете очки у сексуальных меньшинств, — улыбнулась Хиллари.

— Так что там за сюрприз ты мне приготовил? — сенатор увел Роберта в свой кабинет.

Сити-холл давно не видел такого наплыва людей. В зале уже звучала мелодия “Не переставай думать о завтрашнем дне”, которую закладывала Хиллари, а все новые и новые машины кружили по центру города в поисках парковки. На подходе к металлоискателю выстроилась очередь. Особое праздничное настроение толпы передалось Ро-

берту. Расставив и рассадив по местам своих помощников и знакомых, он подскочил на сцену, окинул зал последним оценивающим взглядом и кинулся к Хиллари за кулисы.

— Ну что? — спросила она, весело поглядывая на Роберта. Тот в изумлении уставился на помолодевшую и похорошевшую сенаторшу, еще несколько часов назад напоминавшую ему злую фурию.

— Народу до фига. Много молодежи, как-то это неожиданно. Еще я вижу много латинос, а вот это уже серьезно... Начнем минут через двадцать, — счастливо улыбнулся ей в ответ Роберт. — Голубой цвет вам к лицу, Хиллари и вообще... вы выглядите на миллион баксов.

— Ладно-ладно, — рассмеялась она, — вы просто дамский угодник...

— Я??? — искренне удивился Роберт, — вот уж не знал за собой такого.

— Ну хорошо, мистер Пэйдж, вы тоже неплохо выглядите... идите лучше к Эвансам. Лиза вас искала.

Оказывается, чтобы считаться настоящей леди, совсем необязательно стоять возле мужа и смотреть ему в рот, когда он общается с народом, выражая всем своим видом скромное восхищение. Можно и самой сказать этому народу кое-какие слова, если есть, что сказать, конечно. А у Хиллари Родэм Клинтон всегда было, что сказать народу.

Южане считают себя истинными патриотами, в смысле любви к месту, где они родились и выросли. Поездку в Диснейленд они предпочтут путешествию в Европу, а кока-колу — французскому шампанскому. Хотя космополитизм Нью-Йорка им чужд и непонятен, вид горящих Близнецов поверг их в такой же ужас, как и всех американцев. И как всем американцам, южанам важно было понять, кто их враг. "Они ненавидят нашу свободу" — объяснил президент. Оставалось выяснить, кто же эти "они". Вопрос "почему" мало кого интересовал. Когда враги были обозначены, южане приняли самое активное участие в войне в Ираке. Дом, откуда солдат ушел на войну, в Америке помечают желтой лентой. Проезжая по улицам столицы штата, Хиллари видела эти желтые ленты почти на каждом втором доме. Было понятно, что в предвыборной борьбе патриотическая карта должна быть разыграна первой. У ветерана вьетнамской войны Макмэрфи здесь было явное преимущество. Поэтому накануне, в кабинете у Эванса, было решено не обременять умы простых людей сенсационными сообщениями о провалившихся поисках атомной бомбы в Ираке. Пусть они узнают из сообщений прессы, что война, в которую их втянули, не имела под собой никаких оснований. Тактика предвыборной гонки должна измениться только после этого, ну а сейчас всё должно идти так, как всегда.

В зале Сити-холла собралось около тысячи человек.

— Сегодня я счастлива, — начала свое выступление сенатор Клинтон.

Стоя за кулисами и продумывая свою речь, Эванс не прислушивался к тому, что говорит Хиллари. Да это было сейчас и неважно. Он знал, что она выскажет обычные либеральные сентенции о возрастающей роли женщин в американском обществе, о необходимости иммиграционной ре-

формы и борьбы за социальное равенство. И все это будет принято с восторгом одних и глухим рычанием других. Клинтонь были выгодными союзниками и сильными соперниками, и то, что они входили в одну партию с Эвансом, еще не гарантировало ему их всегдашнюю поддержку, особенно в том случае, если он надумает выставить свою кандидатуру на пост президента в следующем году. Неслучайно Хиллари не раскрыла ему свои планы на будущее. Сейчас ему нужно было собрать воедино всю свою энергию и силы, чтобы выступить с программой новой избирательной кампании. Еще до вчерашнего дня в голову ему приходили все те же самые либеральные слова, которыми сейчас кормила слушателей Хиллари, но он прекрасно понимал, что в борьбе с Макмэрфи и стоящим за его спиной Харрисоном нужен какой-то новый лозунг, идея, которая привлечет к нему избирателей, и кто знает, может быть, не только его штата. И память его не подвела. Как вовремя он вспомнил их первое с Лизой путешествие по Луизиане. Они отправились туда на летних каникулах собирать материал для их совместной работы о губернаторе Хью Лонге, убитом накануне президентских выборов прямо в здании Капитолия Луизианы. Несмотря на его крайний радикализм, Лонга помнили и вспоминали с любовью. Эванс и сам попал под обаяние этой личности и часто ловил себя на том, что неосознанно пытается ему подражать.

— Позвольте мне представить вам моего друга, партнера и единомышленника — Джона Эванса! — закончила свое выступление Хиллари.

Толпа разразилась аплодисментами. Сенатор Эванс взлетел на сцену. Переждав несколько секунд, он начал:

— Сегодня я приготовил для вас, друзья мои, необычную речь. Я начну с истории. Для некоторых из вас, — он всмотрелся в зал, — это покажется даже античной историей. Неподалеку отсюда, в соседнем штате Луизиана 70 лет назад был застрелен сенатор Лонг. Это было политическое убийство. Что ж тут такого, скажете вы. Этим Америку не удивишь. Зачем сенатор Эванс вспоминает застреленного 70 лет назад сенатора Лонга? Я вспомнил его, потому что 70 лет назад Лонг говорил о том, о чем я собираюсь говорить с вами сейчас. О бедности. Не верьте Макмэрфи, когда тот говорит о “простом американце”. Откуда миллионеру Макмерфи знать “простого американца”? Не верьте им, когда они говорят, что каждый работающий много и хорошо имеет шанс разбогатеть в нашей стране. Мой отец всю жизнь проработал на текстильных заводах, но наша семья оставалась бедной. У меня было счастливое детство. До 9 лет. В 9 лет я понял, что мир разделен. Это разделение на богатых и бедных существовало 70 лет назад, когда был застрелен сенатор Лонг, существует оно и сейчас. Но это не значит, что оно должно существовать всегда. В поисках решения этой проблемы Хью Лонг рискнул сказать о том, что владеющим миллионными состояниями нужно поделиться “куском пирога с теми, у кого пирога нет совсем”. Друзья мои, я не такой наивный социалист, каким мистер Макмэрфи хочет меня представить. Я против, казалось бы, такого простого решения проблемы. Человечество накопило достаточно опыта, чтобы убедиться в несостоятельности этого пути. Мы никогда не решим проблему бедности, отнимая пирог у одних и деля его

между другими. Мы должны сделать так, чтобы этот пирог был доступен каждому. Я говорю здесь о равенстве социальном, о равенстве всех в правах на работу и образование, медицинское обслуживание и достойную старость. И я обещаю вам, что продолжу борьбу за это равенство, если вы окажете мне честь и проголосуете за меня второй раз. Вы можете сказать — все это слова, слова, слова. Чем ваши слова, мистер Эванс, отличаются от слов Макмэрфи? Давайте посмотрим отсюда, из нашего штата на то, что происходит в Вашингтоне, где сейчас сидят друзья Макмэрфи, и кому нужно, чтобы вы его избрали. Кого эти господа освободили от налогов? Миллиардеров!!! На чьи плечи они взвалили расходы на войну в Ираке? На ваши! Ради чего они начали эту войну? Ради нефти! Они давно кормят нас фальшивыми патристическими лозунгами. Во имя чего эта ложь? Мы хотим правды, мистер президент! Они загубили даже попытку сделать медицину в нашей стране доступной всем. Двадцать миллионов человек до сих пор не имеют медицинской страховки. Спросите губернатора нашего штата, большого друга мистера Макмэрфи, почему закрылись ткацкие фабрики и опустели наши города? А заодно спросите его, почему человек, проработавший всю жизнь, не в состоянии обеспечить себе достойную старость? Мы хотим правды, мистер Харрисон! По пути сюда, на встречу с вами, я увидел пожилую женщину, собирающую пустые банки из-под кока-колы в мусорных баках, — сенатор указал на маленькую седую старушку, сидящую рядом с Робертом. — Миссис Сэвидж одна из многих, кто брошен на произвол судьбы нашими политиканами. Каждое утро она встает в надежде получить несколько долларов в обмен на пустые банки, собранные ею на помойке. Я обещаю вам, своим избирателям, в случае победы продолжить борьбу за вас, за интересы простых тружеников, за интересы таких людей, как миссис Сэвидж! Вы достойны лучшей участи! Вы достойны знать правду! Труд наших отцов и наш труд превратил Америку в ведущую державу мира. Это значит, что мы можем решить старую и наболевшую проблему, разделяющую нашу страну на две части — Америку бедных и Америку богатых. И мы решим эту проблему только все вместе. Голосуйте за меня — и я буду голосовать за вас!

Шквал аплодисментов заглушил последние слова сенатора. На сцену вышла Лиза, ведя под руку миссис Сэвидж. Сенатор подошел к старушке обнял и расцеловал ее. Появление миссис Сэвидж на сцене придало больше доверительности словам Эванса.

Роберт подал знак, и сотни голубых и белых шаров, наполненных гелием, плавно взлетели в воздух. Заиграла музыка. На сцене появились соратники сенатора: члены его избирательной команды, спонсоры, видные демократы штата. Настал черед Лизы. Подойдя к микрофону и движением руки немного приглушив восторг зала, она начала:

— Двадцать пять лет назад, в церкви... что неподалеку отсюда, я поклялась всегда быть рядом с моим мужем, тогда еще молодым и никому не известным, Джоном Эвансом. И я сдержала свою клятву. Я делила радость побед и горечь поражений адвоката Эванса, зная, что он защищает слабых, тех, кто разуверился даже в самой идее справедливости в борьбе с сильными мира сего. Джон Эванс прекрасно знает, как живет просто-

му американцу потому, что он и есть простой американец, выросший в маленьком южном городке в семье простого рабочего. На процессах адвокат Эванс часто упоминал своего отца, свято верившего в равенство людей перед Богом и законом, и передавшего ему эту веру по наследству. И я знаю, что эта же вера помогла уже сенатору Эвансу в борьбе за ваши интересы. Я объехала каждый город нашего штата во время его первой кампании. И встречаясь повсюду с избирателями, я говорила, не уставая, то, что скажу и сейчас: "Джон Эванс борется за вас, но он не может бороться за вас без вас! Он не может это делать один! Ему нужна ваша помощь, ему нужен ваш голос. Он оправдал ваше доверие в первый раз. Он оправдает его и сейчас". Я счастлива быть с этим человеком рядом. И я всегда буду с ним.

Джон подошел к Лизе, обнял ее и поцеловал долгим поцелуем в губы. Этот поцелуй, несколько более продолжительный, чем предписывалось предвыборным ритуалом, вызвал новый шквал аплодисментов. Патрику, стоявшему за спиной сенатора, показалось, что он стал свидетелем момента наивысшей близости этой пары. Словно увидев что-то непристойное, он поспешно перевел взгляд в зал.

Сидя в первом ряду, Роберт тоже наблюдал эту сцену. Он чувствовал себя шариком, наполненным гелием и взмывшим к потолку. В приступе счастья, вытеснившем ревность и зависть к Лизе, он не мог оторвать взгляд от своего кумира. У него не было сил даже на аплодисменты. К нему подходили, пожимали руку, хлопывали по плечу, что-то говорили и спрашивали. Он отвечал машинально, не слыша ни одного обращенного к нему слова. На секунду за спиной сенатора мелькнуло строгое и сосредоточенное лицо Патрика. Оно показалось Роберту далеким и чужим.

Джуди Маккин, сидящая неподалеку, могла бы разделить с Робертом это состояние счастья, но он не узнал ее в суматохе, а она постеснялась подойти к нему. Встреча заканчивалась. Толпа потянулась к выходу. Желающие перевести деньги на счет предвыборной кампании сенатора Эванса могли сделать это тут же и получить в награду значок или футболку с его портретом.

Сами Эвансы поехали в аэропорт провожать Хиллари в Южную Дакоту на встречу с Дашэлом. Она летела на самолете, принадлежащем миллионерше Банни Грейс, которая была счастлива оказать ей маленькую любезность и одолжила самолет на пару дней.

В квартире Энди Сэвиджа, казначея штата и старого друга Макмэрфи, раздался резкий телефонный звонок. Значит, не по делу, наверное, реклама, решил он, снимая трубку и приглушив звук телевизора. По делу ему всегда звонили на мобильник, который сейчас молчал.

— Энди, это Харрисон. Ты телевизор смотришь?

— Добрый вечер, губернатор. А как же! "Патриоты" играют с "Гигантами".

— Да я тебе не про футбол говорю... Ты местные новости смотрел?

— Губернатор, а что я там не видел?

— А ты, блядь, посмотри...

Не готовый к такому обороту, Сэвидж защелкал пультом. На сцене его матушка целовалась с сенатором — демократом Джоном Эвансом...

— Твою мать, — только и смог сказать Сэвидж, — как это ее туда занесло?

— Если, ты, козел, не в состоянии позаботиться о своей престарелой матери, и она собирает пустые банки из-под кока-колы, то мы ее отправим в дом для престарелых, где о ней позаботятся другие, а ты у меня в два счета слетишь с должности.

— Да у нее свой двухэтажный дом в Линвуде, а банки она собирает вместо грибов...

В ответ раздалась короткие и, как ему показалось, злые гудки.

Элегантная птичка под названием "Гольфстрим" была готова к приему пассажиров на борт. Эвансы подвезли Хиллари и ее охранника прямо к трапу самолета. Хотя прощальные слова были сказаны, ей почему-то хотелось задержаться еще на несколько минут. Жаркий день сменился приятным прохладным осенним вечером. Легкий ветерок, обдувающий открытое пространство небольшого аэродрома, растрепал всегда тщательно уложенную прическу Лизы. Она с удовольствием подставила ему лицо и развязала стянутый на шее шарфик. Хиллари вдруг заметила, что Лиза выглядит гораздо старше своего мужа, и переведя взгляд на Джона, поняла, что тот в нетерпении ожидает окончания затянувшегося прощания. Ладно. Пора. Дел у нее тоже предостаточно. Уже на верхней ступеньке трапа, оглянувшись на Эвансов в последний раз, она увидела, как развевающийся на ветру шарфик Лизы лег на плечо стоящего рядом Джона. Эта выхваченная подробность показала ей трогательной, но повернувшись к ним спиной и войдя в салон самолета, она тут же о ней забыла.

Самолет оказался уютным и удобным, без кричащей роскоши, так раздражающей Хиллари. Белые кожаные кресла, свежие газеты и журналы на полированных столиках, видео, телефон и бар с набором вин. В салоне, рассчитанном на восемь человек, летели только двое: она и ее охранник Стив Флиннер. Устроившись в кресле, Хиллари первым делом проверила свой мобильник.

Среди пропущенных входящих звонков номера Билла не было.

"Неужели ему не интересно узнать, как прошли переговоры с Эвансом? — разочарованно подумала она. — Ну что ж, придется позвонить ему самой, но не сейчас, а уже после встречи с Томом".

Ей уже не казалось странным, что она может подолгу не общаться с мужем, хотя раньше они были неразлучны... Всё. Никаких воспоминаний. Думать только о том, что предстоит сделать.

— Да-да. Я сейчас отключу мобильник и пристегну ремень. А как долго нам лететь до Dakoty? — спросила она похожую на Барби стюардессу.

Ну что ж, за три часа можно и отдохнуть, и собраться с мыслями. Разговор с Томом предстоит серьезный. В целом, она довольна поездкой. Новые знакомства, связи. Это всегда важно...

Плавно оторвавшийся от земли самолет взял курс на Южную Дакоту. В иллюминаторе показалось заходящее солнце.

“Как красиво, — машинально подумала Хиллари. — Какая безмятежность и покой в этом небе...”

Приятно щебечущая стюардесса не дала ей сосредоточиться на этой спасительной мысли. Напитки и горячий ужин. Проглотив свой салат, Хиллари сняла туфли и постаралась поудобней устроиться в кресле.

— Всё хорошо, всё идет по плану, — говорила она себе... — Как-то эта Лиза Эванс все-таки несчастная... Хотя, собственно, почему?.. Потому что у нее нет детей... и Джон... скорее всего, ей изменяет... А что если связаться с секретаршей? Может, Билл пытался дозвониться в ее офис...

“Барби” тут же подсказала, как пользоваться бортовым телефоном. Только по сонному голосу, ответившему ей, она поняла, что время в Нью-Йорке уже позднее. Машинально прослушав новости, Хиллари выяснила главное: муж не звонил и в офис. Будить Челси она не решилась.

“Черт знает что. Мог бы и поволноваться немного,” — уже не скрывая досады, думала она. Нет, она не будет звонить. Всё равно ещё ничего неизвестно. Конечно, от Джона нельзя ожидать сейчас решительной поддержки, он сосредоточен на своих выборах, и хотя его победа вполне вероятна, всякое может случиться в последний момент. Впереди еще почти год. Им нужен Том Дашэл. Или нет... ей нужен Том Дашэл.

Хиллари было трудно даже в мыслях отделить себя от Билла.

“Неужели опять?.. — Нет... она давно запретила себе думать об этом. — А вдруг с ним что-нибудь случилось? Ну, тогда ей бы уж наверняка позвонили”.

— Миссис Клинтон, — напомнила о себе стюардесса, — в Абердине сейчас плюс десять градусов. Там уже настоящая осень. Хорошо, хоть дождь не идет. Не боитесь замерзнуть? Может быть, хотите переодеться? У нас большая и комфортабельная туалетная комната. Я помогу достать ваши вещи.

— Что ж, неплохая идея, — миссис Клинтон поднялась с кресла и проследовала за “Барби”, бодро покотившей ее чемоданчик на колесиках по направлению к туалетной комнате.

Когда дверь за стюардессой закрылась, Хиллари увидела себя в зеркале с мягкой подсветкой: измятый брючный костюм, казавшийся таким элегантным еще несколько часов назад, а сейчас висевший на ней мешком, отекавшее лицо стареющей женщины, круги под глазами.

“Ну и что с этим делать? — думала она, разглядывая свое отражение. — Говорят, массаж помогает. Еще делают подтяжки или уколы... как его? Ботокса. Так, кажется, называется. Парализует мышцы лица... Представляю, — Кончиками пальцев она подтянула кверху кожу на скулах. — Красавица, да и только. И диеты не помогают. Толстею с каждым днем. Надо, в конце концов, начать заниматься своей внешностью. А когда?”

Некогда. Может, начать бегать по утрам с Биллом... или сделать липосакцию... Господи, какая чушь иногда приходит в голову. Ну все, хватит," — она сердито смыла с лица остатки косметики, достала из чемоданчика любимые джинсы и свитер, быстро переоделась и вернулась в салон самолета, так громко хлопнув дверью, что Стив с удивлением взглянул на нее, оторвавшись от кроссворда.

— Голубчик, — обратилась она к нему, — тут где-то была моя сумка с бумагами, хочется немного поработать, пока есть время.

Сумка нашлась, и Хиллари углубилась в чтение, слегка шелестя страницами и изредка переводя взгляд на черное небо за окном самолета.

Дверь в кабину летчиков была открыта. Оттуда доносились приглушенные голоса переговаривающихся между собой членов экипажа. Усевшийся немного в стороне Стив Флиннер включил видео с баскетболом и надел наушники. Время от времени он посматривал на Хиллари. Казалось, она задремала, откинувшись в кресле. Но это было ошибочное впечатление. В суматохе двух прошедших дней ей удалось забыть то, что отчетливо вспомнилось сейчас в тишине полупустого джета: небольшой зал Капитолия, в котором Комиссия Конгресса устроила прослушивание радио и телефонных разговоров с бортов захваченных самолетов для родственников пассажиров, погибших 11 сентября.

— Всем оставаться на своих местах! Никому не двигаться! Тихо! Одно движение будет стоить вам жизни!

— Капитан, на борту самолета бомба! Наше требование — всем оставаться на местах!.. Мы захватили несколько ваших самолетов!

— Убирайтесь из кабины!!! Сюда нельзя посторонним!..

— Говорит Бетти Онг, бортпроводник Американ Аэрлайн, рейс 11. На борту самолета террористы... Трудно дышать. Они что-то распылили в воздухе... Мы не можем дышать... Кабина не отвечает... Я думаю, террористы захватили кабину... Бортпроводник номер 1 убит... Бортпроводник номер 5 убит. Я бортпроводник номер 3...

— Мы снижаемся... Мы летим низко. Мы летим очень низко... О, Господи, это слишком низко!

Записи были прослушаны в полной тишине, иногда нарушаемой чьими-то сдавленными всхлипываниями. Тяжелее всего было тем, кто узнал родной голос. Ричард Кларк, заглянувший в зал, не смог справиться с эмоциями и поспешно вышел. После прослушивания сестра Бетти Онг пошла к Хиллари:

— Миссис Клинтон, нельзя ли вернуть в зал мистера Кларка? Я бы хотела задать ему несколько вопросов.

Хиллари и сама хотела бы задать Кларку "несколько вопросов", но не была уверена в том, что он готов на них отвечать. Комиссия Конгресса продолжала расследование, и ему еще предстояло давать показания.

— Захочет ли он опережать события? — засомневалась Хиллари.

Ричард начал свою карьеру еще при Рейгане, служил и при Буше-старшем, а уже при Билле считался одним из главных специалистов по борьбе с терроризмом. Они не были знакомы близко, хотя судьба уже

сводила их восемь лет назад на траурной панихиде в Оклахома-сити¹, и вот теперь новая встреча, при обстоятельствах еще более трагических.

— Ну что ж, попросите мистера Кларка вернуться в зал, — обратилась она к одному из своих помощников. И никогда не пожалела об этом, потому что жесткие и прямые ответы Кларка превзошли все ее ожидания и подтвердили худшие опасения.

— Мерзавцы, какие мерзавцы, — Хиллари закрыла глаза и попыталась справиться с волной ненависти, нахлынувшей на неё. — Значит, они знали вполне достаточно о готовящейся атаке, чтобы принять меры предосторожности. Они знали, знали, что в летных школах происходит что-то неладное... Господи, они много чего знали. И что? Они должны были предупредить авиалинии, поставить на ноги полицию, национальную гвардию, NORAD², таможню, отменить летние отпуска. С другой стороны, сколько времени можно было продержат страну в таком состоянии? Могла начаться паника. А что, собственно, было известно конкретно? Ничего. Какая-то террористическая группа готовит угон самолетов, не знаем когда и не знаем где... Нет. Нельзя, нельзя их оправдывать. У них на уме было совсем другое, и плевать они хотели на все предостережения. И как все вывернули в свою же пользу теперь...

Господи, хватит ли у Кларка мужества выступить перед Конгрессом? Так что она там говорила, эта мисс Райс?.. "Нам была объявлена война, только мы не знали об этом"... Нет, мисс Райс, вы не хотели знать... "У них не было конкретной информации"... Какая еще информация им была нужна? Точная дата атаки? Надо было пригласить её на прослушивание. Пусть бы посмотрела в глаза родственникам погибших. Какой ужас испытали люди в самолетах... а в Башнях...

Она снова вспомнила скорбный голос Бетти Онг: "Помолитесь за нас..." Нет... Нельзя давать волю эмоциям.

Но эмоции переполнили Хиллари. Она поднялась со своего кресла и пересела поближе к Стиву.

— Не спится? — белозубо улыбнулся тот и снял наушники.

— Стив, а вы помните, где были 11 сентября 2001 года?

— Конечно, мэм, я был в группе сопровождения вашего мужа по Европе. Он читал лекции в университетах. А почему вы спрашиваете?

Ну да, Билл был первым, кто дозвонился до нее в тот день.

— Это Усама. Это дело его рук... Несколько одновременных страшных ударов, — она вспомнила его подавленный голос.

— Ну, хорошо, им удалось захватить самолеты... но я не понимаю, Билл, где же были наши истребители-перехватчики, где был NORAD?

¹ В этом городе в 1995 году был совершен крупнейший до событий 11 сентября теракт в истории США.

² North American Aerospace Defence Command — Управление защиты воздушного пространства Северной Америки.

— А я так и не понимаю, как им удалось захватить самолеты... Эти люди не должны были попасть на борт, прежде всего... Нам было известно об их готовящихся планах... Я же сам информировал об этом Буша.

— В любом случае, ты делал всё что мог, слышишь?

— Не знаю, Хиллари, когда такое случается, всегда есть, в чем себя винить...

Стив видел, что она о чём-то задумалась, и не решался прервать ее молчание.

— Всё время возвращаюсь мысленно в этот день, — продолжила Хиллари. — Вы знаете, в Конгрессе сейчас идет расследование. Теперь мы уже знаем некоторые подробности... Тяжело думать об этом...

Слёзы навернулись на ее глаза. Лицо Стива вытянулось от сочувствия.

— Я понимаю, мэм. Я сам был в шоке, когда узнал о гибели Джона О'Нила¹ в Близнецах. Отличный был мужик. Настоящий профессионал, из упертых. Он инструктировал нашу группу перед поездками на Ближний Восток. Какая-то ирония есть в этом, да? Столько лет заниматься Аль-Каидой, можно сказать, быть лучшим специалистом в своем деле и так погибнуть. Я вот удивляюсь, как оказалось, что он вынужден был уйти из ФБР?

Хиллари не была знакома с О'Нилом, но знала его историю со слов Тенета.

— Я и сама стала многому удивляться, — махнула она рукой. — Я, например, до сих пор удивляюсь, как эти девятнадцать человек попали на борт самолетов с ножами и газовыми баллончиками. Как пассажир, не имеющий при себе удостоверения личности и не говорящий ни слова по-английски, не вызвал подозрения на контроле? А как эти люди смогли закончить у нас школу пилотов? Не могу перестать удивляться тому, как они проникли в кабины самолетов. Замечательную историю рассказал мне Джордж Тенет. Где-то за месяц до атаки ЦРУ и ФБР поместили имена двоих террористов, летевших одиннадцатого сентября рейсом 77, в список опасных преступников, но оказывается, нет, вы только послушайте, этого еще не достаточно, чтобы автоматически закрыть им въезд в Штаты. И они спокойно были пропущены сначала в страну, а позднее — на борт 77. То есть, для того, чтобы имена преступников засветились в "нелетных" списках авиакомпаний, нужно потратить, ну, я не знаю, сколько времени им нужно! Недели? Месяцы? Тенет меня успокоил, знаете как? "Ну, — говорит, — не пропустили бы этих ребят сейчас, так Бен Ладен послал бы других. Атака на нас была неизбежной. Вам от этого легче?"

Стив успел только пожать плечами.

¹ Один из немногих сотрудников ФБР, понимавших смертельную опасность Аль-Каиды для США. Был уволен из ФБР и принят на работу в качестве руководителя охранной службы Всемирного торгового центра за несколько дней до нападения 11 сентября. Погиб в этот день на посту.

— Мне тоже нет! — Хиллари по-своему истолковала его жест. А история с этим... — на какое-то мгновение она остановилась, пытаясь вспомнить непривычно звучащее имя, но так и не вспомнив, продолжила, — молодым господином из Миннесоты, который пожелал научиться пилотировать "боинг 757" и заплатил за курс наличными, между прочим, да только одна маленькая деталь, слава Богу, обратила на себя внимание в школе пилотов: его совершенно не интересовали ни взлет, ни посадка. Взлетел, значит, не знаю как, и никогда не вернулся. — Она сделала резкий жест рукой. — Вспомнила! Его звали Закариас Муссауи. Его таки арестовали, но дальше началось самое интересное. В чем его обвинять? Ну, виза просроченная. Оказалось, просроченная виза еще не повод выдачи ордера на досмотр его компьютера. Это в то время, когда бьют колокола, когда в стране ожидается теракт со дня на день, когда поступает очень тревожная информация из Франции, откуда был родом этот Муссауи, о его контактах с известным террористом Хатабом, когда есть все основания подозревать его в подготовке к теракту, агент ФБР, занимающийся этим делом, все никак не может получить разрешение на просмотр его компьютера. Ну-у, после 9/11 они, конечно, туда заглянули, — она с горечью усмехнулась. — Там много чего интересного нашлось, включая близкое знакомство с теми двумя ребятами из списка, которых не должны были, по идее, пропустить ни в страну, ни в самолет, — на какое-то мгновение Хиллари замолкла, переводя дух. Молчал и Стив, не зная как ее успокоить.

"Может, дотронуться до ее руки? Дружески, ничего такого", — подумал он, но удержался. Его работа — охранять, а не сочувствовать миссис Клинтон, но в данный момент он испытывал к ней какое-то родственное чувство, похожее на жалость. Ему пришлось быть невольным свидетелем многих семейных скандалов четы Клинтонов, но никогда он не видел Хиллари в таком подавленном состоянии. В волнении она не заметила, что в самолете давно раздается только ее голос. Стихли пилоты в кабине, приглушив радио, стюардесса оставила все дела и присела в кресло недалеке от своей известной пассажирки.

— Я знала многих из погибших, — просто сказала Хиллари. — Её голос задрожал, и Стив сжал-таки слегка ее руку, лежащую на столике. Мягкая и теплая рука дрогнула от неожиданного прикосновения. Благодарно улыбнувшись в ответ на этот жест дружеского сочувствия, она продолжила уже более спокойно:

— Знаете, Стив, мне пришлось прослушать записи разговоров диспетчера Американ Аэрлайн со стюардессой рейса 11. Её звали Бетти Онг. Очень отважная женщина. Ей-богу, в последние 25 минут своей жизни она была более профессиональна и выдержана, чем диспетчер. Собственно, если нам что-то и известно об Американ 11, то именно с её слов. Не помню уже все подробности, а они мне кажутся интересными. Будьте уж так любезны, принесите сюда мои бумаги.

Когда бумаги снова оказались у нее в руках, она разложила их на столике и быстро отыскала нужное место.

— Вот, смотрите. Американ 11 перестал отвечать на запрос диспетчера в 8:13, в это же время транспондер¹ показывает изменение курса. В 8:20 транспондер отключен. Теперь самолет виден только на главном радаре. Захватившие самолет, видимо, не знают, как работает связь кабины и салона, где их слова так и не услышат Бетти Онг и пассажиры. Зато диспетчер слышит: “Мы захватили ваши самолеты... всем оставаться на местах...” — голос Хиллари снова дрогнул. — Видите, Стив, прошло семь минут. Диспетчеры и дальше продолжают тратить драгоценные минуты на Бог знает что, — она нервно передернула плечами, — впрочем, я не права, — ...должно быть, на связь по цепочке с вышестоящими инстанциями в соответствии с их инструкциями. Или переключаются на главный радар, или все пытаются связаться по радио с самолетом... но время-то уходит. Смотрите, в 8:34, нет, вы только подумайте, через 20 минут после того, как с самолетом начались явные отклонения от нормального полета, они сообщают о возможном похищении на военно-воздушную базу Отис. А дальше еще интересней, Стив, — Хиллари читает: “В 8:41 дается команда поднять в воздух два самолета F-15 для перехвата Американ 11”. Самолеты вылетают, не упадите, Стив, с базы на Кейп Коде. Это 153 мили от Нью-Йорка. Ближе аэродрома не нашлось, а может, я чего-то не понимаю в их делах. Но будем отвлекаться. Значит, именно с 8:41 утра начинается защита нашего воздушного пространства. Читаю дальше. Вы еще не упали, Стив? Это же официальная версия того, что происходило. Я ничего не придумываю. Офицер, отдавший команду подняться в воздух двум истребителям, запрашивает FAA² “Мне нужно больше информации, куда их посылать!” Я так понимаю, что самолеты были подняты фактически в “никуда”. И это NORAD! Это наши защитники, которые сами должны находить самолет на своих радарх, не запрашивая никого. Это же их святая обязанность. Это же то, для чего они существуют. Конечно, они пытаются найти самолет на своем радаре, только в 8:46 с Американ 11 все кончено. В 8:50 об этом узнают военные. В 9 утра истребители возвращаются на базу. Минутами раньше похожие события разворачиваются во втором самолете. Транспондер отключен и там. Это уже Юнайтед 175. Кто-то из диспетчеров пытается найти 175-ый на первичном радаре, кто-то пытается связаться с FAA и получает ответ — “Не отвлекайте! У нас тут чрезвычайная ситуация”. У них не хватает воображения представить себе, что чрезвычайная ситуация может повториться с другим самолетом в течение получаса.

Стив прикрывает рукой глаза, словно защищаясь от безжалостных слов Хиллари, но та уже не может остановиться:

— Теперь давайте посмотрим, что предпринимает наша FAA. Уже захвачены три самолета, да? Надо немедленно что-то делать. Слава тебе, Господи, воздушное пространство они закрыли. Вылетов больше нет, но

¹ Устройство на борту самолета, которое отвечает на запрос радара. По ответному коду транспондера можно идентифицировать номер рейса и определить координаты самолета.

² Federal Aviation Administration — федеральное управление авиации.

есть самолеты в воздухе. Надо всем, кто в воздухе, передать информацию о возможном нападении на кабину самолета. И тут оказывается, ФАА не может передавать такую информацию! По регламенту это обязанность авиалиний! Драгоценные минуты снова уходят на переговоры. Нет, вы только послушайте, Стив, Юнайтед 93 — последний, четвертый захваченный самолет, получает предостережение за две минуты до того, как с ним теряется связь! Все уже понимают, что это означает...

Вы говорите об иронии судьбы О'Нила, а разве не ирония судьбы в том, что NORAD именно одиннадцатого сентября проводил учения по перехвату похищенных самолетов. Но почему-то ни один генерал не смог вспомнить точное время, когда были подняты первые перехватчики-истребители уже в реальной ситуации. Удивительная потеря памяти у военных людей на заседании комиссии по расследованию их деятельности. И тему "удивительного", — Хиллари согнула указательный и средний пальцы рук в виде кавычек, — можно продолжать долго.

— Подождите, — не выдержал Стив, — в конце-то концов, знали они или нет о готовящейся атаке? Райс говорила, что у них не было достоверной информации.

— Такая информация была, — медленно и тихо сказала Хиллари. — Мисс Райс сказала не всё, что ей известно.

— Вы хотите сказать, что она солгала под присягой? — продолжал Стив, — А почему нет показаний президента? Я бы с интересом послушал, как он выворачивается наизнанку, отвечая на вопросы комиссии.

— Ну, тут был просто цирк, — с горечью усмехнулась Хиллари. — Он заявил, что готов давать показания только в паре с Чейни, и ни в коем случае не под присягой. Как можно после этого верить всему, что он говорит. Где-то с неделю назад мне позвонила Челси: "Мама, включай скорей ABC. Питер Дженнингс¹ рассказывает про NORAD". Включаю, и что слышу? Оказывается, еще за два года до 9/11 они отработывали сценарий военной игры с захваченными гражданскими самолетами. И слушайте дальше... не просто с захваченными самолетами, а самолетами-самоубийцами, обращенными в ракеты. И мишени-то уже нам знакомые: Пентагон да Белый дом. И как это понимать? Пока президент Буш на пару с Кондолизой даже не могли себе представить такого варианта, NORAD два года отработывал этот сценарий.

— Что-то плохо отработали, — иронично заметил Стив.

— В этом-то все и дело. Какой-то всеобщий провал системы.

— Подождите, а Юнайтед 93? Я слышал, Чейни дал приказ его сбить.

— Ну, тут уже была другая ситуация. Все-таки четвертый самолет. К 10 утра стало понятно, что рейс 93 направляется в сторону Вашингтона с террористами на борту. Бог знает, что они там готовили: врезаться в Белый дом или еще куда. Совершенно невозможно было слушать последнюю трансляцию с борта этого самолета. А ведь несколько родственников опознали голоса пассажиров, когда те пытались взломать дверь захва-

¹ Популярный телеведущий канала ABC.

ченной кабины... Как ужасно, да? Последние мгновения жизни любимых... Нет-нет, этот самолет не был сбит. Они сами врезались в поле... Ну, это вы уже тоже знаете.

Хиллари замолчала и отвернулась к окну, стараясь избегать прямого взгляда Стива.

Наступившей паузой воспользовалась "Барби", давно прислушивающаяся к нервному монологу миссис Клинтон.

— Всё ли в порядке, мэм? — осведомилась она с очаровательной улыбкой.

С этим же вопросом к ним обратился и подошедший капитан самолета, до которого, видимо, донеслись какие-то слова Хиллари. Это был молодой человек лет тридцати пяти, высокий и хорошо сложенный, с приятной открытой улыбкой. Глядя на него, Хиллари почему-то вспомнила слова Банни о том, что она недавно вернулась из Флориды. По загару капитана было видно, что и он не терял там время зря.

— Миссис Клинтон, я хочу сказать несколько слов в защиту своих коллег, — обратился он к Хиллари. — Мы слышали, что вы говорили о диспетчере Американ. Ваши суждения не вполне справедливы, мэм. Террористы отключили транспондеры на трех самолетах...

— Садитесь, садитесь, капитан, — Хиллари показала на кресло напротив. — Это очень интересно. Мне всё никак не удавалось поговорить с летчиками о том, что же они думают о 9/11.

— Так вот, — капитан уселся напротив Хиллари. "Барби" осталась стоять в проходе, облокотясь на спинку его кресла. — Транспондер это своего рода ответчик, установленный на каждом борту. Эта штука посылает сигнал или код в ответ на запрос радара и именно по ответному коду транспондера, диспетчер знает номер рейса и координаты самолета. Это обычная стандартная процедура: запрос—ответ, запрос-ответ. А тут вдруг самолет исчезает с радара. Мне представляется, диспетчер пытался установить связь с Американ 11 по радио и одновременно перестроить свой радар на дисплей главного локатора. А на это ушло время. На главном же радаре этот самолет превратился в движущую точку. Номер рейса тут уже не определить.

— Так вы хотите сказать, что и военные локаторы не в состоянии были определить координаты угнанных самолетов? Выходит, любой самолет, вторгшийся в наше воздушное пространство с отключенным транспондером, может беспрепятственно лететь на любой высоте практически к любой цели? Час от часу не легче...

— Я этого не говорил, мэм. Уверен, что радары у NORAD могут прекрасно определять координаты и скорость самолетов. Откуда же мне знать, что у них случилось в то утро, — летчик улыбнулся, явно не желая углубляться в проблему военных локаторов.

— Ну, хорошо, — решила сменить тему разговора и Хиллари. — А как, по-вашему, можно защитить летчиков от нападений? Выдать им табельное оружие или посадить в салон переодетую охрану?

Этот вопрос довольно долго обсуждался в Конгрессе, и она уже примерно знала, какое решение будет принято, но ей было интересно услышать мнение капитана.

— Я бы предпочел иметь при себе пистолет, — не задумываясь, ответил тот.

Не проронивший ни слова Стив скептически оглядел летчика. Про себя он прикинул, сколько бы времени ему понадобилось обезоружить такого аса в тесной кабине самолета. Полминуты-минута...

Заметив его оценивающий взгляд, летчик улыбнулся опять. На этот раз смущенно.

— Конечно, хорошо бы подучиться приемам самообороны.

“Да вас учи — не учи, — думал Стив, — всё равно где-нибудь проколите”. Он еще у трапа самолета увидел, насколько экипаж не подготовлен к чрезвычайной ситуации. Когда Хиллари зашла в салон, Стиву пришлось жестом показать второму пилоту, болтающему у трапа с кем-то из наземной службы, подняться в самолет и закрыть дверь. Маленький частный джет можно при большом желании угнать и эффективно воткнуть его в атомную электростанцию, к примеру. И если на этот раз обстановка была спокойной, то кто знает, что может случиться в другой раз.

Еще два года назад лейтенант секретной службы безопасности Стивен Флиннер не задумывался о сложности жизни. В его простом мире, разделенном на хорошее и плохое, гармония достигалась соблюдением определенных правил, перечисленных в рабочей инструкции. События 9/11 этот мир пошатнули.

— Они там что, совсем охренели? — мучился вопросом лейтенант, узнав, что Мухамед Атта значился в списках ФБР как член особо опасной террористической группы Аль-Каида задолго до злопамятной даты. — Почему они не поделились этой информацией? Соблюдали инструкцию? Если ЦРУ были известны планы угонов самолетов, почему не были приняты меры предосторожности в аэропортах? — Нет, это не беспечность. Это что-то другое. Если они вышибли такого спеца как Джон О’Нил, то кто же у них работает?

Не находя ответа на эти и многие другие вопросы, Стив решил про себя, что нет худа без добра.

И уж теперь-то “они”, так он называл про себя правительство, начнут что-то делать.

И действительно, многое стало меняться в системе у него на глазах. “Они” смекнули, наконец, кто их главный враг и сосредоточились на борьбе с этим врагом. Только все меры, принимаемые правительством, казались Стиву недостаточными. Почему-то он видел только проколы в создаваемой новой системе безопасности. Из-за начавшихся ненавистных ему бюрократических разборок и перекройки кадров, многие его коллеги ушли, среди них были достойные люди. Какое-то сомнение закралось в его представление о мире, который был так прост и незатейлив до этого. Особенно его поражала беспечность людей, их беззащитность и неготовность к отпору. Вот и этот улыбочивый капитан казался Стиву ненадежным. Разве можно доверять ему табельное оружие... Его горькие мысли прервала “Барби”.

— А знаете, — зашебетала она, — нас не было в Америке одиннадцатого сентября, но я отлично помню, как мы не могли вылететь из Джидды, где Банни тогда отдыхала. Она хотела сразу же вернуться домой, но Америку закрыли. Да? Помнишь, Крис?

Капитан успел кивнуть своей красивой головой.

— Так вот, сидим мы в отеле и в ужасе смотрим телевизор, а там про террориста номер один рассказывают, и вдруг узнаем, что из Нью-Йорка сел самолет. Мы еще удивились, кому это воздушное пространство открыли, а девочки с рейса нам потом сказали, что обслуживали каких-то родственников того самого Усамы бен Ладена. Банни очень возмущалась тогда, да и нам тоже было непонятно, почему к ним такое особое отношение. Я сама из Оклахомы, и насколько знаю, отца Тимоти Маквея¹ потрясли изрядно, хотя он и понятия не имел о том, что его сынок задумал, а уж тут такое особое почтение... это же заслужить надо, да? — наивные голубые глаза в обрамлении густо накрашенных ресниц вопрошающе уставились на Хиллари.

— И не говорите... — ответила та, — семейство Бушей и Бен Ладенов — давние деловые партнеры. Можно сказать, друзья. Конечно, сынок им репутацию подпортил...

— Абердин через двадцать минут, — раздался голос второго пилота. Извинившись, капитан направился в кабину, вслед за ним исчезла и "Барби". Стив проводил ее глазами и повернулся к Хиллари.

— Скажите, миссис Клинтон, а кто-нибудь пытался оказать сопротивление террористам в самолетах?

На этот раз Хиллари ответила не сразу. Было видно, что она думает о чем-то другом. Стиву пришлось терпеливо ждать. Он пристегнулся и молча вопросительно посмотрел на Хиллари.

— Мы знаем не так уж много, — наконец сказала она. — Пассажиры самолета, который упал в Пенсильвании, штурмовали захваченную кабину... ну, это известно всем, а вот в первом самолете, по словам Бетти Онг, один из пассажиров был тяжело ранен или убит... Ему перерезали горло. Мне почему-то кажется, что он пытался задержать Атту, сидящего перед ним... Конечно, он не знал, что еще двое из этих... сидят позади него... Но это мое предположение... Бетти смогла назвать номер его места, впрочем, как и места террористов. Таким образом и стали известны их имена.

— А как звали этого пассажира?

— Даниэль Левайн. Бывший офицер израильской армии.

Хиллари отвернулась к окну. Отдохнуть не удалось, как впрочем, и собраться с мыслями. И зачем-то именно сейчас ей вспомнилась Барбара Олсон, заклятая врагиня, погибшая в самолете, врезавшемся в Пентагон. Какой парадокс судьбы в том, что Олсон писала в то же самое время книгу о нарушениях законов президентом Клинтоном.

¹ Террорист, организовавший и осуществивший взрыв федерального здания в Оклахома-сити, в результате которого погибли 168 человек.

— У них в Техасе ненависть к Клинтонам растет на грядках, — усмехнулась про себя Хиллари. — Может, мне попробовать написать о нарушениях законов президентом Бушем... Надеюсь, мы приземлимся без происшествий.

Внизу показались огни вечернего города. Полет подходил к концу. Самолет зашел на посадку и через несколько минут коснулся земли. Из открывшейся двери повеяло холодом и сыростью.

— Ну, что я вам говорила, Дакота не Флорида. Одевайтесь потеплее, — заботливо защebetала "Барби", давая проход Стиву, устремившемуся к раскрытой двери. Хиллари с благодарностью простилась с экипажем до утра. Места в гостинице для них уже были забронированы, а ее должен встречать Том Дашэл. Осталось только в последний раз проверить телефон. И телефон зазвонил в тот самый момент, когда она, улыбаясь, уже шагнула навстречу Тому, поджидавшему ее у трапа. Время для разговора было неподходящим, но единственная фраза, сказанная Биллом, преобразила ее лицо.

— Помни, Южная Дакота для нас счастливый штат, — сказал он. — Привет Тому.

Что такого счастливого он нашел в всегдашнем красном штате? Он его проиграл два раза. Невесть какая потеря, всего три голоса, но и счастья от этого мало.

Переспросить или рассуждать было некогда, Том уже обнимал ее и говорил что-то про перелет, погоду и как он рад видеть ее здесь, у себя дома. Оба прекрасно знали, что могли встретиться в Вашингтоне несколькими днями позже на открытии новой сессии Конгресса и только необычайные причины заставили ее прилететь к нему в Дакоту, да еще на ночь глядя.

Некрасивый, небольшого роста, но с крепким цепким рукопожатием и открытой улыбкой, Том Дашэл подвел гостей к своему темно-зеленому "понтаку" 71-го года. Он не признавал шоферов и исколесил весь штат на этой старой машине, несмотря на подшучивания охранника, следовавшего за ним повсюду в новеньком джипе. Окинув машину скептическим взглядом, Стив Флиннер уселся на переднее место рядом с Дашэлом, продемонстрировав, что его мало интересует мнение сенатора по поводу присутствия охранника Хиллари в его машине.

Но Том отнесся к этому спокойно и с пониманием.

— Поедем ко мне на ранчо, — сказал он, заведя мотор "понтака", — это минут сорок пути отсюда. Я что-то не припомню, Хиллари, когда ты была в последний раз в Южной Дакоте?

— В 92-ом.

Несмотря на краткий ответ, Том прекрасно понял, что речь идет о предвыборном турне Билла Клинтона, когда он избирался в президенты в первый раз.

— У тебя тут край непуганых республиканцев, — продолжала она, — и насколько я помню, мы вообще хотели проехать Дакоту ночью, не останавливаясь, и сразу направиться в Колорадо. Билл охрип,

и ему нездоровилось. Я тоже слегка подустала и как-то отключилась той ночью. И вдруг кто-то, кажется, Ал, разбудил меня: “Смотри, говорит, там костры, и люди машут нам и что-то кричат”.

Даже не оглядываясь, Том чувствовал, как это воспоминание приятно Хиллари.

— Конечно, мы остановились. Оказалось, что это собрались фермеры, всего человек тридцать-сорок. Они знали, что мы должны проехать, но не знали когда, и ждали нас всю ночь прямо в поле, греясь возле костров. Билл мог говорить только шепотом, зато Ал был просто в ударе. Много шутил. Он вообще очень обаятельный человек, когда в ударе. Даже Челси проснулась и вышла из автобуса. Знаешь, я люблю вспоминать ту кампанию. Я тогда в первый раз проехала ночью всю страну и познакомилась с чудными людьми. Вот и эти фермеры... разве можно их забыть. Да ты и сам их знаешь.

Еще бы Том Дашэл не знал своих людей. Неслучайно местные республиканцы выбирали его, демократа с большим стажем, в Сенат. Многие голосовали здесь за человека, а не за партийную принадлежность. Правда, на президентских выборах неизменно выигрывали республиканцы. Так что голоса тех фермеров, поджидавших ночью автобус Билла Клинтона, не решили дела. Том хотел было поговорить с Хиллари об этой интересной особенности его штата, но передумал, увидев в зеркальце, что она закрыла глаза и, скорее всего, задремала.

— Ну а вы, Стив, — переключился он на охранника, — бывали раньше в Южной Дакоте?

— Только однажды, еще с бойскаутами. Нас возили на гору Рашмор¹. Впечатление осталось на всю жизнь.

И они поговорили о местных племенах индейцев, рыбалке и охоте, пока Хиллари дремала под их голоса на заднем сидении. Она таки вспомнила, почему Билл назвал Южную Дакоту счастливым для них штатом. В ту самую ночь, когда они простились с фермерами, и автобус выехал на хайвэй, держа курс на Колорадо, она простила ему измену с Дженеффер Флауэрс.

“Неужели он это запомнил? Как хорошо”— успела подумать Хиллари, проваливаясь в сон.

Уже за полночь они добрались до ранчо Тома Дашэла. Громкие голоса и собачий лай разбудили Хиллари. Поеживаясь от холода, она выбралась из машины. Высокая луна освещала крышу деревянного дома из бруса и легкую изморозь, покрывавшую траву и кустарник. Вокруг Тома в радостном экстазе носились несколько собак.

— Какой здесь удивительно чистый воздух. Просто не могу надышаться, — не удержался всегда немногословный Стив.

— Теперь вы понимаете, почему я не спешу с поездкой в душный Вашингтон. Ну что ж, добро пожаловать в мой маленький домик в прерии.

¹ Главная достопримечательность Южной Дакоты. Барельефы на горе изображают четырех президентов США.

Домик оказался не таким уж и маленьким. По деревянным некрашеным стенам просторной гостиной были развешаны охотничьи трофеи семьи Дашэлов.

— Только не говори мне, что это ты убил бизона, — Хиллари остановилась у покрытой шерстью бычьей головы, торчащей из стены.

— Конечно я. И того красавца-оленья тоже. А наверху ты увидишь голову лося-великана. Так это подарок моих друзей из племени сиу. Мы же здесь все охотники, Хиллари.

— И Линда тоже?

— Ну, она любит охотиться на дичь, иногда мы с ней рыбачим. Она утром улетела в Вашингтон. Располагайся у камина. Гладить собак не советую. Они потом не ойдут и надоедят тебе до смерти.

Хиллари с неприязнью посмотрела на медвежью шкуру, раскинутую на полу возле камина. Надо же. Клинтонь дружили с Дашэлами много лет, часто навещали их в Вашингтоне, но там они были совсем другими людьми. Более светскими, что ли. Во всяком случае, она никогда до этого не могла представить себе хрупкую Линду, жену Тома, с охотничьим ружьем в руках. А тут, пожалуйста, на каминной полке расставлены ее фотографии с охотничьими трофеями.

— Нет, — вздохнула Хиллари, — убивать зверей я бы не смогла. Давай лучше посидим на кухне, — крикнула она Тому, суемящемуся где-то в глубине дома.

Кухня оказалась еще просторней гостиной. Настоящее царство сковородок и кастрюлек, висящих и стоящих в строгом порядке, установленном хозяйкой. По центру — громадный стол с каменной столешницей. Хиллари любила кухни не потому, что была заправским кулинаром, на это времени совсем не хватало, а потому что для нее это было святое место, где собиралась вся семья и где можно было оставаться просто женой своему мужу и матерью своему ребенку. Хранительницей очага, одним словом. Она с интересом наблюдала, как Том орудует у раскрытого холодильника, доставая откуда какие-то пакеты, варит кофе, нарезает тонкие куски индюшатины, раскладывает бутерброды, хвалит яблочный пирог, испеченный Линдой. За столом, кроме нее, уже сидел Стив с другим охранником, чуть позже подошел пожилой работник ранчо. Одна из кобыл ожеребилась, пока Том ездил встречать Хиллари. Было решено навестить ее утром.

“Как хорошо, как здесь спокойно, — думала она. — И Дашэл выглядит совсем другим”. Республиканцы изображали его на карикатурах в виде болванчика, сидящего между Биллом Клинтонем и Теддом Кеннеди, намекая на отсутствие самостоятельности в принятии решений. А здесь он такой уверенный и обстоятельный. Настоящий хозяин. Ковбой, да и только. Не случайно даже Стив сразу согласился пойти наверх и отдохнуть, оставив их вдвоем. Обычно он долго что-то расспрашивает и проверяет. Правда, он мог и просто устать, день был длинный.

— Ну что, пойдем в кабинет, — предложил Том, когда все разошлись из-за кухонного стола, — там нам будет удобней говорить, а посуду я поую утром.

Через опустевшую гостиную, где уже догорели дрова в камине, они прошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Все четыре собаки Тома проследовали за ними, слегка клацая когтями по деревянному полу. Светло-палевая Фокси явно предпочла гостью, скормившую ей часть своего бутерброда еще на кухне, и как только Хиллари вошла в кабинет и уселась в кресло, уткнула коричневый нос в ее колени.

— Какой славный песик, — растрогалась та, — а мне всегда казалось, что собаки меня не любят потому, что я предпочитаю котов.

— Фокси у нас известная подлиза. Ее Линда избаловала. Смотри, все собаки ведут себя прилично, никто к тебе с нежностями не пристает, а эта будет требовать внимания и уже ни за что не отойдет. Знает, что я ей все прощаю за то, что хорошо лис гоняет. Ну-ка, Фокси, отстань! Место!

Собака неохотно и не торопясь проследовала на место, указанное ей хозяином. Наступила пауза. Казалось, Хиллари о чем-то задумалась и все никак не могла приступить к разговору, ради которого проделала дальний путь. Выждав несколько минут, Том начал первым:

— Так что там у вас в столице происходит? Я весь месяц мотался по штату, встречался с избирателями и не особенно следил за новостями.

— Скажи, — словно бы очнулась Хиллари, — ты помнишь последнее обращение Буша к Конгрессу?

— О, Господи, спроси что-нибудь полегче. Он уже столько наговорил, что я и счет потерял.

— Ну, это: "Нам стало доподлинно известно, что Саддам закупил в Нигере партию урана", — Хиллари с такой точностью передала интонацию Буша, старательно выговаривающего эти слова в Конгрессе, что Том не выдержал и рассмеялся. Притихшие было собаки чутко подняли головы и вопросительно уставились на хозяйина.

— Вот ты смеешься, а у многих слышавших эту фразу, все-таки президент говорит, как-никак, лица вытянулись, потому что ничего такого "доподлинно" известно не было. О том, как этот "желтый пирог" попал в речь президента, можно только догадываться. Короче, пока ты объезжал на своем допотопном "пontiаке", не понимаю, как он еще заводится, Южную Дакоту, в "Нью-Йорк таймс" вышла статья некоего Джо Уилсона, — Хиллари вопросительно посмотрела на Тома. Тот пожал плечами: такого не знаю.

— Это дипломат с хорошей репутацией, служил много лет в Африке, выполнял некоторые секретные поручения, но штатным агентом ЦРУ не был, тем не менее, ему дали задание выяснить, была ли такая сделка совершена на самом деле. Он поехал в Нигер, добился встречи с президентом этой страны и выяснил "доподлинно", что ничего такого не было и в помине, а договор, на основе которого Буш и ... кто-то там еще пришли к сенсационному заключению — обыкновенная подделка.

— Вот это да! — присвистнул Том.

— Но история на этом не закончилась, так что обожди немножко. Шпионские страсти разгорелись где-то через неделю. В той же газете появляется статья, не вспомню сейчас чья, где говорится, что не случайно никому неизвестный какой-то там дипломатишко Джо Уилсон отправился

в Нигер с особой миссией. А дальше, слушай внимательно! Все дело-то в том, что это его жена, Валери Плэйм — штатный агент ЦРУ, составила ему протекцию. Как тебе нравится, а? Чувствуешь, чья тут работа? Они разом компрометируют ЦРУ, где насажена семейственность, и выдают имя секретного агента, а это, между прочим, дело серьезное, если вообще не преступление. Из обоймы вылетает не только Валери Плэйм, но и многие, кто с ней работал в отделе по мониторингу ядерного оружия. А теперь представь на минутку такую картину, не могу ручаться, что так оно и было, но все же: сидит, значит, Чейни, или кто там у них, в своем офисе, скорее всего, все-таки он, и свирепеет от того, что в их сварганенном дерьме позволили усомниться настолько, что отправились проверять слова самого президента, да еще и уличили их во вранье. И они решают вывернуться единственным известным им способом: облить дерьмом человека, ставшего на пути. Мне отлично знакомы их методы. На себе испытала. Ну не скоты ли? — Хиллари оживилась. — Я только очень надеюсь на то, что Валери доведет дело до суда и докапается до тех мерзавцев, которые ее слили. Открыть имя засекреченного агента совсем не шуточное дело, знаешь ли. И я совсем не удивлюсь, если след приведет в Белый дом. В ее речи появился знакомый Тому сарказм.

— Подожди, подожди, подожди. Ты тут столько наговорила сейчас, я хочу разобраться.

Кое-какие слухи дошли и до нас, провинциалов. Я слышал, что не все было чисто с фактами в выступлении Пауэла в ООН. И как ты знаешь, меня та речь Буша мало удовлетворила. Но скажи мне, пожалуйста, где был Тенет? Он же первый, кто отвечает за достоверность информации, представленной президенту.

На самом деле Том не был таким уж “провинциалом”, за которого он иногда себя выдавал. Большую часть года Дашэлы жили в своем шикарном особняке за три миллиона долларов в одном из самых престижных районов Вашингтона. Конечно, он не был так известен в стране, как Тедд Кеннеди, но республиканцы в Сенате не случайно шутили, что от его голоса у них начинается изжога. Дело было не столько в манере Тома говорить, сколько в том, что много лет он был лидером демократов в Сенате, а значит, отвергал любые предложения республиканцев. Такая уж это должность: противостоят мнению большинства, если твоя партия в меньшинстве, и давить на меньшинство, если твоя партия в большинстве. За долгие годы политической карьеры Дашэл овладел обоими приемами. Сейчас же ему просто хотелось выяснить, что нужно Хиллари.

— Знаешь, — начала она, — мне даже удалось поговорить с Тенетом на днях. До сих пор не могу опомниться от прослушивания записей разговоров с врезавшихся 11 сентября “боингов”.

Я привезла в Вашингтон родственников погибших. Прекрасные люди. Держались очень стойко. Короче, случайно натолкнулась на Тенета в Капитолии. Поговорили. Конечно, ты прав. Но там, вокруг Буша, ситуация сложилась очень непростая. Просто Мадридский двор какой-то. Как понимаешь, победил дуэт Чейни-Рамсфельд. И вообще, Тенет был слишком занят Аль-Каидой последние годы, у них и агентуры-то не было сво-

ей в Ираке. Так что пришлось пользоваться данными разведок других стран, а оттуда шло очень много дезинформации, и не всегда можно было проверить подлинность донесений. Помнишь, эти “Передвижные бактериологические лаборатории”? Источник работал на немецкую разведку, и вызывал большое сомнение у наших. В общем, не Пеньковский¹. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти донесения не смогли. Да и вся информация по Ираку была сомнительна.

— Что значит — “сомнительна”! — не удержался и прервал ее Дашэл. — А какого хрена он тогда сидел за спиной Пауэла в ООН, когда тот нес на весь мир “сомнительную” информацию?

— А какого хрена мы голосовали за право Буша вести войну с Ираком? Ты хотя бы прочел доклад ЦРУ, написанный специально для Конгресса?

— Господи, Хиллари, там 90 страниц. Я прочел краткий вариант.

— Я сама прочитала полный доклад только два дня назад, а потом сравнила с кратким, приготовленным специально для таких сенаторов, как мы с тобой, — она состроила легкую гримасу отвращения, — так вот, они очень отличаются. Чья редакция, я могу только догадываться, только первоначальные “возможно есть” заменены на последующие “есть”. Так предположения они обратили в утверждения. А что было дальше, ты и сам знаешь.

— Ну, что сейчас про это говорить. Мне все бушевские доводы показались сомнительными с самого начала, но я абсолютно уверен в том, что у Саддама есть атомная бомба, и это смертельно опасно, потому что он сукин сын.

— Нету у него атомной бомбы, да и никакого другого оружия массового уничтожения, — тихо, с какой-то даже горечью сказала Хиллари.

— Ты что? Ты это серьезно? Откуда ты знаешь? Это тебе кто сказал? — впервые за весь вечер благодушное состояние оставило Тома.

— Теннет мне это сказал. Все. Поиски закончены. У Саддама нет никакого оружия.

— Это же надо так обосраться... на весь мир! — Том подскочил со своего места и в возбуждении заходил по кабинету. Собаки снова разом подняли головы, прислушиваясь к непривычным ноткам в голосе хозяина. Фокси, воспользовавшись переменой настроения в разговоре, снова подошла к Хиллари, словно бы интересуясь, что тут, собственно, происходит. На этот раз Хиллари оставила ее дружеский визит без внимания.

— Ну, наебали так наебали... Как так получилось, я все-таки чего-то не понимаю! Что этот твой Теннет-то говорит?

— Он обескуражен не меньше тебя. Говорит, ему приходилось иметь дело с теми, кто скрывает разработку ядерного оружия, а вот чтобы так — не иметь бомбу и создавать впечатление, что она есть, с этим он столкнулся в первый раз. Скорее всего, Саддам просто блефовал и оплатился за свою игру. Кстати, официального сообщения еще пока нет.

¹ Информация, переданная американцам шпионом Пеньковским, отличалась точностью и достоверностью.

Хиллари с интересом наблюдала за реакцией Тома со своего кресла. Впервые за всю встречу она коснулась, как ей казалось, главного. Покружив в возбуждении по кабинету, он, наконец, присел на подоконник и поглядел на нее.

— Так ты хочешь, чтобы я созвал комиссию Конгресса по Ираку?

— Нет, Том. Я хочу, чтобы ты начал процесс импичмента Джорджа Буша.

Вот оно что. Вот, значит, с чем она прилетела к нему в Южную Дакоту, не дожидаясь встречи в Вашингтоне. Дело серьезное. Как нехстати он бросил курить. Не выдержав, Том полез в нижний ящик письменного стола, где у него была спрятана трубка.

— Ты что, снова взялся за курение?

— Закуришь тут с тобой, — махнул рукой Том. — Хочешь, выйдем на террасу?

И как всегда, открывшийся с террасы вид высокого черного неба, покрытого мерцающими звездами, ночная тишина, нарушаемая еле слышными шорохами и звуками, легкий ветерок, принесший таинственный запах, улавливаемый чуткими собаками, успокоили Тома.

— Это так все не вовремя, дорогая.

— Почему не вовремя? — вспыхнула Хиллари, на которую не подействовала величественная картина ночного неба, — потому что ему переизбираться через год? Почему им было "вовремя" набрасываться на Билла в последний год его президентства? И вообще, почему этим сволочам все должно сходить с рук? Почему они могут выдавать свои личные интересы за интересы американского народа и обвинять в непатриотизме тех, кто не разделяет их взглядов? Почему они могут вводить страну в заблуждение, извращать и подтасовывать факты, втягивать в войну, не имеющую никакого отношения к национальным интересам? Это серьезно, понимаешь? Еще немного, и любой закон может быть прапан по причине "борьбы с терроризмом". Ты не находишь, что тут прямая угроза нашей демократии, а? Это тебе не какая-то толстокопая практикантка... это... это заговор. Посмотри, как они воспользовались терактом 11 сентября, и ведь палец о палец не ударили, чтобы предотвратить это нападение. Слава Богу, Ричард Кларк собирается выступать в комиссии Конгресса. Это немного прояснит ситуацию с их "борьбой с терроризмом". И потом, ты не находишь, что здесь явный конфликт интересов, я имею в виду связь этой администрации с нефтяной промышленностью. А "Халлибертон"? Тут тоже хорошо бы докопаться до того, как получилась, что именно эта компания получила правительственные заказы в Ираке.

Странное дело, чем больше волнения слышалось в голосе Хиллари, тем спокойнее становился Том. Возражать по существу он не мог. Хиллари была права. Конечно, если она начнет импичмент сама, республиканцы поднимут крик, что это месть за Билла. Но до новых выборов остался всего год, Буша ведь могут просто переизбрать. А может, она просто хочет сама избираться в президенты? Почему сразу не сказать? Он всегда готов ее поддержать.

Докурив трубку, Том неторопливо прошел в дом, вынес оттуда теплый плед и заботливо закутал в него Хиллари, стоявшую у перил террасы и смотрящую куда-то в темноту ночи.

— Ну, хорошо, если импичмент пройдет и за него проголосуют две палаты, в чем я очень сомневаюсь, и Буш вынужден будет оставить свой пост, тогда Дик Чейни станет исполнять обязанности президента. Это то, что ты хочешь, да? Чем, собственно, он лучше Буша? По-моему, этот вариант еще и пострашней. Или ты хочешь уделять их разом? — легкий сарказм послышался в его голосе.

— Я прекрасно понимаю, что импичмент не пройдет в нижней палате, Том. Но у нас появится возможность говорить открыто в Конгрессе об их преступлениях. Может дело дойдет и до независимого прокурора. Это хотя бы припугнет их немного и поможет демократам выиграть выборы через год.

— Знаешь, дорогая, я думаю, ничего у нас в Конгрессе не получится с этой идеей. Мы сами дали Бушу все права на ведение войны, а что касается Саддама, так ведь и для Билла его смещение было приоритетом номер один. Мне всегда казалось, что война с ним неизбежна. Согласись, мир будет безопаснее без Хуссейна.

Избегавшая до этого смотреть на собеседника, Хиллари наконец повернулась к Тому и с напряженным вниманием взглянула ему в глаза:

— Так почему ты сказал, что затевать импичмент сейчас “не вовремя”?

— Сейчас нельзя разделять нацию, устраивая войну в своем доме. Ты забыла, мы все заявили о поддержке нашего президента еще два года назад. К тому же я не думаю, чтобы Нэнси¹ понравилась эта идея.

— Ничего я не забыла... — Хиллари вдруг громко и с удовольствием зевнула. — Все. Три часа ночи. Спать-то мы будем или как?

И снова элегантная птичка под названием “Гольфстрим” была готова к приему пассажиров на борт.

Поеживаясь от утренней прохлады, стюардесса ожидала миссис Клинтон, непринужденно болтающую о чем-то с сенатором Дашэллом. Наконец, все распрощались, дверь закрылась за Хиллари, и птичка вырулила на взлетную полосу.

На этот раз у Стива Флиннера было прекрасное настроение. В отличие от Хиллари, он не только выспался и успел пробежать свои обычные шесть миль, но и заглянул в стойло, где на слабых ножках уже стоял новорожденный жеребенок, трогательно потряхивая маленькой головой.

“А хорошо было бы выйти в отставку и купить небольшое ранчо где-нибудь в Южной Дакоте” — думал Стив, включив утреннюю программу CNN. Краткая лента новостей сообщала о внебрачной связи сенатора Джона Эванса с малолетней душевнобольной девушкой.

¹ Нэнси Пелоси — спикер Палаты представителей США.

— Мэм, — не удержался Стив, — похоже, у вашего друга большие неприятности.

— Да что случилось-то? — подскочила Хиллари.

— Тут вот передали, что у Эванса внебрачная связь в то время, как его жена больна раком.

— Блядь, как мне надоели все эти козлы! С ними невозможно иметь никаких дел, — разразилась бранью миссис Клинтон.

Привыкший к подобным всплескам негодования, Стив надел наушники и переключился на баскетбол.

I want to know the truth!
You can't handle the truth!
(*"A few good men"*¹)

Итальянский ресторан, разместившийся на огромной плазе, что при выезде с хайвея на Мейзон-сити, был рассчитан на нескончаемый поток посетителей, изголодавшихся по незатейливой кухне, которую в наших краях называли итальянской. Скорее всего, не все обитатели городка могли отыскать Италию на карте Европы, но ресторан "Олив гарден" был у нас хорошо известен. Поэтому Фрэнк Салливан обрадовался, как ребенок, когда Джуди позвала его туда на лазанью с бокальчиком белого сухого вина. Поесть он любил. После развода с женой, сбежавшей от него к военному инженеру, гастрономические интересы возобладали над всеми другими интересами Фрэнка. Об этом свидетельствовал довольно большой живот, на котором без подтяжек не держались ни одни брюки, и ботинки с вечно болтающимися шнурками, завязывать которые было все труднее и труднее. Но, в отличие от Джуди, он совершенно не переживал по поводу своего избыточного веса, и был человеком открытым и жизнерадостным. Лишь одно обстоятельство слегка омрачало его оптимистичный взгляд на жизнь: уход на пенсию через два года. Он совершенно не мог себе представить, на что ему придется тратить оставшуюся жизнь. Втайне Фрэнк рассчитывал на то, что Аззи предложит поработать ему подольше, учитывая его опыт и проверенную за многие годы лояльность, но тот молчал, и Фрэнк стал приучать себя к мысли о надвигающейся старости. Звонок Джуди пришелся как нельзя вовремя.

— Не пугайся. Я подъеду с одной моей приятельницей, молодой и приятной особой, — предупредила она.

— Когда это я пугался молодых особ, да еще приятных? — удивился Фрэнк и приехал в "Олив гарден" минута в минуту к назначенному сроку. Проследовав за официанткой в коротенькой юбочке и длинном черном фартуке, он с некоторой досадой увидел, что заказанный у окна столик в некурящей части ресторана был еще пуст. Он успел досконально изучить меню, съесть несколько ломтей изумительно свежего белого итальянского хлеба, покрыв крошками блюдечко с оливковым

¹ "Я хочу знать правду! Ты не сможешь справиться с этой правдой!" Из кинофильма "Немного хороших парней".

маслом, и даже выкурить сигарету на ступеньках ресторана, когда Джуди, наконец, появилась в проходе между столиков с обещанной молодой особой по возрасту чуть постарше его внучки. Обе были возбуждены и тараторили без умолку: они только что вернулись из Сити-холла после встречи с двумя сенаторами. Равнодушный к политике Фрэнк тщательно разжевывал кальмаров под соусом, вежливо ожидая, когда спадет возбуждение молодых дам.

Джуди первая заметила отсутствие у него всякого интереса к их болтовне и переменила тему разговора.

— Знаешь, Фрэнк, а ведь “Одинокая звезда” никакая не богадельня. Это Аззи так помечал одиноких стариков в своих файлах. Эмми помогла мне во многом разобраться. Я и позвала вас сюда, мои дорогие, чтобы поблагодарить за помощь, — Джуди подняла бокал с вином и чокнулась с Фрэнком и Эмми.

— Так я давно хотел сказать, что видел такую же пометку в истории болезни Пенни Рив, да все как-то забывал, — Фрэнк с воодушевлением проглотил кусок лазаньи.

— И насколько я сейчас понимаю, наша бедная Пенни была одинока как перст еще до того, как попала к нам в заведение. Может, у нее и были припасены кое-какие деньги на старость, да все ушли на оплату услуг от Аззи, а уж какие он предоставлял услуги, мы можем только догадываться. У меня есть подозрение, что он просто обирал одиноких стариков, а потом сбрасывал их в барак на государственное обеспечение. Доказать ничего невозможно. Никаких проверок, конечно, не было. Аззи не зря дружил с папашей Харрисоном. Взять хотя бы нашего Ромео. С такой травмой головного мозга никакое лечение уже не поможет. Он нуждался только в уходе. То же самое можно сказать и о Пенни. Она вообще отличалась завидным здоровьем для своих лет, и если бы не проклятая жара в бараке, могла бы еще жить и жить. Мы уже никогда не узнаем, сколько у нее было денег до того, как она к нам попала. А вот про деньги Ромео я случайно узнала, — и Джуди не поленилась рассказать историю Алекса Флинта.

От Фрэнка не укрылись особые ноты в ее голосе, когда она говорила о сенаторе Эвансе.

— Может, скажешь, с чего это его занесло к вам барак? Аззи все на меня наседал, не знаю ли я, кто стукнул. Не исключал, что это могла быть и ты.

Тут на выручку Джуди пришла Эмми, которая до этого молча управлялась с большим куском пиццы-пепперони:

— Я видела своими глазами письмо сенатору от какой-то Роуз, не могу вспомнить сейчас ее фамилию. Вся корреспонденция сенатора официально регистрируется. Это письмо было таким наивным и трогательным, как будто написано ребенком. Все-таки, какой наш сенатор замечательный человек. Он откликается на любой зов о помощи, кто бы его ни просил. Причем, много времени тратит на встречи с избирателями, а не просто сидит в своем кабинете. Во всем хочет разобраться сам, понимаете? Поэтому-то он и приехал в барак: увидеть своими глазами, что у вас и как. Вот недавно я

видела его в довольно странном месте, он выходил из мотеля, что неподалеку от фитнес-клуба на повороте к семнадцатой дороге, ну около заправки. Я еще подумала, что у него там, наверное, была тайная встреча с кем-нибудь. Он так торопливо сел в свой автомобиль.

— Тайная встреча в мотеле? — хмыкнул Фрэнк. — В наше время там встречались для вполне определенных целей.

— Что вы, — Эмми в недоумении уставилась на знатока нравов ушедших времен, — сенатор обожает свою жену и ничего такого мне даже на ум не пришло. Мало ли какие тайные встречи могут быть у него, тем более в начале избирательной кампании. Не думаю, чтобы он рисковал своей карьерой ради любовного свидания в мотеле, — уверенная в том, что дала достойный отпор Фрэнку, девушка с победным видом посмотрела на Джуди, не заметив, что лицо той стало покрываться красными пятнами. — Как жаль, что вы не слышали его выступление в Сити-холле.

Впервые за всю встречу Фрэнк внимательно посмотрел на Эмми. Да она сама наивная и трогательная. Ему совсем не хотелось ее разубеждать. Сенатора он не знал, политиков переносил с трудом и совершенно не жалел о том, что пропустил выступление этого “демагога”, как он окрестил про себя Эванса, в Сити-холле.

“Неужели и Джуди такая же дурочка? Совсем рехнулась, что ли?” — подумал он.

— Что это мы все о сенаторе, да о сенаторе. Лучше давайте посмотрим, что у них тут есть на десерт, — нашлась, наконец, Джуди.

Ресторан меж тем наполнялся. По выходным дням здесь всегда было многолюдно. По залу бегали дети, сновали официанты, за соседними столиками громко разговаривали и смеялись. Джуди с трудом могла расслышать, что ей говорил Фрэнк, она просто улыбалась и кивала ему. Но на сердце у нее было тяжело. Что-то тут явно было не то. С трудом поддерживая общий разговор, она дотянула до конца обеда и, поспешно распрощавшись с друзьями, отправилась в барак.

Патрик был рад до смерти тому, что Хиллари Клинтон здоровая и невредимая убралась из их штата. Обеспечение безопасности приезжих знаменитостей было все-таки изнурительной работой, но вместо того, чтобы ехать отсыпаться домой, он решил заскочить к Роберту, хотя они и не договаривались о встрече. Почему-то он был уверен в том, что им необходимо поговорить.

В знакомой квартирке было тихо, когда он туда вошел, открыв дверь своим ключом. Даже телевизор, который обычно включался сразу, как только хозяин появлялся на пороге, на этот раз молчал. На кухне журчала вода из незакрученного до конца крана. Роберт нашелся в спальне. Он спал, по-детски уткнувшись носом в подушку, даже не раздевшись. На тумбочке рядом с мобильником стояла начатая бутылка “Хенесси”.

“С чего это малыш надрался? — удивился Патрик. — На радостях, вроде, так не напиваются”.

Он уже хотел бесшумно удалиться, когда Роберт проснулся. Пьяно обрадовавшись любовнику, и пытаясь сесть на кровати, он тут же сблевал на ковер прямо себе под ноги. О том, чтобы уйти, уже не было речи, и Патрик принял приводить бедолагу в чувство.

Где-то через час, отмытый от блевотины и завернутый в полотенце, Роберт, всхлипывая, жаловался Патрику:

— Нет, ты представляешь, эта сука вместо благодарности мне говорит, что не намерена оплачивать стрижки за двести долларов. Это я, значит, виноват в том, что парикмахерша выставила такой счет. Потому что теперь Харрисон с Макмэрфи будут проверять каждый истраченный Эвансом доллар. Теперь всем, блядь, правду подавай. А сколько ушло на эти ебаные шарики, ее не интересует. Она думает, я ей мальчик на побегушках. То газон за телевизионщиками почистить, то шариков с потолка напустить.

— Подожди, малыш, что ты лепечешь? Какая парикмахерша? Ты про кого говоришь?

— Да про Лизу Эванс, про кого же еще. Парикмахерша твоя, Кэтрин или как ее там, постригла сенатора за двести долларов, а ему это сейчас не позволительно. Он же теперь у нас отстаивает интересы исключительно бедных людей, а они за такие деньги не стригутся, — Роберт вдруг пьяно хмыкнул и пальцем стер повисшую на носу каплю. — Слушай, надоели они мне все... Как хорошо, что ты приехал, — и он прижался к Патрику, выпроставшись из влажного полотенца.

Джуди медленно шла по длинному коридору барака, заглядывая в каждую комнату, где после обеда отдыхали старички. Здесь ничего не изменилось за время ее отсутствия: все тот же запах, казавшийся ей невыносимым десять лет назад, когда она впервые открыла дверь в этот барак, и такой привычный теперь. Ковровая дорожка, недавно обновленная, и уже истертая шаркающими шагами стариков. Она знала простые истории их жизней и сложные диагнозы, хранящиеся в их толстых историях болезней, многих похоронила и всех оплакала.

Мысль о том, что она здесь нужна, казалась ей настолько убедительной, что не нуждалась ни в каких подтверждениях.

“Ну что ж, значит мне ничего другого не дано, а может, мне ничего другого и не надо”, — подумала Джуди.

Ход ее печальной мысли нарушило появление Нелли Гаджет, тянущей на поводке плюшевую собаку.

— Нелли, — окликнула ее Джуди, — где твоя челюсть? Ты что, ее потеряла?

— Как потеряла? — высунулась из кухни Пэт, — она носила ее в руке до обеда.

— А вот сейчас уже не носит. А страховка новую челюсть в этом году ей не оплатит. Надо будет попробовать найти.

— Ну, че ты переживаешь, она все равно использовала ее не по назначению, — Пэт тряхнула кудряшками, лучше расскажи как тебе “Олив гарден”. Че вы заказывали?

Так уж получалось, что верную свою подругу Джуди никогда не могла пригласить даже в ресторан. Оставить барак она могла только на нее. Правда, Тина казалась тоже вполне надежной, но ей нужно было еще набираться опыта. Интересно, что Пэт не спросила ее про Сити-холл и вообще, старательно избегала даже упоминать имя Эванса в то время, как Джуди все время хотелось говорить с ней о сенаторе. Вот и сейчас, перечислив заказанные блюда, и поделившись впечатлением об их вкусовых качествах, она незаметно для себя перешла к рассказу о выступлениях в Сити-холле, не обратив внимания на то, что Пэт прячет от нее глаза и уж как-то особо деловито сует по кухне. Но услышав про то, что сенатор настроен на выяснение "правды и ничего кроме правды" в своей новой избирательной кампании, Пэт не выдержала:

— Слушай, мне надо с тобой поговорить, — наконец взглянув на Джуди, сказала она.

И странное дело, еще ничего не услышав от подруги, Джуди уже как будто знала, о чем та хочет с ней говорить.

Голубенькая таблетка в бумажном стаканчике сбивала Рэя с ног часа на два. После обеда он успевал дотрестись до своей кровати и валился на нее, погружаясь в наполненный странными видениями сон. В этот раз ему снился пустынный хайвэй, по которому он мчался в тяжелой фуре на свои похороны.

— Ты опаздываешь, — сказал ему голос мамы.

— Без меня не начинайте, — попросил Рэй.

— Стоп думать об это. Все там быть, — донесся чей-то знакомый голос со смешным акцентом.

— Разве я думаю? — удивился Рэй и проснулся.

На соседней кровати громко разговаривал Тони.

Рэй прислушался и ничего не понял. Какой-то Роджер.

— Может, ему снится сын или еще кто, — подумал Рэй. Привычным движением вставив ноги в тапочки, он отправился покурить во двор.

— И за каким чертом его принесло к нам?! Ты, похоже, голубушка, совсем рехнулась: только о нем и твердишь. Сенатор то, да сенатор се, а он обыкновенный политикан. Как все они. И нет в нем ничего особенного. Болтун. Я его сразу раскусила.

Несчастливая директриса сидела за столом в своем кабинете и слушала гневный монолог Пэт со слезами на глазах. Какой ужас. Он, что, не мог дожидаться смерти жены? Все знают, что Лизе осталось совсем немного. И потом, что им известно наверняка? Да ничего.

— Слушай, Пэт. Они же большие люди. Как им можно верить? У нее байполар, про него я вообще молчу. Она могла все придумать и наплесть Рэю. — Джуди сама не верила своим словам. Она вспомнила злосчастный визит сенатора в их барак. Конечно, Рэй прав. Он заметил Хайди еще тогда. Но где и как они могли повстречаться снова? Мотель. Какая мерзость.

— Что же делать, Пэт? Что же мне делать?

— Да ничего не делать. Глаза вытри. Все это не наше дело. Хайди, слава Богу, у нас больше не живет, на Эванса мне наплевать, а вот Лизу жалко, ну да хватит об этом. Давай мне меню на следующую неделю. Пора делом заниматься, — и Пэт отправилась на кухню, энергично перебирая коротковатыми ногами.

Но именно о меню на следующую неделю Джуди никак не могла заставить себя подумать.

Боль распирала ее сердце. Что это? Ревность? Разочарование? Да какое это имеет значение. Больше всего ей хотелось поделиться своей болью с кем-нибудь. Но с кем? Пэт никогда не разделяла ее восхищения сенатором. И оказалась права. Джуди вздохнула. Оставалась Лиза с её обручальным кольцом за одиннадцать долларов.

“В конце концов, Джон изменил ей, а не мне, — думала Джуди, пытаюсь разобратся в своих чувствах. — Должна ли жена знать об измене мужа? Тем более, если жить ей осталось совсем немного. Но о внебрачной связи сенатора могут узнать люди Макмэрфи, и тогда на его политической карьере придется поставить крест. Может, все-таки, подготовить её к возможному удару?”

Поколебавшись несколько минут, Джуди набрала номер Лизиного мобильника, и тихим прерывающимся голосом сообщила той, что до нее дошли отвратительные слухи о неверности Джона. Нет. Она не может указать источник. Вполне возможно, что это запущенная кампания клеветы против сенатора. А стало это ей известно потому, что замешана бывшая пациентка барака, но ее уже давно, слава Богу, тут нет. Ничему этому верить нельзя, но подготовиться к отпору нужно, а главное, конечно, постараться не принимать отвратительную новость близко к сердцу. Джуди уже пыталась закончить неприятный разговор, когда в дверь ее кабинета просунулась голова Рэя.

— Там это... Тони лежит на полу, — сказал он.

В четверть девятого вечера на мобильнике Роберта высветился номер Лизы.

— О, господи! Да что еще ей нужно, — простонал тот, ощупью пытается включить лампу со своей стороны кровати.

— Да не отвечай ты ей, — посоветовал Патрик, не открывая глаз.

— А вдруг что-нибудь важное. Надо ответить.

Неяркий свет осветил худую, согнутую в каком-то подбострастном наклоне голую спину сидящего Роберта и руку, держащую телефон у уха.

— Да, Лиза, — сказал он и больше не проронил ни слова.

Настороженный его длительным молчанием, Патрик окончательно проснулся и стал с любопытством прислушиваться к необычному телефонному разговору. Похоже, случилось что-то серьезное.

— Я подумаю, Лиза. Но я ничего вам не обещаю.

Наконец Роберт закончил разговор и в бессилии повалился на подушку:

— Тут такие дела, Патрик. У меня голова пошла кругом. Не успел сенатор выступить с Клинтоншей в Сити-холле, как эти подонки Макмэрфи с Харрисоном начали на него атаку. Они распустили слух о его связи с какой-то девкой. Вроде как она уже и беременна. Одного этого достаточно, чтобы закончить политическую карьеру Джона раз и навсегда. Как они быстро отыграли очко. Вот это скорость.

— Ну и что Эванс?

Роберт был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на явную заинтересованность в голосе Патрика. Это при том, что в последнее время он мрачнел и замыкался в себе даже при одном упоминании имени сенатора и начинал орать на Роберта, если тот пытался ему что-то рассказать об Эвансе.

— Конечно, все отрицает. Он что? Сумасшедший? Это же поклеп. Клевета. Лиза хочет, чтобы я в случае, если журналюги что-нибудь пронюхают, признал эту девку своей герлфрэнд. Ничего придумала. Да? Вы же, говорит, встречались с кем-то в нашем доме, пока я была в больнице. Я молчу. Может, она бредит? Все-таки рак в четвертой стадии — это тебе не шуточки. И скажи, чего она так волнуется? Ей бы сейчас о другом надо думать, а не о предвыборной кампании. Не иначе как хочет умереть женой президента.

— Ну а ты-то что будешь делать?

— Не знаю, Патрик. Надо подумать. Может, стоит согласиться. Она говорит, мне обеспечено место в Белом доме, если Джон пройдет в президенты. Об этом, конечно, рано говорить, но ты ведь знаешь, я всегда верил в него. Он может. С его харизмой...

Мечтательное выражение промелькнуло на мальчишеском лице Роберта. Ему уже не лежалось в постели. Не одеваясь, он прошел на кухню к холодильнику. Уходящий день оказался наполненным слишком многими событиями. Кто знает, может, ему, наконец, воздастся за все труды и унижения. Роберт с аппетитом навалился на поджаренный наспех омлет. Сидя голышом в своей обшарпанной кухне, он вдруг увидел себя пресс-секретарем президента, блестяще и остроумно отбивающим атаки журналистов под прицелом телекамер.

От приятных мыслей его отвлек Патрик, закрывший дверной проем кухни своим могучим телом, которому всегда было тесно в этой маленькой квартирке. Его строгое и осуждающее лицо вызвало прилив неприязни у Роберта. Как жаль, что он стал свидетелем разговора с Лизой.

— Мне нужно показать тебе кое-что. Думаю, это немного приведет тебя в чувство, — в руках у Патрика была коробка с кассетой.

— О, господи! Он даже не снял носки. Как противно, — гримаса боли исказила лицо Роберта, — и потом, кто это под ним? Что-то я не могу различить.

Патрик даже не взглянул на экран. Он не сводил глаз с лица Роберта.

— Видишь, трахается он не так уж и харизматично, а девушку зовут Хайди. Помнишь, мы встретили ее в бараке?

Роберт уставился на него в недоумении.

— Не помню. Я там видел только вонючих стариков да жирную директрису. Там еще была повариха, на которой меня хотела женить Лиза. Ну, и что ты знаешь про эту потаскушку?

— Она больная девочка, Бобби. Шизофрения или что-то наподобие. Я не знаю диагноза. Из бедной, очень бедной семьи. Отец инвалид, мать пьет. Слава богу, ей уже есть двадцать один год, а то бы твой кумир сел в тюрьму за совращение малолетних.

— Слушай, он в бараке-то и был всего один раз. Я что-то не пойму, где и как они могли встретиться.

— Представь себе, она сама его нашла. Подкараулила после выпития. Я слышал почти все, что она ему говорила. По мне, так чистый бред.

— А он что?

— А он ей волосы так со лба убрал, — Патрик сделал легкое движение рукой, — и говорит: "Это серьезно, Хайди. Это очень серьезно". А что "серьезно", я так и не понял.

— Что серьезно, что серьезно, — передразнил его Роберт. — Вляпался он серьезно. Вот что. Господи, и что ты собираешься делать с этой пленкой?

— Ничего. Я просто хотел тебе доказать, что он дерьмо. Теперь ты видишь сам. Можешь взять кассету себе. Мне наплевать на Эванса. Он что-то там вещал сегодня про правду под всеобщие восторги. Ты же знаешь, я никогда не прислушиваюсь к тому, что они несут, но тут проняло даже меня.

Какая-то спасительная мысль мелькнула в голове Роберта.

— Слушай, а может, это и было всего только раз. Ну, не последний же он идиот. Может, пронесет?

— Не обольщайся особенно. Не могу сказать точно, но знаю, что они встречались довольно часто. Сенатор снимал меня с сопровождения на время их свиданий. Я вот думаю, может, он ее любит, ну не зря же он говорил про то, что это "серьезно".

— Любит? Перед выборами? А как же я? Я потратил на него столько лет своей жизни... столько сил. Я же надеялся на него. Теперь он завалится. Такие вещи никому не сходят с рук, ты же знаешь. Господи, все потерять из-за этой девки. Да она же больная... на всю голову. Слушай, а шизофрения не передается половым путем? Идиот, какой же он идиот... Что же мне делать?

— Это пусть Лиза думает, что ей теперь делать. Она женщина стойкая, судя по всему. Не вздумай идти у нее на поводу, хотя, как знаешь. Дело-то, в общем, твое.

Но Роберт не слышит. Его глаза наполнились слезами, и он разрыдался как ребенок.

— Зачем мне эта правда? Я не хочу ничего знать. На кой ляд ты показал мне эту еблуну? Ты все это подстроил из ревности. Откуда у тебя кассета? Шпионил, да? Да, я всегда любил Джона, а не тебя. Он хороший, добрый... обаятельный... а ты злой! Злой! Думаешь, я не

знаю, как тебе хочется всадить в него пулю, — и он еще бормотал что-то вслед удаляющейся спине Патрика, мешая слова с горькими слезами. Поток прекратился, как только дверь хлопнула за уходящим любовником. Теперь и вправду надо подумать, что делать дальше. Спасительная мысль явилась сама собой, как когда-то несколько лет назад: поджечь и бежать. Начать с начала. И никогда ни в чем не сознаваться. Нет. Теперь придется кое в чем признаться. Одно признание, но самое главное в его жизни. И тогда они уже не смогут навесить на него эту девку. Пусть разбираются сами, он уже не игрок в их команде. Осталось решить, что делать с кассетой. А почему не вернуть ее туда, где Эванс увидел эту девку в первый раз? Ну да, в барак.

Бригада медиков, прибывшая по вызову, пыталась реанимировать Тони около сорока минут. Тело старика не реагировало на все попытки врачей вернуть ему жизнь. Через сорок минут его положили в черный пластиковый мешок с молнией посередине и увезли на каталке в направлении, не интересующем обитателей заведения. Рэю не хотелось возвращаться в комнату, где только что умер его сосед. Он в нерешительности стоял в коридоре, когда к нему подошла Мэри Баверсток. Одарив его взглядом невинных, слегка подслеповатых глаз, она сказала:

— У Тони были мои письма. Голубчик, ты не мог бы мне их принести. Я не хочу, чтобы их выбросили со всеми его вещами.

Писем на тумбочке не оказалось. Рэю пришлось открыть все ящики комода и перерыть нехитрые пожитки старика. На самом дне под чистыми рубашками в бумажном коричневом пакете лежало что-то тяжелое.

— Мать твою, — сказал Рэй, вытащив оттуда “Даймондбэк”.

Предмет показался ему знакомым.

— Устойчиво встал? Слегка распредели вес тела... Оружие должно плотно лежать в руке, — услышал он знакомый голос. Рэй сжал рукоятку кольта.

— Что дальше?

— Согни руку в локте, а то не увидишь мушку, — продолжал голос. — Другой рукой поддерживай. Кисть выше. Мизинец подбери. Зажмурь левый глаз и установи мушку посреди прорези. Прицеливайся. Ви-дишь мушку? Направь на цель.

Рэй торопливо оглядел крашенные белой краской стены. Мишени нигде не было.

“Куда ж мне целится-то”, — недоуменно подумал он.

— Я вот удивляюсь, как ты ходишь в дальнобой без оружия, — продолжал голос.

— Хасан, так это ты? — догадался, наконец, Рэй и снова оглядел комнату. — Ну, теперь у меня есть оружие.

Но Хасан промолчал на этот раз. Рэй засунул “Даймондбэк” в карман джинсов.

— Пусть Тина поищет как следует. Я ничего не нашел, — сказал он подкарауливающей его старушке, и пошел во двор выкурить сигарету.

— Пола, детка, я знаю, что уже поздно, но можешь мне поверить, мое заявление стоит твоего времени.

Пола Зак не случайно была восходящей звездой местного канала новостей. У нее были отличные шансы выйти на национальное телевидение. Чутье репортера подсказывало ей, что пренебрегать звонком секретаря и доверенного лица сенатора Эванса нельзя. Заявление Роберта Пэйджа может пойти в последний выпуск новостей, до которого осталось чуть меньше часа, если оно, конечно, будет интересным. А судя по звонку Роберта, оно-таки будет интересным. В студии приготовили два высоких стула, стоящих друг против друга. Приехавшему Роберту наспех подпудрили лицо, скрыв следы недавних слез. Пола уселась на один из стульев, положив блокнотик на голые коленки. В другое время ее агрессивно-сексуальная манера вызвала бы у Роберта раздражение, но сейчас это было именно то, что нужно. Вопросы обрушились на него сразу же, как только он забрался на свой стул.

— Не успел утихнуть переполох по поводу визита в наш штат сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, как уже новая сенсация готова обрушиться на головы наших жителей. Сегодня в гостях у меня Роберт Пэйдж, человек которого мы привыкли всегда видеть рядом с Джоном Эвансом. На этот раз он в студии один. Как поживаете, мистер Пэйдж?

— Спасибо, Пола. У меня все хорошо.

— А как дела у сенатора Эванса? Вам что-нибудь известно о целях визита миссис Клинтон? Говорят, они вели какие-то переговоры.

— Да кто их знает, Пола. Переговоры между сенаторами были секретными. Я могу только догадываться, о чем они велись. Вполне возможно, они решали, кто из них двоих выставит свою кандидатуру на пост президента в будущем году. Но повторяю, это только мое предположение.

Из-под накладных ресниц Пола цепким взглядом окинула Роберта.

— Вы потеряли работу у Эванса?

— С чего вы взяли? Я нужен ему как никогда.

— Вы хотите сказать, что сейчас что-то случилось, и он особенно в вас нуждается?

— Ну да. Именно это я и хочу сказать. Сегодня кто-то из лагеря Макмэрфи пустил слух о внебрачной связи сенатора Эванса с какой-то психически больной девушкой. Это обычная клевета. Последний шанс проигрывающего.

— Так вы пришли сюда заявить нам о верности Джона Эванса своей жене Лизе, которой я, пользуясь случаем, хочу выразить свои глубокие симпатии и поддержку в борьбе с тяжелой болезнью.

— Нет, Пола. Я пришел сюда сделать совсем другое заявление.

— Я слушаю, мистер Пэйдж.

— Я пришел сказать, что я — гей и горжусь этим. Да. Я горжусь тем, что я американский гей.

С голых коленок Пола свалился блокнотик.

— Слушай, малыш. Ты ничего не перепутал? Я тебе не Опра Уинфри¹, и у нас в штате такие штучки могут не пройти. Ты уверен, что хочешь выступить с таким заявлением? Лучше бы ты рассказал правду, что у вас там происходит без этих твоих идиотских признаний.

— Правду, — истерически расхохотался Роберт, — а ты уверена, что тебе хочется знать эту правду? Нет, голубушка, я готов подтвердить свои слова снова и снова. Я — гей! И это моя правда!

Заявление Роберта Пэйджа вошло в вечерний выпуск новостей. Известие о предполагаемой внебрачной связи сенатора Эванса стало сенсацией не только местного значения.

Губернатор Харрисон позвонил Макмэрфи, когда выпуск новостей еще не закончился.

— Что это еще за слухи ты распускаешь про Эванса? Почему я ничего не знаю?

— Да я сам ничего не знаю

— Ну, тогда это рука всевышнего. А как тебе этот истерический придунок?

— Губернатор, я всегда говорил, что офис этого адвокатишки ни что иное как исчадие ада.

В бараке было тихо. Длинный субботний день заканчивался. Как и положено старичкам, они медленно расползались по комнатам. Тине пришлось отправиться во двор за Ромео, чтобы затолкнуть его инвалидное кресло в узкую дверь. Как всегда, там околачивался Рэй и бегал из угла в угол Кэвин. Кто-то окликнул ее, когда она уже подкатила кресло с Ромео к двери.

Незнакомый молодой человек, сидя за рулем автомобиля, подзывал ее, держа какой-то пакет в руке.

— Передай, пожалуйста, кассету директрисе. Скажи, ей будет интересно это посмотреть.

Джуди не стала включать свет в столовой. Застыв от ужаса, она смотрела на своего обожаемого Джона, проделывающего что-то невыносимо отвратительное с извивающимся под ним тельцем.

— Это кто ж такая? Ну да. Хайди.

Мерзость. Все кончено. Раз и навсегда. Разве может она ему простить то, что он проделывает с этой несчастной девочкой. Но ей невыносимо хочется сказать ему все, что она думает. Теперь он непременно с ней встретится. Пленка-то у нее в руках. Кто же подкинул ей эту кассету? Какое это имеет сейчас значение? Никакого. Джуди настолько потрясена, что не видит Рэя, бесшумно отступившего из столовой в свою комнату.

¹ Популярная ведущая телешоу на канале ABC. Прославилась своими передачами о геях и лесбиянках.

Сенатор все понял с полуслова.

— Спасибо, Джуди. Я заеду к вам завтра с утра и заберу кассету. Извините, я не могу с вами дольше говорить. Лиза чувствует себя очень неважно.

Расслабив галстук и сделав глубокий вдох, Эванс открывает уже знакомую дверь. Он снова спешит и обгоняет слегка замешкавшегося охранника. На этот раз Патрик не торопится догонять сенатора. Место кажется ему вполне безопасным. По длинному коридору, неторопливо перебирая лапами, идет серая кошка.

“Ну и вонища, — думает Эванс. — Надо бы поскорее отсюда убраться. Кажется, стены и впрямь покрашены, а вот ковровая дорожка потерянная. Неужели, Аззи обманул? Все-таки жалко, что Бобби нет со мной. Куда он подевался? Прямо испарился. Нужно будет набрать его номер еще раз. А вот и знакомая старуха с челюстью в руках”.

— Как поживаете, мисс?

Нелли беззубо улыбается и протягивает челюсть сенатору. Тот улыбается в ответ и похлопывает старушку по плечу. Он видит высунувшуюся из двери кухни Пэт, идущую ему навстречу Джуди. Все-таки она большая. Большая, как тюрьма. Откуда-то появляется парень. Я его уже видел здесь. Ну да, во дворе, рядом с Хайди. Что-то есть в его лице враждебное.

— Как поживаете, мистер... Простите, не знаю вашего имени.

— Меня зовут Рэймонд Адамс, — кричит Рэй.

Он поднимает руку, в которой пистолет. Рука трясется. Будь он немного подальше от сенатора, ни за чтобы не попал. Другой рукой он поддерживает трясущуюся руку с пистолетом. Сенатор не слышит ни двух выстрелов, уложивших Рэя рядом с ним, ни истошного вопля Джуди. Он больше ничего не слышит.

В похоронном доме “Фирелли и сыновья” директрисе выдали металлическую капсулу с прахом Рэймонда Адамса.

— Вы уже оформили место его захоронения? На это ведь нужно специальное разрешение полиции. Скажу вам откровенно, не каждое кладбище даст место для могилы преступника даже с таким разрешением, — один из Фирелли услужливо протянул Джуди бланк для заполнения.

Она подняла на него непонимающие заплаканные глаза.

— Ну что ж, тогда мне придется закопать урну в цветочной клумбе под окнами его комнаты, — вздохнула она... — то есть, его бывшей комнаты. И прижимая к своему большому телу то, что осталось от Рэя, она медленно удалилась, оставив без внимания бланк в протянутой руке Фирелли.

Но и с клумбой ничего не получилось. После серии репортажей Пола Зак, принесшей ей долгожданную работу на CNN, дурная слава о заведении расползлась по всему штату. Над головой Аззи нависла перспектива разорения. Хорошенько все обдумав, он решил закрыть барак. Больных старичков рассовали по другим домам для престарелых. Джуди

вернулась на работу в госпиталь Святого Иосифа, а Пэт нашла себе место повара в ресторане "Олив гарден".

Несколько месяцев капсула с прахом Рэя провалялась в багажнике автомобиля бывшей директрисы, напоминая о себе легким стуком об его стенки при каждом резком повороте руля.

Где-то уже в конце зимы Джуди наткнулась на шерифа Мейзон-сити. Они разговорились. Когда речь зашла о печальных событиях, Джуди открыла багажник и показала шерифу капсулу. Тот обещал поискать кого-либо из близких Рэю людей. Обещание свое он исполнил. Так в Мейзон-сити появился Скотти Дуглас. Выслушав грустный рассказ Джуди, он взял урну с прахом когда-то усыновленного им мальчика.

— Рэй был отличным парнем. Мы все его любили, — сказал Скотти, вытирая слезы. — Я похороню его рядом с моими родителями.

И он тоже исполнил свое обещание...

История короткой жизни Рэймонда Адамса, застрелившего сенатора Эванса, на этом заканчивается.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Билл Клинтон — 42-ой президент Америки (1993–2001).

Хиллари Родэм Клинтон — супруга Б. Клинтона, сенатор от штата Нью-Йорк (2001–2009).

Джордж Уокер Буш — 43-й президент США (2000–2008).

Альберт (Ал) Гор — вице-президент в администрации Б.Клинтона, кандидат на пост президента США, проигравший Дж. Бушу-младшему.

Том Дашэл — сенатор от штата Южная Дакота, видный деятель Демократической партии США.

Ричард Кларк — глава группы по борьбе с терроризмом при президентах Клинтоне и Буше-мл.

Джордж Теннет — директор ЦРУ (1997–2004).

Ричард (Дик) Чейни — министр обороны в кабинете Дж.Буша-старшего, директор нефтесервисной компании "Халлибертон", вице-президент в администрации Дж. Буша-младшего.

Скутер Либби — руководитель администрации вице-президента Дика Чейни.

Дэвид Эддингтон — сотрудник ЦРУ и Пентагона. Юрисконсульт Дика Чейни.

Джон Эшкрофт — генеральный прокурор в администрации Дж. Буша-младшего(2001–2005).

Кондолиза Райс (Конди) — советник президента Буша-младшего по национальной безопасности (2001–2005).

Колин Пауэлл — генерал Пентагона, государственный секретарь в администрации Дж. Буша-младшего.

Дональд (Дон) Рамсфельд (Рамми) — министр обороны в администрациях президентов Форда Дж. Буша-младшего.

Пол Вулфовиц — заместитель министра обороны Дональда Рамсфельда.

Владимир РАФЕЕНКО

/ Донецк /



НЕВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

(стихи из романа)

Велосипед

на раме велосипеда, потому что сидения нет,
грохоча, леденея, звеня, вылетая на трассу,
я летел, как планета, которой четырнадцать лет,
я летел и летел, всю округу собой ужасая,
и дорога стелилась прямая
от края до края
я влетал в повороты, плевал на возможность машин,
мне два раза трамвай перерезал судьбу на ладони,
я так честно летел, я так просто и честно летел,
будто скоростью этой менял в мирозданье законы,
по которым сирень, по которым вода и песок,
и её голосок, и стареющий тополь у школы,
я взлетал, как хотел, как никто уже после не мог
и я вижу тебя, мой чёрный потрёпанный монстр,
этот руль, эти рама и цепь, холодные тонкие спицы,
мы над детством летим, и не можем уже опуститься
никогда...

Ветер

когда-то я думал, что это что-нибудь значит
дожди, магазины, клубника, промытая в море,
бессонная дружба и сын, засыпающий долго,
и мама, идущая вечером в поисках сына

когда-то я думал, я знаю, что всё это значит,
и я понимаю прекрасно, и надо немного:
лишь денег, здоровья и женщину вкуса полыни,
и что-то такое, чтобы не лгать и не плакать

когда-то недавно я думал, что всё это просто,
крылатый мой дом приносил утешенье и чтение,
и тополь качался, и вишни цвели и скрипели,
и ветками шли по высокому тёплому небу

и всё, что теперь я не знаю, как именно думал,
что больше не думаю, то, что болит неутешно,
листает простой, как собака, изменчивый ветер,
и майский, и тёплый, бессмысленный ветер, конечно

Посёлок

на посёлке осенью грязно, на посёлке осенью сыро,
там на воск ноября льётся горьковатый угольный ветер,
и встречаются у колодца
не пошедшие в школу дети
посмотри, как они печальны, посмотри, как они унылы,
посмотри, как воруют горстями у отцов «беломор» и «приму»,
как бегут они за холмами,
где уже ожидают зиму,
где пруды, где камыш и поле, бутерброд, холода и спички,
где озябшая радость снега, что срывается над тропюю,
и в присутствии человека
осень делается зимою
и в присутствии этом время обнаруживается внезапно,
это ночь или вечер только?
и пространство растёт дымами,
возвращая детей посёлка,
и одаривая домами...

Октябрь

среди древних дедов и бабулек
в том приходе где снег высок
пела в хоре церковном юля —
птица регент и голосок

храм был ветхий холодный печка
согревала едва-едва
и трещала и стыла речка
когда в храм пришли Покрова

вместе с ними зашёл на праздник
уходящих под осень дней
некто зябко-большой проказник
а по голосу иерей

юля ахнула и застыла
и прикрыла лицо платком
когда он подхватил «помилуй»
и повёл за собой потом

в октябре по ночам не спится —
тем молиться тем свечи жечь —
православная плачет птица
и не может в постельку лечь

Встречи

когда я встречаю кого-то из прожитых лет,
я смущаюсь и злюсь,
так смущался и злился, когда нам было по восемь,
почему-то неловко выходят слова и вопросы,
я смотрю на кого-то,
стесняюсь, курю и смеюсь
хорошо только с теми, кого ты недавно узнал,
или знаешь не пристально, в общих чертах,
не нарочно,
есть общение издали,
где думаешь просто и точно,
без потребности нравиться и перебарывать страх

Хороший друг
хороший друг — понятие греха,
он близок так, как, в общем-то, не нужно,
и эта близость тяготит двоих...
есть преступления, которые не помнишь,
но можешь исповедоваться в них

Юла

торжественно вращается планета,
размешивая в кружке молоко,
и мама думает о чём-то о таком,
чего, быть может, и на свете нету,

а я гляжу, как тени мельтешат,
бегут из тёмных комнат в палисадник,
где наш орех — весёлый горький всадник —
в зелёных латах объезжает сад,

и вертится шуршащая юла
всего, что совершается в округе,
вращается планета, тени, звуки,
и время засыпает у стола...

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Область покоя

Это, о сограждане, есть битва
Всех растений с ветром и камнями,
Птиц — с водою, августа — с июлем,
И любви — с уставшей головою.
Это Будда, это просто бритва,
Это вечность происходит с нами,
Это мы знамена развернули,
Это нас несут над головами,
Это шаг к пределу и калитке,
За которой выльются из блюда
И душа, взыскующая тела,
И слова, успевшие проснуться.
У кого спросить о перемирии
В этом мире, схваченном сраженьем,
В этой битве легкой подалирии
Со своим зеркальным отраженьем?
Нет страшней врагов, чем эти двое,
Никогда не знающие встречи,
Потому и небо над землею,
Потому и музыка без речи,
Потому, сограждане, простимся,
На войне возможны превращения:
Может статься, кто-то станет рысью,
Ну а кто-то — комнатным растением.
Слава вам, меняющие тело,
Наших встреч оружие благое,
Мира вам, и формы, и предела
В безупречной области покоя.

Дирижабль

Не каждый день
Прощаешься навеки,
Нет в этом, понимаете, традиций,
Неразработанная техника ухода
Бьет человека,
И свобода
Стекает с небосвода на ресницы.
Растет душа сама,
Толстеет и скрипит,
Как дирижабль.
Внизу — вся карта мира,

И газ, что подают в дома,
Так хочется впустить в свою квартиру
И задышать,
Поднять над темнотой
Лицо, как зная,
Как последний довод,
Чтоб толстый и скрипящий шар,
Легко покачиваясь,
Вылетел на холод.
Здесь легкость сна,
Различий больше нет:
Мужчина, женщина —
Пустые злые счеты.
Люблю тебя,
Мне безразлично, кто ты.

Виноград

1

Все кончилось паскудно.
Ты пойми:
Я умер.
Это было трудно.
Кричал, пуская ягоды и пену,
Под ножницы протягивая вены
Садовнику.
Хрипел,
Просил всех быть людьми,
Искал в траве какую-то Елену,
Хотел не света —
Тьмы,
Сплошной и плотной,
Верил в холод.
Три месяца тому
Я был так молод,
Что просто неприятно вспоминать.

2

Скажи,
Любимая,
Как осуществляется полив
Кустарников,
Вергилиев и странников?
Садово-огородное пространство
Уже организовано и ждет.

И вот
Во мне найдешь ты много постоянства,
Крыжовника и ягод тиса,
Ты станешь виноградною улиткой,
Антенки две отпустишь, как рога,
И замечательно.
И мята, и мелисса,
И влажно-беловатая нога,
Дом на спине, а в нем — вино и лето,
Другие берега,
Набоков в шортиках,
Прекрасный ARBORETUM.
Смотри, проказница,
Не ешь меня помногу:
Я несогретый
Слишком близок к Богу,
Что чревато верой в облака.

3

Сгорит улитка
В медленном огне
Костра курчавых грядок винограда,
К свиньям собачим.
Куры расклюют
Уют ее изнеженного тела,
Малютку дети понесут
В коробочке в Швейцарию,
В могилу.
Мы плачем.

БАШМАКИ АДАМА

1

В раю темно,
Создатель молчалив.
Адам и Ева (Браун?)
Примеривают башмаки,
Их чудные одолевают грезы
О том, как здорово писать стихи
И прозу,
Нырять в залив,
Где есть акулы, нефть и все такое,
И трахаться до гробовой доски,
До ненависти,
До самоутраты.

И жаждать опьянения и покоя,
И собирать коренья,
И грести на Запад
В белой маске зноя,
Стрелять в жену и брата,
Дарить подарки в День рожденья,
Смотреть прибытие поездов...
Да, много можно,
Имея на ступне клеймо дороги,
И башмаки им дороги втройне,
Поскольку тяжелы,
Бесмысленны и
Безобразны,
А по весне
Их хочется обуть на эти ноги
И понести историю вперед.
Зародыш праздный —
Первый деревянный год —
В цвету стоит,
И соки пьет и пьет,
И набухает крепкой вязкой желчью,
Еврейской сладкой мелочью и речью,
Закованный в подошву двух светил.
Башмак начала,
Первенец пути.

2

Жизнь жмет
Немного на подъеме,
И давит, и жует, и ужимает в шее,
И так безбожно врет,
Что даже хорошеет,
И давит кровь осеннею лозой,
И в лист завернут
Каждый крупный плод,
Который не сгниет и не умрет,
Покуда не опробован тобой
И смертью целой,
Вяжущей и горькой.
Как месяц прорастающую дольку,
Злись, но держи
Бесмысленность во рту,
Катай ее туда-сюда по кругу.
Ледышку, девочку и восковую вьюгу
Храни под языком,
Высасывай безумие ее,

И маету,
И блядское кокетство,
В бессмысленности есть остаток детства,
Возьми его
И стань его волчком,
Крутящимся забавным барабашкой,
Хранителем традиций и огня,
Размазывая вечность на мольберте,
Цветные полосы мой покидают дом.
Алло, я слушаю, я слушаю, поверьте,
Вот заяц гребаный,
Вот няня,
Вот родня,
А в телефонной будке Чебурашка
Который год стоит и ждет меня.

3

Ей детство отдаешь,
Всю милую мишпуху,
Котов и зайцев, винни-пухов,
Буквально с Андерсеном
Входишь в лоно к ней,
Чтобы насытить воздухом и духом,
И памятью, и влажностью полей,
И врешь во имя нежности одной,
Чтоб поточнее истина звучала.
Любимых авторов,
Любимое вино,
И мало дня,
И ночи этой мало...
Оно смеется,
Смотрит за окно,
Оно вчера чего-то прочитало,
А нынче очень хочется в кино,
Там яркость улиц,
Мелодрама,
Холод,
И волосы, и губы, и глаза,
И все, чего зарифмовать нельзя,
И силуэт ее прекрасно невесом.
Адам, я, милый мой, не даун,
Просто, знаешь,
Она была — невероятный сон —
И Ева Браун,
И Софи Марсо.

ПРОЩАНИЕ С НАТУРОЙ

1

Ей было сорок семь,
Мне — двадцать два,
Мы с нею, познакомившись едва,
Легли в постель,
И это было так,
Как будто спишь со всеми сразу:
С Мерлин Монро,
С красотками на вазе
И с пирамидой в Гизе,
С учительницей первую своей,
Стареющей с немою укоризной,
С командой одноклассниц,
Со всем ушедшим поколением людей,
Недолюбивших, горьких, неизвестных,
И милых, и неинтересных,
Но страшных в достоверности прощанья.
Мои воспоминанья
Жизнь передразнит,
Жизнь — искус, вкус, двоящийся укус.
Прости меня, прекрасная подруга,
Нам было хорошо входить друг в друга,
И над постелью мучился Иисус.

2

А в этом теле не спеша
Зачем-то возится душа,
Обмылок вечности,
Огарочек свечной,
Для мастурбации годящийся военной.
Какая проза!
Она звалась Клавой,
И нежной,
И беременной,
И бравой,
Ведущей слезы, будто полк солдат,
На взятие определенной цели.
Я думаю, что вы бы охренели,
Когда б прожили с нею двадцать дней подряд.
Я выдержал пятнадцать,
Видит Бог,
Я сделал все, что мог.

Потом мы не встречались часто.
Зачем? Два раза в день — совсем не мало.
Она, историк по образованию,
Отлично помнила все даты и названия,
И в море одиночества плевала,
Полковник страсти,
Дважды героиня
За взятие меня, как героина,
В три кубика входящего в инцест.
Метафора, но что-то в этом есть.

3

Прощаюсь с уходящею натурой,
С друзьями,
Листьями,
Соседкой во дворе,
Со стареньким советским пианино,
И я уйду в ближайшем ноябре,
Когда над городом таблеткой аспирина
Повиснет солнце в поволоке сна.
Итак, она звалась Марина,
Она была, Она была Она,
Такая стерва,
Сука,
Истеричка,
Невыносима детскому уму.
Я плакал в этих грязных электричках
О том, что я у ней, увы, не первый
И не последний, судя по всему.
И оказался прав,
Что замечательно,
Однако,
Она вела меня, как девочка собаку,
Которая вчера сказала "гав"
И думает, что выдумала слово.
Я ей шептал: "Марина, я твой Вова,
Ну, Вова я,
Ведь я же этот Вова,
Который твой,
И Вова он,
И вот".
Она скептически готовила компот,
Мешала с водкой,
Добавляла льда
И вычитала лишние года.
Их было двадцать пять,

С ума сойти,
Пусть лечь, но как же встать?
На середине Млечного Пути
Стояла необъятная кровать.

4

Мой мир разрушен,
Это хорошо,
Мне хаос нравится —
Он чреват и чуден,
И голова работает, как бубен,
Придумывая твердые слова.
Раскрашивая старые картинки,
Легко найти причины для всего,
Уключины, ключицы, позвонки.
Стихи похожи чем-то на поминки
Или поминки требуют строки?
Как это неприлично долго —
Осень в матерьяле,
Как это плохо —
Так безбожно врать.
Моя душа звалась, конечно, Ольгой,
Как это на надгробье написали
Или хотели только написать.

ВЕНЕЦДЕРСКИЕ ХОЛМЫ

1

Легко теперь заметить миг,
Когда все лучшее становится паскудно
И перелом, как срез, и сочен, и душист.
Жить трудно,
Тяжел парик,
И руки намозолил
Чужой больничный лист,
Его везет к восходу машинист,
И плачет от восторга,
И курит натошак,
Курьер железный, правды ученик,
Он Жюль, Эмиль и Фредерик,
Он просто умерший старик,
Архангел, холостяк,
Владелец скорости,
Смотритель морга,

Как губка, пориста
Хрустит костистая дорога,
Массне звучит из сна,
Наст на плечах, короста и тревога,
Секунда, изменяющая много,
Не знает нашего рожна,
Мчись, Рубикон, навстречу римским папам,
Гори, сияй, в холодной топке, смерть,
Рисуй нам Рай сосновой мокрой лапой,
Ты можешь Магдалине песню спеть,
Но праздник совершится
Так и так,
Мы в хороводы станем,
Огонь бенгальский —
Тигр бенгальский наш,
В шары обут наш первенец китайский,
И в спаленке отточен карандаш,
Напишем письма,
Просьбы и прощенья,
Проект любимой в восемь чертежей,
Где шея будет тоньше и нежней,
Чем все твоё клубничное варенье,
Чем яйца господина Фаберже,
Чем яйца Моцарта,
Чем Гофманские змеи,
Пора нам выйти в город в неглиже,
От горя и желанья хорошея.

2

Сто тысяч братьев могут отдыхать
Иль воевать, допустим, на Балканах,
Зачем они, покуда живы мы,
Что держат Венендерские холмы
В кровавых многоградусных туманах?
Ты только никогда не умирай,
Звезда последней прелести и лести,
Греховный мой ореховый трамвай,
Как белочка, кружащийся на месте,
Воронка, лист, барочная страда,
Веласкес и футбольная команда,
Рисуйте, мастер, форварда и гранда,
Как мясо мертвое, промерзшее со льда.
Мы любим и красивых, и уродин,
Мы знаем цену землям и скоту,
На дереве висит парнишка Один
С волшебным словом, тающим во рту.

3

Я вечен, Сара,
Каждый день
С трех до семи и выше по полудню.
На улицах не очень многолюдно,
И нет нужды стеречь свои стада,
Пускай бегут — им нравится жара,
И марево июльского угара,
И пруд в сплошном сплетеньи рдеста,
Утопленников сизых,
Их рук и ног,
Поденок крылья,
Хруст воды в суставах,
Ленивая фиеста в первых главах
В последних обращается в песок,
И вязнет кровь,
Как колесо телеги,
Собрались, мальчики,
Играем с третьей цифры.



Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /

ПИСЬМА В НИКУДА¹

20

Дорогой брат!

Вот, живу после светопреставления, которого не было. Прочитал в «Новой газете» (21.12.2012, с. 12.) в статье религиоведа Ивара Максутава: «Апокалипсис сегодня — это в первую очередь образы конца человечества и отсутствие понятного выхода. Это исчезнувшее представление о будущем. Если еще в 1970-ые человечество представляло себе будущее, оно было предельно определено, у него были понятные образы и формы, то сегодня будущее, по сути, не существует. Будущее — это даже не пространство страха, не пространство ядерной зимы или глобального катаклизма. Это пространство, которого нет в культуре. Будущее существует только в рамках моей повестки на день, может быть на неделю, хотя и планы на неделю всегда под вопросом. А будущее, как нечто, построенное для моих детей и внуков, — отсутствует. Картины будущих миров, которые рисует массовая культура, либо утопичны, либо катастрофичны, но никогда не являются предметным миром конкретного человека».

В чем юмор? В России (СССР) почти целый век жили ради светлого будущего, и вдруг его сперли. А перед этим сперли прошлое. У нас теперь ничего нет. А у «меня» в русле этой славной нигилистической традиции нет даже «я».

Пою нулю!

Или все уже не было.

Наш жанр — водевиль, трагедия осталась в древности, которую скоммуниздили. В России все всё прут потому, что прежде метафизику украли. Бывший президент, например, стибрил время. Вообще, для нас весь двадцатый век — это сказка о потерянном времени. Если сложить то, что могли бы прожить люди, жизнь которых была оборвана репрессиями или войной или голодомором, это будут миллионы лет.

Они безвозвратно утрачены.

¹ Продолжение. Начало — «Крещатик» №№ 62, 63.

Так мы выпали из мирового времени. Что еще выкинет русский био-коллайдер, не знаешь, братишка?!

Частицы наших «я» несутся по кольцам труб-веков исторического ускорителя, чтобы расстаться с эго. Именно тогда, потеряв массу «себя», мы воспарим. Никакого земного притяжения, когда будет выблеван, наконец, огрызок эдемского яблока.

Пока.

24.12.2012

21

Дорогой брат!

Тут по телевизору, по каналу «Культура» показывают документальный сериал «Сквозь кроличью нору с Морганом Фрименом». Этот Фримен — американский темнокожий актер, в одном из фильмов сыгравший Бога.

В последней серии речь шла о тотальной компьютерной игре. По словам ученого (имя забыл) лет через пятьдесят люди смогут создать при помощи компьютера вторую реальность (как когда-то здесь была вторая культура). По отношению к обитателям той реальности люди будут богами, ибо они станут создавать правила игры. А Бог эти правила задает нам. Мы, компьютерные человечки Бога, создадим компьютерных человечков для «себя». Зеркало в зеркале. (Не является ли всякая бесконечность дурной?)

Вспоминается «Городок в табакерке» Одоевского.

Смотрины заданной «реальности».

Вперед смотрящий — «я».

Там — ничего нет, закричал Жак-Фаталист, впервые прикоснувшись к женским гениталиям, цитировал я Дидро в «Записках блудного сына».

А где есть, спрашивает в свою очередь «мое» я спустя тридцать с лишним лет у Жака.

Хоть что-то есть в этой компьютерной игре в бисер перед электронными свиньями?!

Шесть утра, хрустя тающим снегом, люди идут на работу. Шумит электричка. Рассветет часов через пять. Я, наверное, снова заснет.

Шебуршат машины.

Ш-ш-ш, засыпает разум.

Шины шуршат ш-ш-ш.

Шумел камыш у Паскаля.

Вот уже 9ч. 15м., брат. Позавтракал. Выпил зеленого чая «Японская липа»...

Понимаешь, Коля, насколько прав был Тертуллиан. Верую, ибо абсурдно. С подмостков сцены абсурд шагнул на улицы. Мир в компьютерном угаре. Расстояния сплющились до мгновения. Все болтают друг с другом непрерывно. Кругом одни позвоночники.

Чтобы не думать, чтобы не думать, чтобы не думать.

Думание, как алкоголизм, это надолго. Права была матушка Бальзамина. Не думай, Миша, не думай. Не пей, братец, козленочком станешь.

Ну, как там амброзия, Коля, на что похожа? Луком поджаренным пахнет там, как писал Володя Уфлянд?

Ась?!

28.12.2012

22

Дорогой брат!

Вот еще какой перл я выудил из Наила Ахметшина: «Трудно представить себе занятие более неэстетичное: грязные китайцы, обнаженные, мокрые от пота, покрытые сыпями, лишаями, или другими кожными, даже иной раз сифилистического характера, болезнями. Грязными ногами, покрытыми черной корою, мнут они зеленую, мокрую массу; с самих китайцев от теплого климата и от прилежной работы ручьями льется пот, начиная от их ушей и до самых пят. Около ½ часа мнут они эту сочную массу, чтобы затем опять рассыпать ее на циновке и сушить на солнце. При такой сушке чай чернеет и приобретает запах сена; зеленоватыми остаются только самые крупные, грубые листья. Сушка кончилась; листья опять собрали в кучу, всунули в плетеный кувшин, из бамбуковых листьев кувшин, покрытый тряпкой, и оставляют на солнце для брожения. Это продолжается часа два, после чего чай становится уже совершенно черным. Если бы в чаю все еще остались теперь зеленые листья, то это значило бы, что чай не перебродил. По окончании брожения листья еще растаивают на солнце, пока они не сделаются сухими... Вот и все пресловутые работы по приготовлению чая».

Это, брат, отрывок из путевого дневника казака-старообрядца Григория Хохлова. Его издал В.Г.Короленко при поддержке Русского географического общества.

Наше безумное чаепитие продолжается. Сегодня Новый год. Год гад. Тяжелый праздник, говорили мама с папой, соловья у телевизора. Я принимало димедрол и ложилось спать.

Звонили трезвый Шведов из СПб и пьяный Тат из Лос-Анжелеса.

Пока.

31.12.2012

23

Дорогой брат!

Во-первых страхах этого письма, открывающего наш эпистолярный 2013 года, сообщаю тебе, Коля, что человечество придумало еще одну (по крайней мере, в отношении «меня») попытку.

Она называется скайп. Это компьютерная голосовая связь между людьми, сопровождающаяся взаимным изображением говорящих. Теперь все требуют, чтобы ты был в этом скайпе. Изображение часто замирает, и на экране тогда долго созерцаешь морду собеседника, застывшую с са-

мым нелепым выражением. Кроме того, по скайпу, как правило, говоришь с теми людьми, которые живут далеко за пределами отечества, а с ними встречаешься не так уж часто, поэтому первое, что бросается в глаза при визуальном контакте, это неумолимая работа времени. Иногда физиономия собеседника вовсе распадается на какие-то разноцветные квадратики, как на холсте Клее. Они пульсируют, то превращаясь обратно в лицо, то возвращаясь к исходному абстрактному началу.

Если бы мы на протяжении всей беседы следили за супрематическими играми этих квадратиков, вместо того, чтобы разглядывать потускневшие лица друг друга, я бы еще могло примириться с этим склепом скайпа. Но в течение долгих минут — (благодаря дешевизне этого вида связи) — глотать суррогат общения для моей хрупкой психики просто опасно.

«Я» — не дешева.

Ведь, достигнув пенсионного возраста, мы можем говорить друг с другом уже теми текстами, что были написаны за жизнь, а если они нам не интересны, то и говорить не о чем.

Если из оставленных нами буковок, картинок, музыки не сложится какое-то таинственное «мы», то от нас здесь останется только дурное, целлюлозное ничего.

Отчего я пекусь о твоих текстах, брат, или Кудрякова, или Тата, чтобы это «мы» все-таки прозвучало.

«Я»-то его вижу и слышу не по скайпу, а откуда-то изнутри того фантастического процесса, который называется существование. «Я» ощущаю это «мы» как особую вибрацию, она щекочет мозг и гортань ещё до всякой мысли и слова, она — смычок Универсума. Нам остаётся только настроить скрипку «себя» Подтянуть колки и замереть навечно в ожидании прикосновения наканифоленного конского волоса.

Как раз четыре струны получается — А.Ник, Кудряков, Тат и «мое» я.

Если концерта не будет, то скрипка упокоится в музее музыкальных инструментов, как мумия в пирамиде, как муха в янтаре, как трилобит в известняке.

А трилобит-то, Коля, у меня есть! Прележал он, бедняжка, сколько-то миллионов лет в саблинских отложениях под Питером, а теперь на Черной речке покоится. Получил «я» его, брат, как сотрудник Института Русского Авангарда (ИРА). Этот институт существует только в компьютере. Ничего, скоро все там будем.

Auf Wiedersehen!

2.01.2013.

24

Дорогой брат!

Беги, скрывайся и таи. Накануне семилетия со дня смерти Бориса Александровича я напомнило нескольким его близким знакомым о сакральной годовщине. Все пришли в изумление, что так много времени прошло. «Мое» сообщение имело тайной целью будировать этих людей к изданию тома, который вместил бы в себя обе вышедшие раньше книги Кудрякова плюс дневник, плюс письма.

Однако Борис Останин, один из столпов гиперборейского самиздата, сконцентрировался на той части «моей» реляции, где речь шла об анонимном захоронении Грана.

И вот он в декабре, в мороз, поперся с самодельной табличкой (распечатанная на принтере, заламинированная бумажка) на заснеженное Волковское кладбище. Каким-то чудом ему удалось найти и раскопать кудряковскую могилу. Эту бумаженцию он как-то пристроил к кресту. Зажег свечку. А потом выпил.

Доживет ли снегурочка-табличка до весны, Бог весть. Новое издание — лучшая форма надгробья для умершего артиста. Так, по крайней мере, считает «мое» трудноистребимое я.

А вообще, брат, наверное, скоро реальные кладбища будут заменены виртуальными. Там родственники и друзья смогут воздвигать какие угодно Тадж-Махалы для умерших. Архитекторы и скульпторы будут оттачивать свое мастерство в миллиардах проектов. (Пиранези бы такие возможности), а ландшафтные дизайнеры будут создавать бесчисленные парадизы.

Любители ритуалов смогут заранее смотреть «свои» похороны. Малевиц бы непременно этим воспользовался.

«Своими» предстоящими похоронами начнут обмениваться, как эсэмэсками, друзья-приятели.

Будут открыты для начинающих погребальные спецкурсы.

Настоящие похороны, книги, половые акты канут в Лету.

Из праха умерших станут создавать холмы, подобие курганов древности, и с ними будут прелюбодействовать молодые некрофилки. (По Аронзону).

Человечество смело шагает в телевизор, чтобы не вылезти из него уже больше никогда.

Адью.

3.01.2013

25

Дорогой брат!

Пишу в ранее описанной позе. (Графоманская «Кама-сутра»). Красенькие циферки на чешских часах показывают 9ч. 51м. утра.

Сегодня на рассвете (ха-ха, какие рассветы в начале января) «мне» приснился сон с твоим участием.

Ты был в рубашке цвета кофе с молоком и был ты сравнительно молод. Лет двадцать с чем-то. Действие происходило на кладбище. Только кладбище это было вроде музея. Анфилада комнат, каждая из которых является усыпальницей конкретного человека. Вела по этому некрополю Зденка. Ты нас встретил приветливо и тут же любезно всех стал угощать портвейном. Только мне почему-то не наливал. Я протягивал и протягивал тебе рюмку, а ты все игнорировал «меня». Потом из соседней комнаты прибежала какая-то маленькая, видимо, тоже мертвая девочка, и вы помчались (ты не хромал) с ней куда-то. «Я» же, как идиот, остался стоять с протянутой рюмкой в спящем мозгу.

Может, ты, брат, обиделся, когда я тебя про вкус амброзии расспрашивал? Прости, если что не так. А может, это результат стирки личности? Не выдать меня никому. И ты, брат, мое полустертое эго в том сне не заметил.

Парадокс в том, что чем меньше в «тебе» остается «себя», тем сильнее отличаешься от остальных.

Яки чувствуют себя комфортно и вольготно в своем вымышленном эго-мире, а ты, чуть-чуть выскочивший оттуда, с ободранной кожей (Марсий!) и перекошенными мозгами (марсианин!), с ужасом смотришь на этот некогда родной курятник, не в силах никому ничем помочь, обреченный на молчание «своих» каракулей, выродок.

У меня случились вы-роды.

А сон про музей-кладбище, может быть, навеян предыдущим письмом, где я разглагольствовало о виртуальных захоронениях.

Да, брат, вдруг вспомнил, «я» ведь тебе обещал рассказать (см. №1) о последнем вечере третьего августа 2012 года в Праге.

Мы все сидели за столом в беседке: Зденка, Катя, Мартин, Роман, Ева, Надежда и я. Про свечи, которые зажигал в сумерках Мартин, я тебе уже писало. Потом романово семейство уехало в свою деревню, а мы со Зденкой (Надежда ушла спать) сидели чуть ли не до 5-ти утра на кухне. «Я» разрисовывал клеенку и пил «Бехеревку». Потом, как был одетый, рухнул на кровать. «Меня» разбудила Надежда. Пора в аэропорт. Но не Зденки, ни Романа, который нас обещал отвезти туда, нет. Мы сидим на собранных чемоданах. Потом «я» поднимаюсь выше этажом, там ночевала Зденка. На лестничной площадке тишина. А я не помню, в какую дверь звонить. Спускаюсь вниз несолоно хлебавши. Снова нервно сидим на чемоданах. Наконец появляются Зденка с Романом. Он, бедняга, не взял ключи и никак не мог попасть в дом, а Зденка была в душе и не слышала его звонков. Роман не мог понять, куда все подевались в такую рань. В общем, такая же неразбериха, как и в день приезда, когда я в темноте кувыркалось на лестнице.

В русле этой славной тенденции Мартин, едва начав учиться, сломал ногу на школьной лестнице. А потом, в том же сентябре Надежде поменяли сустав в Институте травматологии им. Р. Р. Вредена. «Я» же продолжаю менять «себя».

Бе-бя-бя-бя.

Огой!

5.01.2013

26

Дорогой брат!

Сегодня последний день этих идиотских новогодних праздников. Население тщетно пыталось сразить убийцу-время картечью из пробок от шампанского. Мы с Надеждой отказались от просмотра телевизора, предпочитая видео. В прошлом году смотрели «Наполеона», Абея Ганса, в этом — чешский «Магазин на площади». «Оскар» за лучший зарубежный фильм в 1965 г (Зденка прислала).

Я же безуспешно пытаюсь разгрести свои авгиевы. Решил отдать книжечку А. Лебедева «Мыслящий пролетариат Писарева» (М., Детская литература, 1977) и снова обнаружил там кучу своих подчеркиваний, но наибольшее впечатление на меня произвел кусочек из прокламации Писарева 1862 года, который «я» тогда не подчеркнул. Она направлена против брошюр Шедо-Ферроти (псевдоним царского агента в Бельгии, барона Фиркса), написанных против Герцена.

«Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть...

То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать их смердящие трупы». (с. 82).

Вы оказались правы, Дмитрий Иванович, все так и вышло. Забросали гашеной известью. Только лучше-то кому от этого стало?!

Из слезинки получилась атомная бомба. История утонула в крови. Россия, как старая, ослепшая цирковая лошадь, продолжает выписывать круги от заморозков к оттепели и обратно с механическим идиотизмом бракованного робота.

Половой акт с преисподней продолжается.

«История Государства Российского, или Как зачать Антихриста».

Не люблю, брат, рассуждать на эти темы, но иногда оно прорывается, извини.

А вот что подчеркнул еще в том тысячелетии.

Писарев писал в 1859 году: «Каждый человек, действительно мыслящий когда-нибудь в своей жизни, знает очень хорошо, что не он распоряжается своею мыслью, а что, напротив того, сама мысль предписывает ему свои законы и совершает свои отправления также независимо от его воли, как независимо от этой воли совершается биение сердца...» (с. 66).

А у Баратынского, помнишь? «Не властны мы в самих себе».

Ну, а что тут тогда мое, Коля?

Ё-моё?!

Это уже что-то футуристическое. Вот и у Писарева много лет назад обнаружил футподобное: «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может их выпить тридцать три» (с.122).

А потом Писарев в Дубултах утонул.

А потом Сапунов в Финском заливе.

А потом Чеботаревская в Неве.

А потом Вампилов в Байкале.

Видишь, брат, с книжками прощаюсь, как с близкими людьми. По-хорошему. А чего ругаться-то. Все там, в атолле будем.

Уже второй день не выхожу из дому. Доедаем то, что осталось от праздников.

На улице снег. Темнеет. Сажу в чуме. Готовлю еще к ликвидации книгу Юрия Емельянова «Рождение и гибель цивилизации», (М., 2012).

Вот отмеченное местечко: «Покорители Арктиды научились значительную часть времени жить в условиях, приближенных к внеземному космосу. Они сооружали жилища, которые по созданию условий жизне-

обеспечения в окружении космического холода предваряли создание космических кораблей. Они шили себе одежду, которая фактически была подобна космическим скафандрам» (с.235).

Мы тут все — астронавты. Вышел в открытый космос из дома на улицу — сразу смотри под ноги, чтобы не упасть. Пошел — не забудь наверх посмотреть — сосульки. Зашел в магазин — сними перчатки, протри очки, расстегни куртку, достань кошелек, и т.д. А в тропиках ничего этого не надо. Сорвал банан — и порядок.

Но вот Адам в райских кущах сорвал неудачно фрукт. Сломал парадигму. Мучайся теперь. Познай себя в кавычках.

Из Емельянова узнал еще, что на фасаде своего научного центра (неужели Института экспериментальной медицины?) Иван Павлов приказал начертать «наблюдательность и наблюдательность».

«Я» в этом институте наблюдал... В проходной. Правда, недолго. И с Гошей нечистый спирт из-под препаратов пил в лифтерской. Критикой нечистого разума занимались. Пивом его лакировали.

Вот, собственно, и все.

8.01.2012

27

Дорогой брат!

В начале своей книги, предназначенной «мною» к упразднению, Емельянов пишет: «В самых разных событиях истории порой обнаруживается некий скрытый строй и тайный ритм» (с. 13)

Здесь речь идет о звериных тропах, по которым потом потопал и человек, а позже поперли машины (хайвэй).

Хлебников искал формулу истории.

«Я» затесался в эту компанию с идеей судьбы-стихотворения и парадигмой воплощенной в визуале «Бог-поэт».

Судьба-стихотворение (сокр. сусти) легче всего прочитывается у людей творческих по окончании их жизненного пути. Сусти — это сверхпроизведение, вбирающее в себя как созданное, так и задуманное, перипетии истории и биографии. Это отпечаток личности автора в судьбе. По сути, трилобит, о котором я тебе писало. Это — сконцентрированное все, песчинка для атолла. Так уголь под давлением сил природы становится алмазом. Сусти — алмаз художественный. Его гранильщиками были судьба и время.

Углерод-аксельрод.

С «моей» точки зрения, ты, брат, — алмаз. А «небо в алмазах» — ноосфера, испещренная нашими сусти.

Знаешь, Коля, я настолько погрузилось в этот эпистолярный жанр, что ни на что другое у «меня» нет ни сил, ни желаний. Здесь «я» выкладываюсь полностью. «Мне» и сказать-то больше нечего после этих писем.

«Я» — молчалин.

Аривидерчи.

10.01.2012.

28

Дорогой брат!

А может, академик Сахаров прав? Вишь, в газете «Известия»-то (от 10.01.2013, стр.1) пишут: «В апреле 2012-го года пионеры космического бизнеса Эрик Андерсон и Питер Диамандис создали Planetary Resources — первую частную компанию, планирующую добывать на астероидах платину и золото». Если через 11 лет начнут добывать драгметаллы, то академик правильно спрогнозировал. Поживем — увидим. Доживу, принесу извинения.

Вообще, «мое» я готово заранее попросить прощения у всех, кого вольно или невольно обидел. Под всеми «я» подразумеваю ВСЁ: и атомы, и электроны, и молекулы, и новоявленные базоны, и китов (один раз в Ейске ел котлеты из китового мяса), и коров, и свиней, и баранов, и ягоды, и грибочки, и цветочки, и лепесточки, и людей, и ангелов, и кур. Все существующие и несуществующие субстанции, которым «я» не воздал должного, простите «меня», перед вами виноватого «я».

А я-то, само, ни на кого зла не держу, чего его держать, если держать-то не в чем.

Недержание у «моего» дефектного я. Энурез зла.

А так, почти всех жалко. Детей за то, что не знают, что их ждет. Стариков за то, что знают. Молодым хуже всего. Они, как ненасытившиеся птенчики в гнезде, копошатся с вечно раскрытыми клювами: хочу, хочу, хочу.

Бедные яки. Вообще, Землю жалко, красивая была планета. Миллиарды облысевших животных трутся друг о друга. Каждое уникально, как отпечаток пальца. Неповторимые завитушки извилин. Только в каком носу стали кроманьонцы ковыряться этими извилинами?!

11.01.2013

29

Дорогой брат!

Вчера еду из салата в метро. По вагону ползёт баянист-инвалид, наяривая народный шлягер «Виновата ли я»... Я сидит в конце вагона и по мере приближения инвалида ко «мне» в мозгу песня трансформируется из игриво-любовной в онтологически-безысходную «Виновата ли я?».

За иллюзию «меня» с кого спрашивать? С «меня» же?! Есть ли во «мне» хоть что-нибудь моё без кавычек. За что может отвечать телевизор? «Я» — компьютерная программа Бога. В чём «мой» пафос? В перепрограммировании! Чем в монастыре занимаются, разве не этим. А мистики? Надо перепрограммировать «себя», брат, и при этом не свихнуться. Быть этим и тем одновременно. Одна мозга здесь, другая — там. Перешагнуть через пропасть «себя» — вот сверхзадача. «Прыжок и я в уме».

Все эти рассуждения на бумаге выглядят банально. Их лучше бы было передать через музыку. Через танец.

Танцуют все!

14.04.20013

Дорогой брат!

Под утро опять видел тебя во сне. На этот раз была забегаловка-библиотека. Мы пили пиво между книжными стеллажами, а пол был завален пластмассовыми бокалами из-под него. Потом ты пошёл к стойке, чтобы купить вина. Я оказалось за одним столом с вьетнамцами. Они лопотали быстро и громко, размахивая цыплячьими ручонками. Но тут появился полицейский и вьетнамцы испарились. А полицейский долго кружил вокруг «меня», присматриваясь. Я напряжённо пыталось вспомнить, взяло ли оно в этот сон с «собой» паспорт. Полицейский исчез, а напротив «меня» появилась чешская девица с неровными зубами. Она так долго говорила «мне» абсолютно непонятное, что «я», совершенно ошавев от этого заузного плеоназма, стал с ней целоваться, чтобы хоть немного побыть в тишине. Ты же в это время у стойки беседовал с барменшей. Одет был как в свой последний приезд в Ленинград (1984 г.), в светлую кожаную куртку и джинсы.

Когда я проснулось, на твоих чешских была половина девятого утра. Опять мы с тобой, брат, не поговорили. А для нашего inferнального сюжета такой «разговорец» (Мандельштам) пригодился бы.

Но какие наши годы! У тебя — вечность, а у «меня» — хвостик жизни. Наговоримся ещё. Где не-наше-я не пропадало. У кого это я только не побывало. Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать.

«Я» — разменная монета.

Опускаешь монетку «я» в биоавтомат, и пошла писать губерния. Личность получается во всей онтологической красе. Пиши — не хочу.

Непостижимое о непостижимом. Вот единственный сюжет. Остальное — производное от него.

Мы — рабы местоимений, узники языка.

Человеческая жизнь предопределена, это что-то вроде альбома для раскрашивания. Как раскрасить — вот в чём выбор.

Перепрограммирование предполагает новый альбом. Или, по-научному, третью сигнальную систему. Некоторые на уровне осознания её уже ощущают.

В мозгу щекотно.

Этот «термин», брат, «я» выловил у Ани Голубковой, когда иллюстрировал её книгу стихов для мадридского издательства Михаила Евзлина. Там было так — «мозговая щекотка». Евзлин и твою книгу стихов издал, со статьёй Петра Казарновского.

Ещё говорят о мурашках. Одна дама «мне» вещала, что когда слушает гениальные стихи, у неё мурашки по телу. «Мои» стихи такого воздействия не оказывали.

Зазноба без озноба.

Ну, пока.

15.01.2013



Светлана КУРАЛЕХ

/ Донецк /

* * *

Все холоднее на ветру,
и время все неумолимей.
— Вы где?
— Мы в Иерусалиме.
— А вы?
— Мы там, где кенгуру.
А убиенные — в раю,
а незабвенные — в Нью-Йорке.
А я одна в глухом краю,
все стерегу свои задворки.
Ушла ночная электричка,
и кажется, что все ушло...
Я — бабочка-шизофреничка,
бьюсь о вагонное стекло.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

«Дни человека — как трава...»
(Пс. 102:15)

«Постой!» —
и холодок по коже.
«Постой!» —
и оборвется бег.
...Трава была нам брачным ложем
и на себя взяла наш грех.

Там, где довольно было взгляда,
ты все подыскивал слова,
а я подумала: «Не надо:
дни человека — как трава».

Травинку горькую кусая,
я знала все твои права
и по траве ушла босая...
Дни человека — как трава.

ПРОВОДЫ В ГЕРМАНИЮ

Пахнет садом Гефсиманским...
Не целуй через порог.
Может, с паспортом германским
будешь счастлив. Дай-то Бог.
Передай привет мой Гейне —
мне ирония сродни.
Что теперь топить в портвейне
наши прожитые дни!

Стул непроданный изломан,
и затоптан половик...
«Herz, mein Herz, sei nicht beklommen
und ertrage dein Geschick»¹.

* * *

Сквозь яркую зелень — то синь, то сирень,
какое цветов и тонов наслоенье!
Но если пейзаж повернуть набекрень,
то станет понятно мое настроенье.

Я жду, я меняюсь в лице каждый миг,
я злюсь, я стараюсь от слез удержаться,
Но вот на аллее ваш образ возник
и стал постепенно ко мне приближаться —

и стал постепенно бледнеть антураж...
А сердце мое наполняется светом
по мере того, как прекрасный пейзаж
становится вашим прекрасным портретом.

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Художник — пилигрим,
а может, шут бесстыжий...

¹ Сердце, сердце, сбрось оковы
и забудь печали гнёт.

Г. Гейне

«Да, живопись — свобода», —
мне он говорит.
Но Господом к нему
приставлен ангел рыжий,
который часто сам не знает,
что творит.
И путается в красках
замысел славянский,
а в доме нет еды уже четыре дня,
и кажется: вот-вот
взорвется конь троянский
и вспыхнет на холсте
пурпурная резня.
На площади толпа гудит,
как ипподром.
Нет, избранный сюжет
не кончится добром.
На свежем полотне
подрагивает охра...
Не трогайте рукой:
Эллада не просохла.

* * *

Двух убогих — тебя да меня —
Бог решил обогреть у огня.
— Что, мой ангел, уютно?
— Уютно.
Можно спать до утра беспробудно.

— Что, мой ангел, тепло ли?
— Тепло.
Дай твое поцелую крыло,
и ладони, и шрам у виска.
Жизнь, как видишь, не так уж горька.

Будем счастливы мы до рассвета.
Бог недаром сюда заглянул.
— Что, мой ангел, ты скажешь на это?
Нет ответа...
Мой ангел уснул.

* * *

Воспоминанье в стиле оригами...
Бумажный олененок на окне.
Мне восемь лет. Я прижимаюсь к маме,
а мама прижимается ко мне.

Воспоминанье в стиле оригами...
Я рву стихи. Я пробую свести
все счеты и обиды между нами.
А мама шепчет: «Господи, прости».

Воспоминанье в стиле оригами...
Куда же ты пропал, олений след?
Как холодно. Я свечку ставлю маме.
Мне страшно быть должно. А страха нет.

ДЕБЮТ

Кукла живет и танцует по кругу,
так привязались с актером друг к другу,
что непонятно, кто водит кого:
куклу — актер или кукла — его.
Только запутались тонкие нити,
куклы по воздуху ножками бьют,
встали-упали — уж вы извините,
не забывайте, что это — дебют.

Жизнь моя тоже танцует кругами,
не замечая земли под ногами —
кто-то за ниточки сверху ведет,
перемешались паденье и взлет.
Что-то хотела, куда-то спешила,
ангелы в небе все ближе поют.
Накуролесила, наворошила...
Боже, прости меня! Это — дебют.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ГОВОРЯЩЕЙ СОБАКЕ

Памяти Натальи Хаткиной

Набираю «cot.cot@net»...
Странно, что нет тебя на свете,
но собачий след ведет в интернет,
и я ищу тебя в интернете.
Как там? Легко ли по небу ступать,
плыть и струиться в колечках дыма?
Сладкое дело — в раю засыпать,
но колыбельная необходима.
Вздрагивают часы от каждого тик-така.
Лучшие годы вспыхивают, как спички.
Баюшки-бай, Говорящая собака!
Привет от Бабочки-шизофренички.

* * *

«Не зная Бродского, не суйся в воду», —
сказала я себе и поплыла,
и вырвались лопатки на свободу,
и ноги вознеслись, как два крыла.
Раздайся, море! Боком, на спине
ныряю, как могу и как желаю,
гоню одну волну к другой волне,
а третью догоняю и седлаю...
Вот так бы и Пегаса оседлать.
Но где тетрадь? За горизонтом где-то
лежит на берегу моя тетрадь
и томик гениального поэта.
Да, Бродский — гений, целая эпоха.
А что же я? Я плаваю неплохо.

Виталий ЧЕНСКИЙ

/ Донецк /



ВОВЛЕЧЁННЫЕ

Иногда я бываю смущён тем, как выгляжу. Мне кажется, что я моложе своих тридцати с лишним. Вероятно, я неплохо сохранился. Может быть. В то же время, многие мои ровесники потолстели и уплотнились, а кожа их лиц стала грубой и складчатой. Жизнь берёт своё. Но если жизнь — это работа, то мой внешний вид говорит о том, что я от неё отлыниваю. У меня нет жены, хозяйства, я не ставлю на ноги детей и на мне не лежит груз ответственности за что бы то ни было. Я хотел бы скрыть своё дезертирство, но внешний вид меня выдаёт. Мои нежные щёки, тонкие пальцы, подтянутый живот... Это выглядит подозрительно. Это выдаёт мою невовлечённость во взрослую жизнь, которой все заняты. Меньше всего я бы хотел потревожить вовлечённых. Мне надо быть осторожным с ними. Прятать лицо в капюшоне, менять адреса проживания, всячески заматывать следы. Но круг начинает сжиматься, как только я попадаю в новое место. Некоторое время они присматриваются, а потом отправляют ко мне разведчика. Он приходит в разных обличьях. Но я всегда узнаю его манеру. Его кривую улыбочку, попытки заглянуть мне в глаза. Появление разведчика — верный знак, что пора уходить.

ДО ТОГО, КАК НАЧАЛИСЬ ЧУДЕСА

Про личную жизнь Иисуса я знал мало. Кажется, с девушками у него было не очень. В их глазах он был неплохим парнем. Даже симпатичным. Однако его мистическая настроенность сбивала их с толку. Он говорил им, что объективной реальности не существует, что тяжеловесная материя сама выстраивается в соответствии с внутренними образами, надо лишь сделать их более плотными... Ну, вы же знаете, что девушки такого не любят. Особенно те, что помоложе. Вот если бы он показал им что-то. Тогда, может, да... Но в то время Иисус ещё почти ничего не умел. Я имею в виду, не только чудеса библейского масштаба, но и волшебство по-мельче. Кроме незначительной синхронизации внешних событий ему, ка-

жется, ничего не удавалось. Девушки, разумеется, не принимали это всерьёз. Им нужен был результат, даже если он достигнут прозаическим способом. «Так в нашей жизни ничего не произойдёт», — говорили они. «Ну, погоди. Это же внутренняя работа. Это же тонкие настройки», — отвечал он. «А может, давай просто воспользуемся причинно-следственными связями?». «Не моё», — вздыхал он. «Тогда извини. Я не верю, что получится так как ты говоришь, — вежливо отвечали ему (всё-таки он был неплохим парнем). — Мы должны расстаться». «Хорошо, удачи тебе», — ласково говорил он. Сам себе думал: «Просто она решила выбрать обычную жизнь женщины среднего класса...».

И тем не менее, он верил. Он верил в чудеса, которые не происходили. Я познакомился с ним при неудачной попытке исцелить нескольких прокажённых где-то на границе с Ливаном. Дела у него шли неважно. Денег было мало, и ему уже стукнуло тридцать шесть.

ВНЕЗАПНЫЕ ПРИЛИВЫ НЕЖНОСТИ НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ НОЧНОГО ПОЕЗДА

Когда я еду домой в поезде, ночью мне редко удаётся заснуть. Ворочаясь на плацкартной полке, я думаю о своём прошлом. О том, что со мной когда-то происходило... И время от времени мне удаётся испытать прилив нежности к самому себе, к тому человеку, которым я был в школе, институте... Меня это не сильно смущает. Я лежу тихо. Половина вагона храпит, и никому нет дела до того, что кто-то под рельсовый стук неслышно любит себя. «Ну вот. Дожили... — думаю я. — Похоже, у меня начинает развиваться нарциссизм, могущий привести к серьёзной личностной дисфункции». Но думаю лениво, без тревоги. Мне нравится эта нежность. К тому же, на данный момент я единственный, кто может дотянуться до этого неуклюжего, стеснительного, прыщавого парня и погладить его по голове.

**Из цикла
«Время кулыка»**

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ

Река делила город на две части. Правый берег считался центром. Его называли просто Город. Левый берег называли Левым берегом. Или просто Левым. Здесь располагался металлургический завод и спальный район, куда люди возвращались вечером после работы. «Чтобы жить», — думали они. «Для рекреационных мероприятий», — неслышно уточнял разум более высокого уровня. Руководствуясь данной целью, Разум построил на Левом длинные одинаковые дома для сна, кинотеатр «Союз», вторую поликлинику, два спуска к морю, церковь архистратига Михаила, магазин «Жемчужный», памятник 130-й мотострелковой Таганрогской дивизии (для свадебных поклонений) и много-много железных и

кирпичных киосков. Всё это позволяло вести здесь абсолютно автономное существование, без оглядки на правый берег. Но время от времени, лёжа на диване перед иссякшим телевизором, стоя в трусах на дырявом балконе, откладывая в сторону книгу или выходя из билльярдной «Москва» ещё не слишком поздним вечером, житель Левого ощущал тонкое неодолимое желание перейти реку и оказаться в настоящем Городе. В такие моменты он бессознательно переживал экзистенциальную неподлинность своей левобережной жизни и пытался успокоить тоску поездкой, которая общала его к чему-то настоящему.

Город, несомненно, имел свой дух. Отнюдь не героический. Не аскетичный. Не высокий. Художникам и поэтам не давала сосредоточиться удручающая летняя жара. Мелкость прибрежных вод сводила на нет попытки стяжать здесь морскую славу, а посменная работа, способствовавшая более полной загрузке оборудования, отбирала силы, необходимые для подвижничества, оставляя лишь немного на пиво. И всё же, в отличие от меня, Город легко прощал себе неблагородство и никогда не ставил под сомнение своё право на существование. В угрюмые периоды, регулярно случавшиеся со мною по этому поводу с пятнадцати лет, я бывал раздражён его непробиваемой уверенностью. Низенькие, облущенные домишки старинных кварталов Города не давали для неё никаких оснований. Мне они напоминали дряблую плоть мещанина, изношенную не слишком уточнённым чревоугодием и неразборчиво утоляемым сладострастием. Впрочем, длинная жирная сороконожка, каковой представала передо мной здешняя жизнь, не нуждалась в оправданиях. Она медленно ползла через засаленные подворотни и поедала маленьким трудолюбивым ртом сладкие кусочки времени, сдобренные тёплым липким медком, подтаявшим сливочным маслом, изюмом, сахарком, сальцем, жирной селедочкой, жареным лучком...

При более высокой концентрации эндорфинов (назовём это состояние просто «безрадостным») поездка в Город доставляла мне тихое удовольствие. Столетние здания, располагавшиеся вдоль главного проспекта, могли бы транслировать тот же мещанский дух, но, к счастью, были всего лишь чучелами домов. Сороконожку вытравили отсюда ещё в незапамятные времена, а заменившая её картонно-папочная жизнь чиновников, работала на усиление таксидермической ауры. Мне это нравилось. Высушенные здания не вызывали тошноты и казались совсем не мрачными. Сам не способный к организации внутреннего праздника, я искренне ценил свойство их ухоженных, вычурных фасадов вселять в меня приподнятое настроение. Людей, встречавшихся в этих декорациях, я наделял красотой, улыбочностью и способностью приласкать меня безо всякой причины. Конечно, такого никогда не случалось. Но, выезжая в город, я старался надевать свежую, выглаженную мамой рубашку и брал собой новый, не потрёпанный ещё, целлофановый кулёк, в котором имел обыкновение носить мелкие личные вещи и куда складывал добытые во время пребывания в центре трофеи: купленный в подвальном этаже ЦУМа CD с новым альбомом «Papa Roach» или книжку из серии «Путь к себе».

ВРЕМЯ КУЛЬКА

После избавления от пятнадцатилетней учебной повинности мне уже никогда в жизни не суждено было носить одновременно много книг и уж, тем более, смешивать их с тетрадями. Застолье в лаборатории автоматизации, которым окончилась защита дипломов группы МА-93 летом 1998 года, оказалось поминками по большой сумке из кожзаменителя, служившей вместилищем моей идентичности.

Наступило время кулька.

Впрочем, я осознал это много позже. Момент, когда мои руки привыкли к пустоте, оказался для меня незамеченным. Помню лишь, что документы, необходимые для поступления на завод, я носил уже в целлофановом пакете. Впрочем, и они наполняли его совсем недолго. Рабочей книжкой в первый же день завладела нормировщица Марина Анатольевна. В её глубоком и длинном деревянном ящике хранились души всех сотрудников отдела АСУ ТП. Поместив туда и мою, она провела трепетное тело начинающего инженера по длинному тёмному коридору в залитый светом кабинет, где сидел молодой коренастый мужчина с тяжёлым, напоминающим репу, лицом.

— Володя, это Виталик. Принимай пополнение, — сказала Марина Анатольевна и вышла.

Начальник бюро ППИЭОТС Владимир Петрович Плющихин посмотрел на меня взглядом, который я бы мог назвать «колючим», но вряд ли «пытливым». Богом он здесь не был (это выяснилось к обеду). Однако его могущества вполне хватило для того, чтобы завладеть принесённой мною брошюрой, где ставились отметки о прохождении плановых инструктажей по технике безопасности.

По завершении изнуряюще скучного первого рабочего дня, я приехал домой с ключами, пропуском и футляром для очков. Предметов было немного, однако для их переноса транспортировочных возможностей брюк явно не хватало. Для ношения в штанах годился разве что пропуск, представляющий собой тонкую ламинированную картонку. Впрочем, таким он был недолго, поскольку заботливый и опытный отец создал для него конверт из прозрачного пластика. Моё право ежедневного проникновения на территорию комбината было надёжно защищено от износа, однако острые углы предохраняющей оболочки вызывали несварение в тёплых желудках карманов, привыкших к мягким потёртым купюрам и скомканным автобусным билетам.

Через месяц на работу в то же бюро поступил мой бывший одногруппник Саша Збандут — большой рыхлый парень в очках с огромными стёклами и дешёвой оправой, зубрила и объект насмешек факультетского масштаба. Похоже, проблема сумки его абсолютно не волновала. На заводе он появился с дипломатом — неизменным институтским аксессуаром, который был приведен к его неуклюжей сутулой фигуре, в течение пяти лет совершавшей медленные перемещения между учебными корпусами. Ухватившись за ручку своего чемодана, Саша благополучно пересёк границу новой реальности. Вряд ли ему нужно было носить много

предметов. Во всяком случае, на первых порах. Зато воздух, запертый между пластиковыми стенками, помогал держаться на плаву при освоении нового жизненного фарватера.

По сравнению с Сашиним дипломатом, мой кулёк казался совсем уж хилым судёнышком. Однако я не спешил обрести более надёжное плавсредство. Я понимал, что стою перед классовым выбором и при этом не испытывал ни малейшего желания примкнуть к какой-либо группе. Даже к той, родство с которой я, казалось бы, должен был испытывать благодаря полученному в институте образованию. Чем больше я узнавал этих сгорбленных, брюзгливых, желчных людей в серых безрукавках с выглядывающими оттуда мятыми локтями и смучными предплечьями, с тусклыми глазами, высушенными сотнями квадратных метров чертежных пейзажей, отображающих трубные проводки, металлоконструкции, функциональные схемы et cetera, тем меньше мне хотелось быть техническим интеллигентом. Я не сомневался, что портфель или дипломат сами по себе способны втянуть меня в исполнение этой неприглядной роли, диктуя собственное содержание и привлекая ко мне «своих», и поэтому наложил на них строгое табу.

Другой полюс сумочного мира был представлен борсеткой. Отвращение и страх, испытываемые мною по отношению к данному изделию, мешали разглядеть его глубинную связь с портфелем, которая осуществлялась путём довольно простой трансформации. Чтобы портфель превратился в своего антагониста, его надо было лишь подвергнуть многократному уменьшению. Карликовый размер был способом, с помощью которого borsetta отрекалась от интеллигентской сущности своего прототипа, воплощением которой в моих глазах были полиграфические форматы 84x108 1/32 и A4. Пузатый кожаный сундучок не принимал внутрь ни беллетристики, ни журналов из серии «Великие художники мира», которые появились в городских киосках в 2004-м и на протяжении многих месяцев создавали волнующий интеллектуальный фон для моей внутренней жизни. Злобный карлик отрывал всё, кроме паспорта, денег, ключей от дома, водительских прав, пропуска на завод, ключей от машины, презервативов, сигарет, футляра для очков и мобильного телефона. Полагаю, борсетка отрыгнула бы и меня, вздумай я ею обзавестись. Прилагавшийся к ней образ жизни состоял из ежедневной борьбы за ресурсы и положение в обществе, важных дел, перекуров, звонков, белых рубашечек, брючек со стрелками, часиков на ремешке и т.п. Ни для борьбы, ни для подобных бряк сил у меня не было.

Рюкзак, сумка на ремне и прочие варианты, располагавшиеся между упомянутыми выше крайностями, также были отвергнуты. Главное преимущество кулёка, принятого мною в качестве временного носителя (как оказалось, на многие годы) состояло в его нейтральности. Кулёк никуда не звал, не задавал никаких направлений и не фиксировал. С ним я всегда был похож на человека, выскочившего на часок-другой из дому по неожиданно возникшему делу. Путешествуя по городу таким способом, я тайком наблюдал за владельцами борсеток, чемоданов, мешков, портфелей, хозяйственных сумок, чехлов от теннисных ракеток, футляров от музыкальных инструментов... Я боялся, что попаду в одну из этих групп взрослых людей. Мне казалось, что принадлежность к группе означает

согласие на реализацию жизни в составе какого-то невидимого гигантского организма. Каким бы ни был этот организм, я боялся стать его частью. А что если по причине одного неосторожного его движения я окажусь смят, покалечен или уничтожен? Такое ведь происходит каждую секунду с клетками, из которых состоит моё тело. Я боялся, что жизнь обточит меня своим резцом, как пьяный мастер обтачивает заготовку на токарном станке. А вдруг, когда я пойму, наконец, какую форму мне хочется принять на самом деле, это будет уже невозможно, поскольку материал, необходимый для счастливого воплощения, окажется срезанным в нужных местах?

КОЗЛОВОЙ КРАН

Всякий житель Левого, пожелавший оказаться в Городе, должен был проехать через главный мост. Напрямую добраться к нему было нельзя. Подступы к переправе, растянувшиеся на несколько километров, занимал металлургический комбинат. Единственная ведущая к мосту дорога делала нервный зигзаг, обегая производственные уголья, населённые всеми известными видами индустриальных чудовищ (ещё в институте нам говорили, что «Азовметалл» — предприятие полного цикла). Среди них больше всего меня поражал козловой кран. В детские времена гигантская стальная конструкция на четырёх опорах напоминала злого угловатого эрдельтерьера (о собаках этой породы я читал статью в «Юном натуралисте»), подбежавшего к забору и недобро глядящего на проезжающие мимо автобусы, трамваи и легковушки.

— Вот, Виталик, это козловой кран, — говорил папа едва ли не всякий раз, когда мы проезжали мимо. Теплота, смягчавшая дидактическую интонацию его голоса, была адресована не только мне, но и сооружению, на которое я, задрвав свою тяжёлую, похожую на каштан голову, глядел через окно везущего меня домой автобуса. Отцу «собака» не казалась злой. Наоборот, он восторгался мощью и разумным устройством подъёмной машины искренно, как рабочие и инженеры, действующие в романах Андрея Платонова. С краном и прочими доступными нашему взгляду заводскими сооружениями, отец чувствовал некоторое родство, хотя и работал на другом, не видимом из окна автобуса, участке комбината, обслуживая агрегаты, относящиеся к совершенно иным технологическим семействам.

У папы была врождённая любовь к механизмам, которая привела его на завод — место наивысшей концентрации машинной жизни. Оказавшись в рельсобалочном цехе, он вступил в многолетнюю интимную связь с холодильной машиной. Папа лучше других узнал её характер и был снисходителен к капризам, которые нередко выдёргивали его из ночной лубережной постели. Вероятно, эти нервные отношения и подорвали его здоровье, крах которого пришёлся на поздний период моего отрочества. Другая машина — его собственное тело — оказалась слишком ревнивой особой и жестоко отомстила за служебный роман на стороне прогрессирующей катарактой и массовым выпадением зубов.

Акция явно носила устрашающий характер. Испугался даже я. Скользящие слова, исторгаемые опустевшим отцовским ртом, вызывали не-

преодолимый ужас и отвращение. Бог детства лишился логоса, и был повергнут. Я же, наблюдая за папиным низвержением, безумно стыдился своей брезгливости. Но ещё более удручала моя неспособность вызвать в себе сострадание. После нескольких безуспешных попыток мне пришлось добавить и этот недостаток к обширному перечню своих личностных изъянов, который добросовестно формировался мною с детского сада и регулярно бывал подвергнут мучительному внутреннему смотру. Я не стал говорить о своей бесчувственности ни с кем из родных, хотя и не верил, что мне удастся её скрыть. Со временем они должны были понять, что, как сын я никуда не гоюсь. Мне оставалось лишь оттягивать наступление момента, когда я буду предан анафеме и навсегда изгнан из племени.

Меж тем, через несколько недель отцовская способность вызывать предметы из небытия была восстановлена стоматологами. По поводу своей искусственной челюсти папа отпускал хоть и не слишком удачные, но, по крайней мере, весёлые шутки. Иногда он забывал свой заново обретенный логос на раковине, невольно провоцируя во мне очередной приступ сыновней тошноты и неизменное чувство вины. В целом, папа держался неплохо, как мне казалось. Но впереди маячила операция по установке искусственного хрусталика, поэтому, дождавшись удобного случая, он попросил у благоволившего ему начальника отдела кадров Куркчи А.Г. перевода на окраину производства и, таким образом, очутился в учебном центре комбината, тихие кабинеты которого, затенённые тяжёлыми пыльными шторами и завешанные наглядными пособиями для слесарей, стали местом, где отец добирал оставшиеся до пенсии годы стажа. Разумеется, после холодильной машины, новое соитие с крупным индустриальным механизмом для папы было уже невозможным — настоящая любовь случается только раз в жизни. Однако он и не думал впадать в уныние, утешаясь ремонтом водопроводных кранов, сочленением поливочных шлангов на даче и непрекращающимся работами по усилению входных дверей. Регулярный просмотр криминальных передач по телевизору стимулировал отца к созданию всё более усложнённых запирающих систем с подстраховочными замками и засовами на пружинках, направленными против изошрённых домовников, а также к прокладке тайных тросиков с петельками, с помощью которых незадачливые домохозяды могли воссоединиться с жилплощадью даже в случае потери всех имеющихся наборов ключей.

Папа любил механизмы большие и маленькие. Мне же, судя по всему, была уготована судьба технического импотента. Разумеется, я хотел часики и машинку, но всякое устройство, превосходившее моё тело размерами и массой, вызывало у меня тревогу и беспомощность. Тайком от папы я боялся козлового крана. Разумеется, шансы, что он меня съест, были невелики. К тому же, как мне стало известно позже, кран питался исключительно выпускниками ПТУ, да и то не всеми. Я же собирался окончить десять классов и поступить в институт. Но даже спустя несколько лет после успешного дипломирования, выходя в какой-нибудь цех, начинённый громкими, горячими стальными машинами, я чувствовал себя мягким и нежным моллюском, потерявшим свою ракушку на многолюдном пляже.

КОКОНЫ

Появление козлового крана слева по борту означало скорое приближение к мосту. На этом участке дороги у меня не было других ориентиров. Всякий раз перед тем, как попасть в Город, приходилось долго и томительно ехать вдоль заводского забора, серая бетонная лента которого была разорвана в трёх или четырёх местах. Автобус останавливался напротив этих разрывов, чтобы выпустить наружу озбоченных темнолицых рабочих, которые опасливо перебежав скоростную трассу, со вздохом ныряли в нутро «Азовметалла».

Почти все автобусные остановки в этом районе имели производственные названия — «Коксовая», «Маркохим»... Но даже познакомившись с технологическим процессом в данной части комбината, я не мог запомнить их полный список и порядок следования. Однообразные виды по обе стороны дороги и монотонные завывания перегруженного двигателя явно этому противились. Похоже, в коридоре между забором и пыльными камышами, скрывающими задыхающуюся астматическую реку, существовало какое-то мощное поле, которое сминало все мои внутренние ментальные структуры, выстраивая их вдоль собственных силовых линий.

Быстро оставив попытки что либо запомнить, я на десять минут падал в кокон ожидания, сплетённый из скучных пассажирских разговоров и проклеенный изнутри тягучими мыслями о предстоящей работе. Лишь иногда, какая-то внутренняя судорога заставляла меня оглядеться, и я обнаруживал вокруг такие же человекообразные, плотные коконы, в глубине которых созревали для дневного труда куколки электриков, слесарей и инженеров. Большинство из них сохраняло неподвижность до самых центральных проходных. Это был главный заводской вход и последняя остановка автобуса на Левом.

Мне все время думалось, что козловой кран высматриваю только я, в то время как более опытные коконы чувствуют приближение моста и проходных нутром, подобно животным, о которых пишут в газетах, будто они способны заранее знать о крупных землетрясениях. Разумеется, нутро годилось не только для предсказания катастроф и автобусных остановок, обнаруживая свою пользу и в других ситуациях, однако у меня не было устойчивой связи с этим волшебным бытийным гироскопом.

Жизнь всегда казалась мне пугающей и сложной загадкой. Не имея универсального на неё ответа, я изобретал психологическую утварь для каждого нового случая, и годам к двадцати пяти чувствовал себя тесной кладовкой, доверху наполненной подставками, подпорками, держакками, щупами, подстилками, щитками, колпаками, масками, трещотками, мышеловками и прочими вспомогательными снастями. Разумеется, все эти трусливо запасённые приспособления были нелепы, жалки и перед лицом судьбоносных случайностей нисколько меня не оснащали. Пребывая внутри кокона, я часто размышлял о своей неспособности ловко и складно жить, а неизбывная горечь, вырабатываемая при этом, мешала моей личности за время поездки приобрести ту цельность, без которой невозможен любой самозабвенный (и необязательно радостный) труд.

В соседних коконах, похоже, всё было в порядке. Созревание трудящихся шло с опережением графика, и шествующий по салону автобуса невидимый размотчик, выборочно освобождал от нитей оцепенения тех, кто, по его мнению, был уже готов покинуть инкубатор. За полкилометра до центральных проходных пассажирская масса нетерпеливо шевелилась. Жаркие створки кустистых подмышек выпускали наружу тяжёлые кислые запахи поживших тел, приоткрытые рты анонсировали сигареты, которые будут выкурены сразу же после выхода наружу, а между ног толстыми хищными рыбами сновали чьи-то сердитые икры.

Мне ни разу не довелось ощутить касание размотчика. Для него я всегда был полусырым. Я и сам себя таким чувствовал и, тем не менее, каждый день вываливался из автобуса, чтобы вместе со всеми войти в тело заводне. Впрочем, субботнее утро освобождало меня от этой обязанности. Сегодня я собирался проехать через мост.

МАЛЕНЬКИЙ СУББОТНИЙ АВТОБУС

В свои двадцать девять я не водил машину и не думал, что когда-нибудь буду это делать. Желание автомобиля, присущее всякому правильному мужчине, не беспокоило мою герметичную и робкую душу. Впрочем, это не мешало мне претендовать на удовольствие, возникающее от быстрого перемещения в пространстве на небольшой высоте и в удобной позе. Я любил маленькие субботние автобусы.

Лучшие из этих машин имели номера «112», «153» и «157» и ехали через центр города в первой половине дня. Однако не слишком рано. Хорошая поездка отрицала телесную вялость и беспокойство, порождаемые насильственным подъёмом с постели. Если мне удавалось выспаться, я входил в субботний автобус, как тайный гурман, навещающий известное лишь ему и немногим осведомлённым товарищам, тончайшее заведение.

В будни заведение притворялось забегаловкой. Многорукая и неразборчивая толпа, наполнявшая серыми днями его интерьеры, не умела оценить вкус езды: давилась у дверей, нервно терзала дерматиновые стейки сидений, беспорядочно хваталась за скользкие приборы поручней и торопилась выйти. Подчиняясь общему настроению, водитель без радости, одну за одной, делал резкие грубые остановки, похожие друг на друга, как пресные уличные хот-доги.

По выходным с пяти до семи утра автобус ходил на привокзальный буфет. Здесь коротали время молчаливые неулыбчивые дачники в ожидании переброски на свои загородные участки. Возраст заставлял их ценить сидячую позу тела. Других наслаждений от автобуса они не ждали, да и сами выглядели отнюдь не празднично. Как правило, овощепоклонники носили застиранную вылинявшую одежду, держали между ног большое ведро и к подорожным пейзажам относились равнодушно. Цвет мешковины был им всего предпочтительней. Субботний Город они не любили. Даже его центральный район, казавшийся мне гигантским кремовым тортом, порезанным на куски сеткой улиц, район, состоящий из невысоких старинных домов, обтянутых кондитерской мастикой лепнин, похоже, аппетита у них не вызывал. Сладкое дачникам не нравилось. Взбитым белкам городских удовольствий они предпочитали крахмальную тяжесть картофеля.

Те, кто позаносчивее, наверняка воображали себя Диоклетианом (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, 245–313), оставившим имперский престол ради выращивания капусты. На самом же деле, это дачники были отвергнуты «Римом». Сначала, в середине 1980-х, на них перестало хватать продуктов. Лет через десять Город не давал им уже практически ничего. Всё доставалось деловым, амбициозным, активным или просто молодым.

Новые любимчики Города составляли большую часть пассажиров вечернего автобуса, салон которого был неравномерно наполнен, похожим на жёлтую вату электрическим светом и праздничной смесью запахов алкоголя и духов. Кто-то вез себе, добытую на «Фикусе», новую девушку, твёрдо прихватив её чуть выше локтя за белую мякоть руки. Кто-то удовлетворённо улыбался, прокручивая в уме повторы лучших моментов, случившихся с ним в пьяной компании на лавочке возле Драмтеатра. Впрочем, были и те, чей вечерний промысел оказался не особенно удачен. До наступления ночи оставались считанные часы и мелкие хищники, чувствовавшие себя в чём-то обделёнными, искали во внешнем мире последней возможности добиться положительного суточного баланса.

Самых опасных среди них отличал липкий блуждающий взгляд и выставленные в проход, полные невозмутимости твёрдые колени, с помощью которых они по видимости старались захватить как можно больше пространства. Колени лениво и величественно покачивались соответственно дорожным неровностям и проявляли гипнотические свойства. Я знал, стоит хотя бы ненадолго остановить внимание на этих колышущихся узловатых суставах, обволоченных спортивными штанами или дешёвой джинсой, и тебя тут же начнут ощупывать не по-доброму отзывчивые глаза их владельца.

Я никак не мог привыкнуть к этим грубым, бесцеремонным прикосновениям. Двадцать девять лет непрерывного жизненного стажа в городе металлургов совсем меня не закалили, поскольку всё это время я, как мог, избегал любых контактов с той невидимой сущностью, которую с бездумным уважением принято называть суровым характером простого рабочего люда. Пожалуй, среда, в которую я был инкарнирован 22 ноября 1975 года, могла бы сделать из меня достойного и жизнеспособного мужчину, но видимо, я в какой-то незапамятный момент своей ранней жизни высокомерно отклонил эту возможность и теперь, каждый раз при встрече с более добросовестными её воспитанниками расплачивался приступами позорного страха. Разумеется, удовольствия от вечерней езды это не добавляло. Большинство хороших автобусов случалось со мной в субботу утром.

Где-то между девятью и одиннадцатью общественный транспорт был уже свободен от дачников. К этому времени они успевали окончательно отречься от города, переодевшись в ещё более ужасные платья и исполнив ритуал разматывания грязного тяжёлого шланга. Вероятность встречи с обманутыми гопниками также была минимальной. По моим представлениям, в эти часы они наверняка ещё спали в далёких северных логовах, безучастно вдыхая миазмы своих интоксигированных вчерашним алкоголем тел. Идеальный пассажир утреннего автобуса вставал бодрым,

принимал душ, неторопливо завтракал и выходил на улицу, надеясь на те самые «удачные выходные», которых желают друг другу в пятницу люди, устроившиеся на более менее сносную работу.

«В некотором смысле жизнь — это компьютерная игра, герои которой каждое утро автоматически получают равные запасы «здоровья» и «магии», — размышлял я довольно патетично («Почему нет? Меня, ведь, никто не слышит. К тому же я не буду долго...»). — Конечно, сделав несколько глупых ходов, можно растратить большую часть «здоровья» уже к обеду. Что уж говорить о такой летучей субстанции, как «магия»...».

И, действительно, в середине дня плохие игроки выглядели разочарованными и уставшими. Лица женщин становились капризными, мужские — тяжёлыми. Тела утрачивали стройность, оплывали как свечи нервным тяжёлым потом, который увлажнял одежду в местах её плотного прилегания. Впрочем, утреннего автобуса это не касалось. И многочисленные неудачники, и редкие мастера между девятью и одиннадцатью выглядели здесь одинаково свежо.

Больше всего мне нравились небольшие семиметровые машины малого класса — пухлые большеглазые «ПАЗики» базовой модификации 3205. Чуть меньше — жёлтые подслеповатые «Богданы». Обычно я подкарауливал их на пересечении Победы и Таганрогской. Всегда садился возле окна (благо свободных мест было достаточно) и, расплатившись с кондуктором, на место которого, в соответствии с цеховыми стандартами брали некрасивых потрёпанных женщин в лосинах, немедленно начинал упиваться оставшейся снаружи реальностью. Автобус погружался в неё словно батискаф Жака Ива Кусто, исследующий морские глубины.

Моя экспедиция занимала не более тридцати минут, необходимых для того, чтобы добраться до центра. Всё это время я наслаждался чувством абсолютной безопасности, поскольку с детства уверовал, что с автобусом, как с машиной Бэтмана, никогда не случается аварий. Изредка мелькавшие за окном невыспавшиеся хмурые чудовища в человеческом облики также не вызывали страха. Могучий двигатель быстро уносил меня прочь от любых неприятностей. Попадая под автобусное стекло, город переставал быть злым муравейником, превращаясь в необозримый эстетический объект. Разумеется, препарирование выхолащивало из него энергию жизни, и за недостающими эмоциями мое внимание периодически возвращалось внутрь салона.

Мне нравилось смотреть на субботних пассажиров, хотя я и не считал себя любителем подмечать детали. Думаю, главное удовольствие возникало от сочетания близости и контроля. Посадочные места не позволяли людям свободно перемещаться, и я мог без чувства неловкости быть среди них — подслушивать обрывки разговоров, ощущать тонкие запахи, случайно касаться чужого тела и заглядывать какой-нибудь симпатичной девушке за ушко.

Приятные наблюдения, из которых состояло моё пребывание в субботнем автобусе, можно было разделить на два описанных выше уровня. Впрочем, ни на одном из них в этот раз я не задержался надолго, сразу же нырнув внутрь себя. Здесь было совсем уютно.

ПИРАМИДА

Паштет «Французский».

6,09.

На два раза хватит.

(В четверг

куплю две сосиски.

Надо чередовать, как я решил).

Сметана.

«Белая линия». Не в этот раз.

Сегодня вечер «Президента»

15 % жирности — четыре пятьдесят две.

Хлеб есть.

Каша есть.

Вот он ужин.

Теперь — молоко на утро.

Пол-литра. Не литр.

Надо держаться

в пределах.

50 грн.

А стремиться — к 30...35.

Впрочем, сегодня не выйдет.

Потому что сегодня я ел

Экстра-мо-ло-чный «Рошен».

Прошу заметить «с дроблеными» (не «тёртыми»), орехами.

Потому и — 8,84. А не — 8,04.

Но оно того стоит.

Зелёный чай.

Пора пополнить.

Лучше завтра. Пачка потянет на гривен 13.

К тому же, в столовой оставил 15,50.

Меньше обычного — «сочник» решил не брать
(ограничился «кольцом»), но все же.

Я помню всегда:

Мне надо держаться в пределах 50,

А стремиться к 30...35.

.

5 грн., отданные в долг Бурлаковой,

Покупают общественное признание.

Два пятьдесят — дорогу домой.

Я дома. В зоне бесплатного.

Медитация (40 мин 35 сек) питает духовность.

Мастурбация скрашивает одиночество.

Я заканчиваю в половине второго ночи.

Сдаю объект.

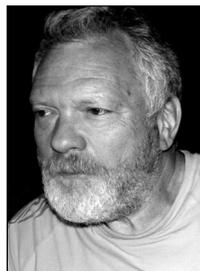
С трудом засыпаю под смех Маслоу.

Завтра.

Снова буду строить его пирамиду.

Гигорий БРАЙНИН

/ Донецк /



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мой путь назад — оптический обман:
и пение сирен, и ветер в вантах,
Итака, горизонт, и царский сан,
и этот пульс в висках, как стук пуантов.

И это не балет... Вот вновь река и берег.
Твой поцелуй вибрирует во мне.
Его сберечь нельзя. Повторами проверить —
опять нельзя. Дрожит лишь тень на дне.

На дне чего, скажи, — души, ума, пространства,
где память прячется в светящихся сосудах?
И снова целый мир с собачьим постоянством
целует сам себя в течение суток.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Синие тучи, темные тучи, светлые тучи.
В медное море тянется с неба солнечный лучик,
режущий лучик белого света с темного неба,
светлого неба, синего неба, теплого хлеба.

То ли ко мне возвращаются краски черного моря,
то ли в крови пульсируют волны счастья и горя,
то ли в мой мозг проникает с небес темная круча,
то ли мой хлеб преломили со мной годы и случай.

Месяц — не май, голод — не тетка, сердце — не камень,
темные волны, белая степь, пыль под ногами...
Видю: бредешь по воде наших дней, словно апостол,
темные ночи, светлые дни — поза и поступь.

Кто ты, скажи мне, контур твой темен, взор же твой светел.
 Как ты красив, путник судьбы моей, что ж ты не весел?
 Кто огорчил тебя, брат моих дней, тень моей ночи —
 темные тучи, светлые тучи, писем ли почерк?

Может быть, волн боевые стада — общие цели?
 Может быть, ветра сладкое «Да» — хлеба и зрелищ?
 Древних ристалищ плечи и торс, ремни сандалий?
 В темном сандале твоих волос — жизнь на привале?

Как ты прекрасен, спутник мечты, звездочка с неба.
 Где же ты спишь, чтоб тебя не нашли, где бы я ни был?
 Медное море, светлая высь — пей до отвала.
 Ах, поцелуй меня, моя жизнь, как целовала!

КАРАДАГ

Он остался лежать на спине, как краб,
 не узнавший успеха
 в драке. Оцепенел, как железный скрап
 корабля или доспехов.

Он остался лежать корневищем вверх
 окоемом инферно,
 словно рыба поставив вес
 на ребро. И одним неверным

движением, казалось, вызовешь камнепад
 и откроется сзади
 вид на горы, как строчка Упанишад,
 и сидящий внизу в засаде.

А ты сидишь — виски в коленях —
 курортная дура
 и ищешь в моем солнечном сплетении
 яшму в цвет маникюра...

КАРАДАГ II

I

Световые лучи огибают преграды из скал.
 Отраженья и тени пугают нездешней свободой.
 В темных складках материи спит первобытный оскал
 и зовет за собой в аскетический мир непогоды.

Он остался стоять корневищем, проросшим сквозь клей первобытных камней. Он — застывший фонтан плиоцена. Камень шел против камня, и в этом походе камней смерть сразилась со смертью, и обе лежат на арене.

Друзы пота сверкают в зазорах их каменных тел, яшмы мышц, и агаты зубов, и кальциты скелетов. Кто коснулся их раньше, конечно, окаменел. Это каменный гость Дон Хуана, а может, разбойник Иван, это памятник камню, горбатой судьбы караван, эхо вечных вопросов и вечное эхо ответов...

II

Чтобы здесь утвердиться, нужна исполинская власть. Нужно школу Магриба пройти или книгу читать Аль Азиф, или к римской волчицы сосцам первородным припасть, или смерть удержать на цепи, как коринфский Сизиф.

Лабиринт вавилонских развалин пройти по мосту, или в тайных пещерах Мемфиса огонь отыскать. Это сказочный город колонн, это дверь в пустоту, островок Заратустры, где только костры разжигать.

Где Дагон пучеглазый вздыхает в расселинах шхер, может, рыба, а может — лягушка, а может — дракон, где шогготы снесут протоплазму из темных пещер в этот хаос ползучий, в котором не писан закон.

Это Сет или Тот смог одеться в любую из форм, чтобы точку найти, где расходятся тело и дух, чтоб исчезнуть, как вор, и пройти заградительный форт, и проникнуть в Ирам, и спуститься с моста в пустоту.

Повторенья судьбы угрожают налетами гарпий, Так Лаура зрит в зеркале время, текущее в ней. Это след от улитки, сползающей с ногтя Петрарки, продолжает свой путь по границе воды и камней...

III

Мы пришли к нему ночью. Как призрак, он вышел навстречу и, чернея как туча, сгустился во тьме. Отражения звезд в море стоят, как свечи, и готический абрис его в островерхой кайме.

Мы стоим перед ним. Мачты маятник, где бы ни был,
от Медведицы к Кассиопее прочертит путь.
Опрокинувшись на спину, в море купается небо,
то тягуче, как мед, то дробится в воде, как ртуть.

IV

Мы потом возвращались в то место, где солнце зашло,
и еще далеко до его появления с Востока.
Только рыбы прибое о темное бьются стекло,
догоняя друг друга в светящихся струях потока.

Только всплески хвостов на поверхности пенят среду,
под которой несутся во тьме мускулистые стаи.
Можно только представить незримую их красоту
в затвердевших моделях их тел из стекла или стали.

Мы летим над водой. В небесах виден каждый карат.
Ты в ту ночь аномально магнитна для зренья, как тир.
Но космический ветер уносит твой образ, как эхо в горах,
и ловить бесполезно, как солнечный зайчик в горсти.

Вот и все. Нужен проигрыш. Слышно ударник и тему.
С контрабаса слетают летучие мыши басов.
За спиной Карадаг нависает над прошлым, как демон —
черный бархат пустот, оболочки несбывшихся снов...

* * *

Сверху след от самолета прорезает пустоту,
снизу светлый след его же отражается в воде.
А на западе сгорает солнце краешками туч,
день к окраинам клонится, собираясь в прошлом. Ты
изменяешься не быстро, погружаясь в темноту.
Нет следа от самолета, отраженья — тоже нет,
солнце село. Ты — все та же,
дышишь рядом. Время все же
не совсем прямолинейно,
огибая незаметно то, что длиться может вечно,
даже после конца света в наступившей темноте...

* * *

Стоит июль. Сияют небеса.
Ночь серебром просвечивает листья.
Мы рядом на скамейке. В этом смысле —
такая в нашей жизни полоса.

На небе заменяют облака,
когда они с тобой соприкоснутся.
И я боюсь, что можно не проснуться,
когда в руке лежит твоя рука.

Забудем все. Оставим лишь пустяк,
чуть шевелящийся, как летняя прохлада,
и ты мне скажешь: «Ничего не надо,
мы посидим немного просто так».

Ты потерпи. Целебна летом ночь.
Я вспомню Крым в обнимку с Черным морем.
Мы рядом здесь. Мы ни о чем не спорим.
Все позади, и время мчится прочь...

В АВТОБУСЕ

Луна, привязанная к нам,
плывет за нами по пятам,
и неподвижные, как своды,
деревья спят по сторонам.

Твой профиль, спрятанный во мне,
был виден также на окне,
и за стеклом по небосводу
он плыл, привязанный к луне.

Природа, лежа за окном,
была объята общим сном.
Селенья плыли в сером хламе,
как будто лодки кверху дном.

Как лента с рваными краями,
плыл Старый Крым в оконной раме,
и небо двигалось за нами,
как будто за улиткой дом.

* * *

Ты стоишь за окном,
за которым мы вместе стоим,
и глядишь в ПУСТОТУ,
куда ты опустила меня,
и я вижу, как я,
уподобившись первым двоим,
отражаюсь в окне,
как другие подробности дня.

Я стою под дождем,
искажаясь в оконном стекле,
и смотрю на окно,
под которым стою под дождем,
я гляжу, как стекает вода
по стеклу наших лет,
затекая в окно,
где мы больше друг друга не ждем.

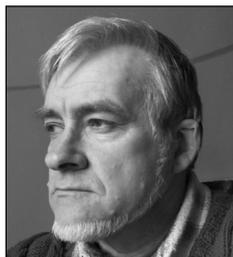
Я гляжу сквозь тебя —
ты сегодня прозрачней стекла,
я гляжу на себя
сквозь твое отраженье в стекле.
Ты, как струйка дождя,
Что, дрожа, по стеклу потекла,
искривила пространство,
оставив невидимый след.

Ты стоишь у окна,
дождь стоит, как стена за стеклом.
Ты стоишь у стены —
чуть заметней стекла под водой.
Мимо капли летят
и сквозь стену летят напролом.
Дождь идет за стеклом,
он идет по воде, как святой.

Ах, не плачь, моя жизнь.
Мы почти научились летать.
Мы, как стая из теней,
летаем под стаяй из птиц.
Но опять в этой схеме
забыли такую деталь,
без которой сольются с пейзажем
черты наших лиц...

Николай ФОМЕНКО

/ Донецк /



ПЕТРОВИЧ

На втором этаже в большом вестибюле шёл Новогодний утренник. Дед Мороз и Снегурочка так кричали, что их голоса были слышны даже в подвале. Можно было подумать, что наверху ремонт и бригадир о чём-то спорит с маляршой. Но Петрович в столярке знал о детском утреннике. Он устанавливал ёлку и теперь переживал, чтобы она ненароком не свалилась. Петрович постарался надёжно закрепить её, однако он был мнительный, и каждый год ему казалось, что в самый ответственный момент ёлка упадёт, побьются игрушки и, не дай бог, привалит какого-нибудь малыша; самого маленького, самого щупленького, бледненького, с большими голубыми глазами, как у убиенного царевича Дмитрия на картине Глазунова. Репродукция висела в столярке левее пучка чёрной паутины и правее старой лучковой пилы. В мастерской была ещё одна репродукция Глазунова с изображением выдающихся личностей русской истории. Она висела левее лучковой пилы и правее железного шкафа, в котором хранилось столько всего, что Петрович и сам не знал, что у него там. Из содержимого шкафа он пользовался немногим, и чаще всего несколькими стаканами. Репродукции перекочевали к нему из мастерской художника. Они были наклеены на фанеру. Фанера выгнулась, и о Глазунове уже все забыли. Поэтому художник решил репродукции выбросить. Перед тем, как что-то выбрасывать, интересовались мнением Петровича — не пригодится ли вещь ему в работе или просто так. Репродукции пригодились просто так. Всё-таки, человеческие лица. Нехорошо, если они будут лежать среди мусора.

С Дедом Морозом Петрович не дружил. Конкретно с этим Дедом Морозом. Дед Мороз был лет на тридцать моложе Петровича. Но как раз это не имело значения. Дед Мороз числился во дворце культуры методистом и относился по штату к работникам культуры, а Петрович был столяр, технический персонал, работник другого ранга. А ещё Петрович выпивал. Дед Мороз делал ему замечания и однажды хотел вызвать кого-то, то ли скорую, то ли милицию и засвидетельствовать опьянение на рабочем месте. Как после такого дружить? Ты кто такой, директор, что ли!

Другое дело звукооператор по прозвищу «старик». Звукооператор имел привычку говорить: «Послушай, старик». По отношению к Петровичу звучало уместно. «Послушай, старик, а не взять ли нам с тобой бутылочку коньяка». Под названием «коньяк» в магазинах продавали сорокаградусное спиртное коричневого цвета с запахом ванили и вкусом жжёного сахара, и по цене на треть дороже обычной водки. «Не взять ли нам» — не означало, что надо скидываться. С Петровича никто денег не брал, хотя они у него иногда бывали.

Сегодня в вестибюле три утренника: в десять, в половине двенадцатого и в час. Петрович помог звукооператору поставить аппаратуру — два чёрных тяжёлых ящика. Звукооператор дал денег на коньяк и успел перед первым утренником спуститься к Петровичу и выпить сто грамм. Над столом висела припиленная к стенке сосновая ветка. Она была свежей и пахла хвойным лесом. К запаху хвои примешивался запах почищенного мандарина и коньяка, и все эти запахи создавали праздничное настроение и ожидание какой-то обязательной радости.

Звукооператор ушёл наверх, а Петрович приоткрыл маленькое оконце и закурил. В окно было видно серое небо и слышно, как цокают в мокрый снег падающие с крыши тяжёлые капли. Перед Новым годом наступила оттепель. Петрович вспомнил о промокших ботинках. Кроме железного шкафа в комнате был ещё узкий фанерный, вместо вешалки. Петрович прятал в него от пыли куртку и старую кроличью шапку. Там же стояли мокрые ботинки. Он взял их и прислонил подошвой к батарее. Потом закрыл окно. В комнате стало тихо. Помигивала на потолке большая неоновая лампа. Сверху доносился едва различимый гул, как будто гроза, ушедшая далеко за горизонт. Петрович посмотрел на круглые настенные часы на батарейках. Немного побеспокоился о ёлке, но коньяк не дал развиваться неприятному чувству, за что он ему и нравился. На верстаке, припорошенном опилками, была стопка потрёпанных списанных библиотечных книг. Петрович надел очки, перебрал стопку. Все книжки о военных подвигах. Одна так и называлась: «Подвиг разведчика». Петрович сел в кресло и стал читать о подвиге разведчика.

Наверху закричал Дед Мороз, потом Снегурочка. И они что-то кричали и кричали неразборчивое, словно ругались между собой. Потом поднялся визг детворы, глухо звучала музыка, опять кричали Дед Мороз и Снегурочка, и опять детвора визжала, как резанная. Затихло, и только часто хлопала тяжёлая входная дверь.

В мастерскую ворвался звукооператор. Он потёр руки:

— Наливай.

Петрович с готовностью отложил «Подвиг разведчика», повернулся к железному шкафу и выставил на стол стаканы и начаты коньяк. На газете лежал разломленный на дольки большой мандарин.

— Как ты думаешь, к Новому году растает? — спросил звукооператор.

— Обязательно.

— Не хотелось бы.

— Какая разница, — сказал Петрович.

— Как какая — ты что, Новый год!

— Скользко, — сказал Петрович.

— Я люблю Новый год, — сказал звукооператор. — Да ещё, если со снегом. Разве плохо?

— В Кандагаре снега хотелось.

— Что? — прослушал звукооператор. Он разглядывал коньячную этикетку.

— Говорю, конечно, хорошо.

— Ну, за Новый год! — сказал звукооператор.

— За него!

— Я побежал.

— Что там, всё нормально?

— Нормально. — Звукооператор бросил в рот дольку мандарина и ушёл на второй утренник.

Стало совсем хорошо. Голоса Деда Мороза и Снегурочки звучали не со второго этажа, а с неба, словно Дед Мороз и в самом деле мчался по небу на белоснежных конях, запряжённых в посеребренные сани.

— Новый год, — буркнул Петрович, — кто ж его не любит.

Он снова взялся за книжку, покурил возле приоткрытого окна. Капли хлопали, как отпущенная резинка и шипела снежная жижа под колёсами машин.

Прибежал звукооператор.

— С нашего Деда Мороза можно уржаться. Откуда он взял это «опля»? Стучит посохом и кричит «опля», как в цирке. Мы со смеху катимся. Ну, наливай.

Петрович налил.

— За Новый год!

— За Новый год!

— Почему ты внуков своих не приведёшь? — спросил звукооператор.

— Куда?

— На утренник.

— Мои внуки уже большие.

— Сколько младшему?

— Двенадцать.

— Ну, чего — двенадцать, ещё можно.

Петрович махнул рукой:

— Дедом Морозом его давно не удивишь.

— Давай ещё по одной, — сказал звукооператор, — да я побегу.

Петрович поднял бутылку на уровень глаз. Коньяк заканчивался.

Звукооператор понял Петровича:

— Нет, всё, — сказал он. — У меня в три часа халтура.

Петрович налил. Достал из шкафа ещё один мандарин.

— Не начинай, — сказал звукооператор, но Петрович уже воткнул жёлтый ноготь в мягкую кожуру.

— Помню, раньше мандарины были маленькие, — сказал он.

— И сейчас есть маленькие, — сказал звукооператор. — Абхазские.

— А это какие?

— Чёрт их знает.

- У тех запах был лучше.
- Эти тоже пахнут.
- Не так, — сказал Петрович, понюхав свои пальцы. — За Новый год!
- За Новый год.
- Зайдёшь ещё? — спросил Петрович.
- Не знаю. У меня в три халтура.

Вестибюль вверху уже наполнился гулом. Звукооператор ушёл к своему пульту. Петрович спрятал пустую бутылку в шкаф. Она звякнула там о другие пустые бутылки. Стало грустно, и хотелось продолжения. Петрович курил и придумывал варианты. Можно выпить с завхозом, но с нею надо и начинать, а так Катька откажется. Скажет — сразу меня не позвали. Баба с характером.

В ушах раздался какой-то звук. Глухой и давящий. Такого звука не было ни во время первого утренника, ни во время второго. Петрович забеспокоился. Вспомнил про ёлку, и ноги как-то ослабли, так что едва не подогнулись в коленках. Упала, подумал Петрович и, волнуясь, пошёл наверх. Сразу за дверью начиналась лестница, которая выходила в боковой коридор первого этажа. Петрович остановился в коридоре. Куда-то подевались все его силы. Он постоял и пошёл дальше. Поднялся ещё по одной лестнице навстречу детскому крику. Кричали дети оглушительно. В высоком полукруглом потолке крик скапливался и потом обрушивался вниз, наталкиваясь на новые крики, как волны прибоя. Над головами Петрович сразу увидел ёлку. Ему показалось, что она наклонилась. Он пошёл к ёлке, как старый буксир, шатаясь на зыбкой воде, и чем ближе подходил к ней, тем наклонней она становилась. Петрович, аккуратно расталкивая детвору, бросился к ёлке. На ней горели огни. Вокруг Деда Мороза и Снегурочки выстроились школьники. Родители фотографировали детей на фоне ёлки.

— Ты чего, Петрович? — услышал он голос звукооператора. Звукооператор обнял его за плечи.

— Падает.

— Кто?

— Ёлка падает, — Петрович протянул руки, чтобы удержать ёлку.

— Петрович, пойдём отсюда. — Звукооператор взял его под локоть и повёл к лестнице. Спустился с ним на первый этаж и завёл в коридор. — Ты чего, Петрович? — Петрович смотрел непонимающе. — Иди к себе. Дойдёшь?

— Дойду.

Держась за стенку, Петрович спустился в столярку. Сел в грязное кресло, посидел. Потом поднялся и подошёл к двери. Возле двери на стене висел фанерный синий ящичек с красным крестом. Он открыл его. В ящичке был флакон зелёнки, такой старый, что даже через резиновую пробку зелёнка выдохлась. Осталось на дне что-то почти чёрное. Ещё там был бинт в грязной упаковке и пожелтевшая пластинка каких-то таблеток. Петрович закрыл ящичек и возвратился в кресло. Грудь жгло, как горчичником, и кружилась голова. Петрович достал мобильный телефон.

— Николка, внучок, заberi меня отсюда, — он опустил руку с мобильным телефоном и закрыл глаза.

Свет в окне посинел. Наступили сумерки. В столярку вошёл молодой человек в короткой куртке и джинсах.

— Дед, что случилось?

Петрович пошевелился.

— Ты опять! — сказал молодой человек.

— Николка, Новый год.

— Какой тебе Новый год!

Молодой человек помог Петровичу подняться, надел на него куртку и кроличью шапку, прихлопнув её на макушке ладонью.

— Ботинки, — сказал Петрович. — Переобуться.

Молодой человек посмотрел на ботинки, стоявшие у батареи, подумал и махнул рукой:

— Пойдём так, я на машине.

СМЫСЛ

Чмырёв сидел на диване, раскинув руки. Свет в комнате был такой бледный, что на паласе не видно ни крошек, ни пятен. Днём, когда на пол падал солнечный квадрат, крошки были и клубились в воздухе миллионы пылинок, как живые. А теперь всё было жёлтым и неподвижным. Чмырёв толкнул диванную подушку — она перевернулась и замерла. Он потянулся к телефону. Набрал номер.

— Николай Никифорович, здравствуйте. Я что хочу сказать: вы знаете, что Вера умерла?

— Как умерла? — сказали в трубке.

— Так, умерла.

— Когда?

— Двадцать второго февраля.

— Почему же мы ничего не знали? Почему нам никто ничего не сказал?

— Сами поймите, как это. Всё вылетает из головы.

— Двадцать второго. Это же два месяца назад.

— Пожаловалась вечером, что болит бок. Но-шпа не помогает. Вызвала скорую, отвезли в больницу...

Чмырёв рассказывал эту историю много раз. Неожиданно захотелось рассказать ещё. Вспомнил о Давыденко. Когда Чмырёв говорил: «заболело в боку, вызвали скорую», Вера была ещё живой. Он не догадывался, что потребность рассказывать об этом в том и состояла, что тогда она была ещё живой. Свой рассказ Чмырёв тем и заканчивал, что под капельницей она умерла. Что было потом, он не говорил. Что было потом — было без неё.

— У Веры повышенный сахар, а ей поставили капельницу на глюкозе. Может, боль сама бы прошла. Камни в почках — это же не смертельно.

— Как же так? Я ничего не знал.

— Вот так. Теперь я один. Приводят иногда ко мне внука.

— Оля, Вера Чмырёва умерла. Когда? — услышалось в трубке.

— Помяните как-нибудь, — сказал Чмырёв.

— Конечно, конечно.

— Чмырёв немного подумал и набрал другой номер.

— Валентина Петровна, здравствуйте. Вы знаете, что Вера умерла?

— Да, какое несчастье, примите мои соболезнования. Мне как сказала — я места себе не находила. Надо же — ещё молодая.

— Ну, не такая уж и молодая.

— Сильно болела?

— Как вам сказать. Заболел бок. И болит, и болит. Но-шпа не помогает. Дело к вечеру. Вызвали скорую. Положили в больницу. Навыписывали лекарств гривен на триста. Пока я бегал по аптекам, она умерла. Ей капельницу поставили на глюкозе, а у Веры сахар.

— Какой ужас. Неужели они не знали? Почему не сделали сразу анализы?

— Вы меня спрашиваете?

— Не отчаивайтесь, Константин Григорьевич. Что поделаешь, если у нас такая медицина. Кто-то умирает, а живым нужно думать о жизни.

— А если этот кто-то жена, с которой прожил тридцать семь лет.

— Да, да, с этим трудно смириться.

— Но вы правы — живым нужно думать о жизни.

— Крепитесь, Константин Григорьевич.

Положив трубку, Чмырёв пошёл на кухню. Поставил на газ чайник, посмотрел в окно. По улице с зажжёнными фарами ездил машины. Сквозь деревья на противоположной стороне светились окна. Шли по тротуару люди, но всё это не вызвало ни мыслей, ни чувств. В голове крутились обрывки только что сказанных фраз: «вы правы..., вы правы..., думать о жизни». Он дождался, когда из носика чайника закружится пар. Выключил газ, но чай пить не стал. Ушёл на диван. Перед журнальным столом пустое кресло. Он никогда его не замечал, а тут вдруг подумал: какая бесполезная вещь, если в нём некому сидеть. Перевёл взгляд на сервант. Тоже бесполезная вещь. Зачем столько посуды?

Потянулся к телефону.

— Привет, Семён Семёныч. Я тебе говорил, что Вера умела? Да? Ты был? Представляешь, она не хотела вызывать скорую. Это я настоял. Но-шпа не помогает. Сколько же можно терпеть. Конечно, кто же знал, что всё так кончится. И никому теперь ничего не докажешь. Я с Митрохиным разговаривал. Он так и сказал, что врачи виноваты. От камней ещё никто не умирал. А тут такой случай. Как я? Ничего. Живу. Да, приходили. У меня вник полдня был. Один. Я понимаю. До свидания.

Чмырёв направился к кладовке. Зацепился ногой за дорожку. Но словно не заметил. Включил в кладовке свет, посмотрел на антресоль. В углу над коробкой шевелилась паутина. Чмырёв взял на кухне табуретку. С табуреткой опять зацепился ногой за дорожку. Поставил табуретку в кладовой, встал на неё и потянулся к антресоли. В дверь позвонили. Чмырёв вздрогнул. Слез и пошёл открывать. На пороге стоял сосед, овдовевший ещё лет десять назад. Он внимательно посмотрел на раскрасневшееся лицо. За спиной Чмырёва была освещённая кладовка, в которой стояла белая табуретка. Сосед вошёл в квартиру.

— Чем это ты занят? — спросил он. Заглянул в кладовку. Посмотрел на потолок.

— Одну вещь ищу, где-то лежит на антресоли.

Сосед снова посмотрел на потолок.

— Летом собирались с Верой делать ремонт, — сказал Чмырёв, подумав, что сосед рассматривает трещины.

— Я заходил — никто не открывал.

— Мы с внуком на улице гуляли. Хорошая погода.

— Да, совсем уже просохло.

— Чай будешь?

— Что чай. Давай по сто грамм выпьем.

— Что-то не хочется.

— Ты это брось.

— Серьёзно. Самому удивительно. При ней так и хотелось выпить. Чем больше она ворчала, тем сильнее хотелось. Помнишь, как мы прятались с тобой?

— В нашем возрасте нельзя менять привычки, — сказал сосед.

— А вдруг я без неё сопьюсь.

— Ерунда. Я же не спился.

Чмырёв внимательно посмотрел на соседа, сухонького лысоватого старичка, сморщенного, как мочёное яблоко. Он был лет на двенадцать старше Чмырёва и овдовел очень давно. Его квартира превратилась в холостяцкое обиталище с двумя алюминиевыми кастрюлями на кухне и пустыми цветочными горшками за пожелтевшими гардинами. Да, он не спился. Чмырёв подумал, что о себе так сказал для красного словца. На самом деле ему и в голову не приходило, какие перемены его ждут. Он жил так, как будто Вера уехала надолго к сестре. Давно прошло сорок дней, а он даже не тронул её вещи: кофты, куртки, пальто продолжали висеть в шифоньере и даже стояли в прихожей её старые туфли, в которых она выносила мусор.

— Так как, есть у тебя что-нибудь?

Чмырёв молча пошёл на кухню. Сосед за ним. Чмырёв вынул из холодильника начатую бутылку водки. На столе стояла одна рюмка на короткой гранёной ножке. Он пошёл к серванту за второй рюмкой. Сосед расположился за столом спиной к окну. Вынул из кармана яблоко, пошарил глазами в поисках ножа. Потом разрезал яблоко на дольки, положил на блюдце. Чмырёв вернулся с рюмкой.

— У меня колбаса есть, — сказал он.

— Не надо, — сказал сосед. — Вот, яблоко.

Выпили.

— Так что ты искал?

— Когда?

— Ну, там, в кладовке?

— Грелку. Неприятно ложиться в холодную постель.

Сосед гонял по рту кусок яблока. Клацали зубные протезы.

— При Верке пришлось бы прятаться в сарае, — сказал он. — Давай помянем, не чокаясь.

Выпили по второй.

— А у меня, как отключили отопление, двери перестали закрываться.

- Какие? — спросил Чмырёв машинально.
- Все. Сырость в квартире.
- Ещё будешь? — спросил Чмырёв.
- Бог любит троицу.
- А водка тут причём, — возразил Чмырёв.

Сегодня сосед его раздражал. Хорошо устроился со своим вдовством. Всё у него, как по маслу. Всем он доволен. Жены нет, а он доволен. Чмырёв забыл, что при Vere удовлетворённость соседа его не беспокоила.

— Любит, любит. Третья — это святое. Я тебя не узнаю. За здоровье надо же выпить.

Выпили. Чмырёву не сиделось, словно его оторвали от дела. Неважно, что за дело, главное, что начато. Табуретка стоит в кладовке и даже там не выключен свет. Сосед покосился на недопитую водку.

- Ладно, сейчас сериал. Не смотришь? — спросил он.
- Нет.
- А я смотрю. Что делать целый вечер. Ты тоже начнёшь смотреть.
- Почему?
- Начнёшь. Без баб мы сами становимся бабами.

— Чмырёв проводил соседа до двери, убрал в холодильник водку, сполоснул рюмки. Он почему-то совсем не запьянел. Может, водка слегка выдохлась. Всё-таки стоит начатая больше недели. Снова встал на табуретку. На антресоли лежала пыль толстым слоем. Прицепилась к ладони. Чмырёв посмотрел внимательно на ладонь. Удивительно, и вся эта дрянь висит в воздухе. Он смачнул пыль о штаны и стал перебирать коробки. Часто они напоминали матрёшки: в большой коробке была коробка поменьше, а в ней ещё меньше. Он стянул с антресоли коробку от пылесоса «Ракета» и спустился с нею на пол. В это время опять позвонили в дверь. Чмырёв с коробкой пошёл к входной двери, беря её под мышку, нажал на ручку. На пороге стоял тот же сосед. Он посмотрел на коробку и сказал:

- Извини, они в телогрейке. Очки в телогрейке, а я подумал, что у тебя забыл.
- Начался сериал? — спросил Чмырёв, хотя это его несколько не интересовало.

— Да. Пойду смотреть.

Чмырёв поставил коробку на диван и стал разбирать содержимое. Она тоже оказалась матрёшкой. Он разложил все коробки по ранжиру. Самой маленькой была коробка от конфет. В ней что-то тяжёлое. Чмырёв сдёрнул с неё белую резинку. Услышав запах масла, вспомнил. Развернул тряпку. Это был ТТ. С накладными деревянными пластинами на рукоятке. Магазин и три патрона. Когда-то их было четыре, но четвёртый Чмырёв сразу после смерти отца выстрелил в посадке. Отцовский пистолет, оставшийся ещё с войны. Как и зачем пистолет остался у отца? Через двадцать лет после войны оружие было большой редкостью. Чмырёв даже не был уверен, что пистолет в рабочем состоянии, поэтому, как только появилась возможность, он стрельнул из него за городом в одной из посадок. Сухой оглушительный треск напугал. Пуля улетела неизвестно куда, хотя он и целился в ствол дерева. В эту коробку пистолет попал лет двадцать пять назад и ни разу из неё не вынимался. Чмырёв взял его в руку и вдруг почувствовал,

что у этой штуки есть смысл. Он сунул пистолет в пожелтевшую и огрубевшую тряпку, завернул его и положил обратно в конфетную коробку. Следующей была коробка из-под обуви. Ещё советской обуви, потому что картон был серый и не плотный. Углы коробки сильно измялись. В коробке оказалась свадебная фата. Сначала было трудно понять, что это. Ясно — что-то старое и глупое. Искусственные цветы, бисер и всякая бижутерия всегда казались Чмырёву глупостью. Удивительно, что взрослые люди могут забавляться этим. Единственно, что оправдывает их, так это то, что эти люди женщины. Чмырёв потянул фату из коробки. Она неохотно развернулась. На дне остались несколько белых бусинок и отломившийся лепесток бумажного цветка. Оказывается, Вера хранила свою фату. Чмырёв не знал об этом. Он сидел, распялив на руках искусственную тюль, и сердце стучало так, словно его тоже вынули из коробки. Она сама-то помнила о ней? Может, и не помнила. Пылесос давно лежит сломанный в сарае. Его подарили. Нет, не на свадьбу. Чуть позже, но очень давно. Он гудел, как реактивный самолёт, а дорожки всё равно приходилось выносить на улицу и выбивать палкой.

Они знали друг друга с детства. Учились вместе в школе. Дружили. Росли и всё дружили и дружили. Может, эта дружба и мешала им увидеть друг в друге любимого человека. Как-то всё было в отношениях обыденно и привычно. А любовь представлялась чем-то особенным, почти волшебным. Конечно, это она ждала принца. А он ждал, когда ей надоест ждать. Сам он никого не искал. Что искать, когда есть Верка.

Чмырёв вдруг почувствовал — устали руки. Он сидел, держа на весу свадебную фату. Повернулся, положил ее рядом на диван. Она накрыла конфетную коробку. ...Была Верка. Чмырёв запустил руку под фату, содрал с коробки резинку. На пол выкатились патроны. В коробке остался один. Значит, упали два патрона. Патроны были латунные со свинцовыми пулями. На бежевом паласе они совсем потерялись, и свет был очень слабый. Чмырёв стал на колени и шарил по паласу ладонью. Нашупал что-то твёрдое. Один патрон нашёлся. Чмырёв бросил его в коробку. Он глухо ударился о другой патрон. Третьего не было. Закатился под диван? Чмырёв сел. Посмотрел на фату. Сверху лежал пистолет. Вороненье на стволе вытерлось, и он отливал сероватым цветом. Чмырёв взял пистолет в руки, дёрнул затвором. Пружина оставалась тугой. Под предохранителем было выбито — 1939. Старая машинка и такая надёжная. Чмырёв спустил курок. Ударник цокнул в пустоте. Чмырёв торопливо завернул пистолет в тряпку, сунул в коробку, в другую коробку затолкал фату, сложил всё в коробку из-под «Ракеты» и унёс на антресоль. Вернулся на диван, сел, посмотрел вокруг себя, смахнул с дивана мелкие ошмётки картона и успокоился.

Окно в спальне смотрело на восток. С раннего утра по комнате скользили солнечные лучи, приглушённые неплотными шторами. Подниматься ещё рано, но и лежать больше не хотелось. Эту ночь Чмырёв спал неплохо. Сравнительно неплохо. Как может неплохо спать пожилой человек. В детском садике карантин и дочка опять приведёт внука. Но это будет часов в девять. Чмырёв подозревал, что никакого карантина нет, но может, и есть. Вполне возможно, что карантин есть на са-

мом деле. Конечно, с внуком колготно. Чмырёв беспокоился, чтобы он не стал капризничать. С детьми это случается иной раз без всякого повода, и попробуй потом найди общий язык.

Да, наступила весна. Цветут абрикосы. Каштаны вдоль улицы покрылись зелёными пузырьками лопнувших почек. В квартире прохладно. Чмырёв натянул на себя тёплый спортивный костюм, потом расхаживался, отдёргивал на окнах шторы. Опять в солнечных лучах засуетилась пыль. Чмырёв нагрел чайник. Позвонила дочка.

— Дед, у тебя молоко осталось?

— Да.

— Много?

— С пол-литра.

— Я куплю свежего.

— Покупай. Что там Павлик, к деду собирается?

— Уже идём.

Павлику было четыре года и два месяца. Его день рождения почти совпал со смертью Веры. Он не понял, почему больше нет бабушки. Слушал с подозрительностью объяснения, но в глазах было непонимание. Потом, словно что-то почувствовав, он больше не спрашивал о ней, но, похоже, не переставал ждать, что она всё же опять появится.

— Молоко обязательно вскипяти, — сказала дочь.

По мнению Чмырёва она была худой. А в обтягивающих её джинсах и коротенькой курточке — очень худой. И лицо было намалёвано так, что исчезла всякая индивидуальность. Чмырёв подумал, что где-нибудь в очереди или просто на улице он не узнал бы собственную дочь.

— Я побежала.

Павлик с порога сразу пошёл в зал. Вокруг телевизора на полу были расставлены игрушки: машины, танки, БТР и ещё какие-то механизмы, которым Чмырёв не знал названия. Внук опустился на колени и загудел, толкая рукой пожарную машину.

— А поздороваться с дедом, — сказал Чмырёв.

— Здравствуй, — не поднимая головы, сказал мальчишка.

— Тебя мать покормила?

— Да.

— С дедом не хочешь позавтракать?

— А что у тебя есть?

— Что-нибудь придумаем.

— Растишка есть?

— Растишку ты вчера съел. Пойдём гулять — купим ещё.

Павлик пришёл к деду на кухню. Он что-то рассматривал в руках.

— Дед, что это?

— Это? Ну-ка, дай. — Чмырёв взял из рук внука пистолетный патрон и положил в карман. Павлик с огорчением проследил за тем, как круглая штукovina утонула у деда в кармане. Но ничего не сказал. Ушёл к своей пожарной машине.

Владислав ЛАМАШ

/ Донецк /



Из цикла «Минус бесконечность»

* * *

Все разрешилось утром...
...Солнце,
ничего, кроме солнца,
даже тени ради солнца...
...После ночи
уставший оттого, чтобы не видеть,
уткнулся щекой во что-то нежное,
вопреки свету плашмя
раскинув все тело...
...Просто солнце
взъерошило тени...
Просто выдох ради вдоха...

* * *

Все началось с выдоха,
и упругое светло-зеленое пятно
сорвало веки...
У т р о...
Сначала шепотом,
потом криком
оформилось над рекой...

СОЛНЦЕ

Претворение меди в солнце
силой виноградного сока в крови
плотью ветра.
Закрываю глаза — солнце,

открываю глаза — солнце,
корень солнца под спудом и кожей.
Центр мира в темной мякоти слуха.
Слышу: как гора сдвинулась,
как рядом зерно скребется горчичное —
между ними равновесие тоньше контура.
Детской способностью
уплотнять ветер
и кровью из виноградного сока —
верю.
И за линией полночи,
круг солнца, свети навывлет.
Расстояния нет,
если воздух болен всем
От зеницы до солнца.
Слышишь: тон, как натянутая тетива,
берегу
этот звук неозвученный.
Дольше слушать, чтобы понять:
нет меня,
страха нет,
медь упраздняется,
только солнце.

* * *

После долгого солнца
изможденный день треснул...
Вечер —
С профилем инь и ян.
— Посмотри, — сказал он, —
ничего не стоит на месте.
— Дальше говори, дальше!!!
— Минус бесконечность, плюс бесконечность,
остановись где-то
между...
Сердце имеет свойство биться
в самой мучительной тишине...
Это так просто...
Сердце...

* * *

Когда навсегда закрылась
самая дальняя дверь,
я поселился на берегу
ушедшей реки.

* * *

Между дождем и дождем —
треснул кувшин —
пробуждение.
Из языка в язык
птицами снится —
одно бездорожье.
Здесь остановлюсь,
где дикая лиса не свернет с пути.
Беглая жизнь,
как небо в паузах луж.

* * *

Золото опоздало
к молчанию слов.
В предчувствии Азбуки
тело путаешь с глиной.
(Не заскучаешь!)
Береги колодцы
от затмения
заговоренной воды.



Элина СВЕНЦИЦКАЯ

/ Донецк /

ЕДИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Жизнь — это лес, потому что в ней полно деревьев. И каждое дерево особенное, на другое непохожее. Но когда идешь дальше — все они сливаются в одну картинку: ствол шершавый, ветки кривые царапают небо, а на верхушке — ворона. И потому в лесу легко заблудиться, а в жизни — еще легче.

Жизнь — это площадь, потому что длинная и широкая, ветром насквозь продутая. И ходят по ней люди в разные стороны непонятно зачем. И шелестят бумажки от мороженого, и всякий мусор шевелится, а в небе летит маленький одинокий самолетик. И потому на площади легко потеряться, а в жизни еще легче.

Жизнь — это яма, потому что темная и глубокая. Там, внутри, пахнет сырой землей, а земля черная и ползают в ней дождевые черви и другие козявки, а на дне стоит дождевая вода. И потому в яме легко пропасть, а в жизни еще легче.

И вот, если вспомнить себя, своих друзей и знакомых — кто-то заблудился, кто-то потерялся, а кто-то и совсем пропал. А я — я все время заблуждалась, а когда преодолела свои заблуждения, то сразу же терялась, а если все-таки не терялась, то сразу же пропадала. Я заблуждалась — но одновременно и блудила, я терялась, исчезая — но одновременно терялась, не зная, что делать, и в конце концов пропадала — исчезая и погибая.

Так думала я, возвращаясь поздно вечером с работы. И вдруг из-за поворота вылетела длинная машина с выключенными фарами. Я остановилась. Из машины выскочили двое в масках и с автоматами. Они посмотрели друг на друга, потом на аптечный киоск «Приятная встреча», а потом открыли по нему огонь. Я бросилась на землю, вжалась в нее, ощущая, что ничем не прикрыта спина и как с головой накрывает огромный ужас.

Выстрелы смолкли. В аптечном киоске погас свет. Я поднялась с земли и побежала, не разбирая дороги. Надо было, наверное, вернуться к киоску, вызвать милицию, но не было сил. Я понимала, что я — единственный свидетель, что теперь меня найдут и уничтожат.

Такой вот стала моя жизнь, такой вот стала я — заблудшей, потерянной, пропащей. Если было бы можно избавиться и от себя, и от этой жизни, я бы избавилась, но сил не было. Я просыпалась утром, умывалась непонятно зачем, пила невкусный кофе, чтобы проснуться непонятно для чего, шла на работу, раз уж проснулась, возвращалась с работы, раз уж пошла, ложилась спать и боялась, пока не засыпала.

Во сне мне снилась сказка, где не было никаких страхов, где я видела мою маму и она мне говорила, что папа опять пьяный, как корова.

— Но где ты видела пьяную корову? — возражала я. — И когда ты вообще видела корову?

— А когда ты видела своего папу? — тихо спрашивала мама и плакала.

И вот опять я возвращалась с работы поздним вечером. И вот опять я проходила мимо аптечного киоска «Приятная встреча». Там было темно и пусто. И вдруг послышались шаги. Было страшно, но я обернулась. Пошел дождь, и в желтом качающемся свете фонаря я увидела синий больничный халат, из-под которого болтались физкультурные штаны и бледное звериное лицо.

Но никто не догнал меня и не убил. Просто теперь всегда, куда бы я ни шла, я вижу этого человека где-нибудь поблизости. Он не отстает, не уходит, ничего не говорит. Однажды я спросила его:

— Ты зачем за мной ходишь?

— Чтобы ты не заблудилась, не потерялась, не пропала, — ответил он и замолчал навсегда.

Вот такая теперь у меня жизнь. Так хочется хорошего, а все плохо. У меня простуда, критические дни и неприятности на работе. Слышу я только правым ухом, вижу только правым глазом, а слева я не воспринимаю ничего. Господи, ну пожалуйста, ну пусть будет что-нибудь хорошее!

Вот бежит по улице женщина в ночной рубашке и в накинутом кое-как пальто.

— Заберите меня! — кричит она. — Возьмите меня в милицию, пожалуйста, возьмите меня!

Она бежит и бежит, дальше и дальше. Но маленький мальчик не видит ее, он смотрит на свою маму и спрашивает:

— Это какое дерево?

— Хорошее, — отвечает мама. — Отстань.

И мальчик поднимает голову и начинает вить на луну. Он воет и воет, громче и громче. А люди останавливаются и спрашивают друг друга, откуда в городе волки.

СУМАСШЕДШИЕ МЫСЛИ

Всякая мысль имеет право быть. Всякая мысль имеет право быть разной. Мои мысли — это мухи. Они вылетают у меня изо рта — и кружатся, кружатся, кружатся. Я пытаюсь их отогнать — а они жужжат, жужжат, жужжат.

А другие мои мысли — это пчелы. Я не знаю, где они живут, но в голову они влетают через уши, а потом там строят ульи и откладывают личинки. Эти мысли — тихие и медленные, длинные и грустные. Но это до тех пор, пока из личинок не вылупливаются маленькие пчелки. Тогда они начинают пищать и шевуриться, ползать и пищать. Наверное, они ищут свою маму, но бедная моя голова.

Когда-то я жил, как все нормальные люди. Это было очень давно, в глубокой старине, тогда была совсем другая эпоха, и я был маленький мальчик. Когда мне было пять лет, мы с папой гуляли и встретили мертвую собаку. Я и не собирался ее трогать, но папа вдруг сказал: «Собаку трогать нельзя». И тогда я, конечно, пошел и потрогал. А папа стал мрачным и сказал: «Ты умрешь. Завтра. Потому что потрогал эту мертвую собаку. Собака мертвая — и ты будешь мертвый».

С этого момента и началась моя настоящая жизнь. Я понял, что в жизни имеет смысл, а что не имеет никакого смысла. Если знаешь это — становишься человеком высшего света, и я им стал. Есть люди плоские, однослойные. Они проецируются в двух измерениях, и по-другому к ним не подойдешь. А есть объемные, с различными углами преломления и фактурой граней. И тогда восприятие их образа полностью зависит от природы воспринимающего. И вот я — очень сложный человек, у меня сто четыре слоя только на поверхности, но если эти поверхностные слои снять — откроются новые глубины, одна лучше другой, потому что я — личность. Личностью быть нелегко, но приятно. Все пытаются загнать в рамки, сломить, надругаться, закатать в асфальт. Но сила истины — непреклонна. Она бессмертна в окружающем похоронном марше.

Но занимаясь истиной, трудно заниматься чем-нибудь еще. Истина так поглощает, что может наступить онтологический кризис. У меня было три онтологических кризиса, и я их пережил достойно. Я тогда все время в магазин ходил. Один раз пошел в магазин — забыл, зачем пошел. Пришлось идти обратно и вспоминать, что же мне было нужно в магазине. Еле дошел до дома — дорога была трудная, мысли темные толпились в голове, а чувства умирали. Пришел домой, вспомнил, даже на бумажке написал и опять пошел в магазин. Путь был неблизкий, но я дошел. Выстоял очередь, стал расплачиваться — а кошелек, оказалось, остался дома. Пришлось идти обратно. А дорога — еще труднее, а мысли — еще темнее, а чувства вообще умерли. Пришел я домой — что же делать? То ли обратно идти в магазин, то ли уже сидеть дома... Думал я, думал — так ничего и не решил до самого вечера.

Вечер был, как всегда, необыкновенный. Они разные бывают, вечера. Вечера синие и грустные... Вечера, проведенные в одиночестве у телевизора... Вечера, проведенные в одиночестве на диване с книгой. Вечера дождливые, ветреные, когда стоишь у окна и видишь только качающийся фонарь и длинный бульвар, уходящий куда-то вдаль и вверх, — дорога, по которой мы все пойдем потом...

Когда я вышел из онтологического кризиса, я понял, что должен идти к людям. И через какое-то неизвестное время застал себя в конференц-зале какого-то районного Дома творчества проповедующим пятерым людям и множеству студентов.

— Люди! Вы погрязли в материальном, вы думаете только о деньгах. Деньги, машины, еда — больше вас ничего не интересует. Но поглядите вверх — там же небо! Почему люди не летают так, как птицы? Да потому, что они больше не смотрят в небо. А если бы смотрели — стали бы как птицы — и летали, летали, летали...

Звучит музыка в ритме трамвая. И в зале тухнет свет.

— Да,— говорит кто-то в зале, — все у нас портится, тухнет... Даже свет.

— Летали, летали, летали, — бормочу я и тихо поворачиваюсь вокруг своей оси. И пока я поворачиваюсь — нос у меня вытягивается и превращается в клюв, тело обрастает перьями, на ногах вырастают когти, да и сами ноги уже какие-то маленькие, а сзади вытягивается хвост. Только крылья... Где же мои крылья? Господи, где же мои крылья? Как же я полечу?

Автобусная остановка. Голуби ходят по асфальту, курлычут между собой. Я тоже голубь, только крыльев у меня нет. Я не умею летать, только смотрю в небо, клюю пыль, смотрю на людей, бормочу себе под нос про онтологический кризис — о том, как я жил и как теперь живу, о том, какие страшные чудеса творятся в нашей жизни, и кто же надо мной так посмеялся и теперь смеется — там, в голубом небе, в прозрачном небе, в этой лживой и прекрасной высоте.

ПЫЛЬ И ПАМЯТЬ

Внизу моего книжного шкафа — специальный ящик для бумаг. Иногда я заглядываю в него, чтобы вытереть пыль. Господи, сколько бумаги я за свою жизнь исписала! А зачем я писала все это? Сейчас вот смотрю я на все эти россыпи — и не знаю. Некоторые говорят, что писать надо, чтобы не забыть, потому что все забывается. Не знаю... А другие говорят, что эти бумаги пыль собирают, и это правда. Вот оно, мое добро, память и пыль, пыль и память. Так они вместе и живут, что же делать...

Нашла я мой первый рассказ. «Жила-была Наташа», — так я начала его когда-то, и надо сказать, что Наташа действительно и жила, и была. Сидела на скамейке в белом платье в бледный цветочек, долго сидела, глядя прямо перед собой, приоткрыв рот. И рядом в коляске, в той же позе и с тем же выражением лица сидела ее годовалая дочка Кристинка. Так они могли сидеть где угодно и сколько угодно. Иногда Наташа рассказывала о своей жизни, которая состояла из поломанных рук, подбитых глаз, детского плача и новых мужей.

И вот я думаю — как она себя чувствует оттого, что она — героиня моего рассказа? О чем она думает там, в маленьком городе Докучаевске, затерянном среди степей, маленьком городе для обиженных судьбой? Вот она сидит у окна, пишет письмо брату. Но написав: «Здравствуй, Дима! Привет тебе с Донецка!» — смотрит в окно, а потом засыпает, открыв рот.

По ночам она разговаривает со своими мужьями, причем со всеми сразу. Она говорит, что нельзя быть амебой и размножаться простым делением. Это было все, что она запомнила из школы. Так говорила биоло-

гичка, которая жила со своей собакой и была счастлива в личной жизни. Но мужа не слушали ее, потому что спали и пускали пузыри, а я слушаю и записываю все, что она говорит, только она не обращает на меня внимания. Впрочем, как и все остальные...

А я все равно о ней пишу. Вот дерево стоит посреди двора, как черту кочерга. Вот музыка орет где-то вдали, как перед бедой. Ночное зимнее пространство клубится надо мной, и каждая снежинка кажется умершей душой. Да, такое бывает, умершие приходят к нам. И на рассвете, когда только две звезды осталось в небе, ко мне приходит двоюродная сестра тети моей мамы, которую звали Софья Марковна и которую я видела всего два раза в жизни. И почему она пришла ко мне? Я ее спрашивала, но она смотрела мне в глаза так, как будто я в чем-то виновата. Я у нее спрашивала, а она сидела на моей кровати и ощипывала цыпленка.

А что же Наташа? Один из ее мужей увез ее в Донецк, он был цыган и на базарчике у Южного автовокзала предлагал всем мумие в бумажных кулечках. И сам он был как мумия, высохший и морщинистый.

Я подслушала их разговор под разбитым фонарем, в котором свил гнездо воробей.

— Я забрал Кристинку.

— Забрал ты ее? В одной рубашонке на мотоцикле вез, даже в покрывалку не закутал.

— Нет, я потом рубашку снял и замотал ее.

— А где рубашка?

— Не знаю...

— Ты пьяный был?

— Не знаю...

Вот, Наташа живет, а я? Подслушиваю, подглядываю, и мне являются покойники, которых я совсем не знала при жизни. Да, вот так я и живу при чужой жизни. Все думают, что я схожу с круга, а я схожу на нет, и единственное, что мне остается, — писать, писать и писать, и складывать написанное в шкаф, чтобы оно покрывалось пылью. Ведь если есть люди, которые живут, то должны быть люди, которые про них пишут. А тем, которые живут, им все равно, пишут про них или не пишут, они, может быть, вообще ничего не читают.

Вот я сижу и пишу. Пускай Наташа уже старая или ее нет на свете, я пойду за ее жизнью, пойду далеко-далеко, мимо городка Докучаевска и большого города Донецка, пока не попаду туда, куда давно хотела попасть — туда, где конец света.

КАК ВСЕ

А они живут как все. Да, они все абсолютно как все, и ничем от них не отличаются. И они это прекрасно знают и считают, что так и должно быть. Потому что если не будет таких, как все, то что же это будет?

И дом у них как у всех. Четыре комнаты — и только в одной убрано. Но в ней не живут. В ней только выставка посуды и суровые

люди в рамках на стенах. Этот дом был в городе, как все, засыпанном снегом, дом среди снегов, и ржавые палки на асфальте, и чья-то кровь на снегу.

В первой комнате жил хозяин. Он, как все, был умный по жизни, работал в разных местах, пел в хоре и в самодеятельности танцевал ламбаду. Как все, после работы в разных местах он расслаблялся, пил пиво и курил на балконе, а потом смотрел вниз налетающий с сигареты огонь. А потом, как все, шел ужинать, смотрел телевизор, и всю ночь ходил от стены к стене, время от времени ударяя кулаком в притолоку.

Во второй комнате жила его жена. Его жена была тоже как все, она работала в школе учительницей обслуживающего труда и считала себя жертвой антисемитизма. Самое интересное, что никто ее не считал еврейкой, и нос у нее был почти нормальный. Но и ее, как и многих, сократили, и из-за чего же, спрашивается, это могло случиться, если не из-за всеобщего антисемитизма? Как у всех, ее письменный стол был забит рваными бумажками, сломанными карандашами, не пишущими ручками. И придя с работы, она, как все, тихо сидела за столом, перебирая эти бумажки, карандаши и ручки. А теперь, когда ее сократили, ей ничего не оставалось, как перебирать эти бумажки, карандаши и ручки, размышляя о происках антисемитов.

А в третьей комнате жила ее свекровь. Как все свекрови, она была образцовой хозяйкой и никогда не заливала соседей. В ее длинной жизни все время так получалось, что жила она в одном городе, а работать ездила каждый день совсем в другой город. И всю жизнь моталась по автобусам, как все, с полными сумками, с какими-то кулками и сеточками, перетянутыми веревочками, которые развязывались, а пакеты лопались и рассыпались, а она их пересчитывала, все боялась забыть, потерять. А потом она, как все, ушла на пенсию, и ей стало нечего делать, и она целый день сидела в своей комнате и читала письмо, полученное сто лет назад.

«Дорогая моя Надя. Я просто так подобрал одно стихотворение с поэзии, прочитать тебе перед сном, ты ведь любишь это. Я люблю песни советских композиторов, у меня приемник, я его никогда не выключаю, даже когда меня дома нет, под музыку засыпаю.

Неизбывно и подспудно,
Как поток лучей моих,
Разделить, наверно, трудно,
Счастье ровно на двоих.

Что тебе еще черкнуть? У тебя грехов с избытком, я тебе верю. Я тоже не ангел, но это еще терпимо. Хозяйские руки нужны, а остальное все будет. Одному жить — это сосуществование на земле».

А рядом с ней на соседней кровати жила ее сестра, старая девушка, как все, как всегда, больная. Когда-то у нее, как у всех, была сложная личная жизнь, но это было давно. И теперь ей ничего не осталось, кроме как рассказывать об этой личной жизни другим. Но только никто ее не слушает, как и всех, никто никогда не слушает. И она, как все, рассказывает ее самой себе, и, как все, сама себя слушает.

А потом, как все, ложится спать и, уже засыпая, вспоминает, как давным-давно, до всей этой проклятой личной жизни, лет в пять или шесть, у нее, как у всех, была любимая игрушка — розовый кот Барсик. Как все, она с ним и спала, и ела, как все, она его целовала и обнимала, как все, она с ним гуляла, и там, на улице, колотила, пинала ногами, от лужи к луже, поднимала с земли, отряхивала и снова колотила, и плакала, и плакала, и плакала.

Вот ночь. И все в этом доме спят. Все спят, как все, и видят обычные сны. За окном большая луна и качаются деревья, как будто бы рассказывают страшную сказку. И нет никого и ничего, только пятна лунного света на серых спинах домов. И собаки лают где-то вдали.

— Помогите! Помогите! — кто-то кричит в темноте.

Женщина в красном халате стоит посредине улицы и хрипло зовет на помощь. Тишина и темнота. Все спят, как все, и видят обычные сны.

— Спасите меня! Умоляю!

Никого нет. Никто не слышит. Спит дом. Дом, который будет вечно для них уютным и надежным пристанищем и который они назавтра покинут. Покинут, как все. Потому что я не знаю: где они, эти все, живут? И где, в какой момент, наш путь пересечет злое и жалкое безумие?

ГРЯЗНЫЙ ШИЗОИД

Я шла по улице и вдруг услышала:

— Нужно держать ее в черном теле.

Я остановилась. Нет, это не обо мне сказали, но тем более страшно. Что это — черное тело? Где оно находится? И за что помещают человека в черное тело? И сколько времени в нем держат? Как страшно жить в черном теле, абсолютно черном...

Понимаете, я — грязный шизоид. Грязный — потому что чистых людей не бывает нигде и никогда. Все люди живут с какой-нибудь примесью, и это абсолютно нормально. И потому все мы грязные — и внешне, и особенно в психике.

А у меня психика очень грязная, но нормальная. Шизоид и шизофреник — это не одно и то же, мне это психиатр объяснил. А когда объяснил, спрашивает:

— Какая разница между собакой и кошкой?

— У кошки глаза зеленые и блестящие, а у собаки — щенки, — ответила я.

А это значит, что со мной все порядке. Но в последнее время я стала замечать, что тянутся ко мне ненормальные люди. Я вообще поняла, что вокруг ходит множество сумасшедших. Вот идет дядюшка, бакенбарды развеваются по ветру, припрыгивает по-птичьи. А через двадцать шагов — старушонка в беленьком платочке сидит на скамеечке, смотрит в небо и поет грустную песенку по-французски. Может быть, она видит черное тело — то самое тело, в котором ее держали, пока она не стала такой...

А вот — моя бывшая одноклассница. В школе мы с ней не дружили, потому что она была нормальная, а я обыкновенная. Потом я училась в институте, а она куда-то потерялась. Впрочем, я не вспоминала про нее. И вот через много-много лет, она вдруг склублилась из подъездной тьмы. Я вначале не узнала ее. Но она сказала:

— Вот я, Марина. Помнишь, мы с тобой учились в одном классе? А теперь ты учишься в институте, а меня только что выписали из психиатрической больницы. Давай попьем вместе чаю. Я решила, что попить чаю можно. Но за чаем она меня огорошила:

— Какой сегодня день?

— Вторник, — ответила я.

— На самом деле уже среда. Но — тише! Об этом никто не должен знать!

И с тех пор она стала часто ко мне приходить, деньги занимать, о своих делах рассказывать. А я стала думать, что среда, о которой никто не знает, наступает там — в черном теле. Нет, это не планета, не небесное тело, просто это страшное место, где нет ничего, кроме черноты.

А потом, уже после института, в моей жизни появилась поэтесса Леся Порожнюк, и казалась она мне очень светлым, гармоничным человеком. Только, Господи, какие ужасы она мне рассказывала! Все про секс и про себя, про себя и про секс! Говорила, что в четырнадцать лет вскрыла себе вену на шее, чтобы испытать оргазм. А в шестнадцать лет стала жить вместе двумя пуделями, но не ужилась — очень уж они обидчивые. В общем, про что она мне только не рассказывала — про зоофилию, мазохизм, лесбиянство, вуайеризм и постоянные ссоры с мужем. А стихи у нее были такие светлые, пронзительные...

Я чувствовала, я понимала, что с Лесей Порожнюк что-то не так, я не могла уже слушать про все эти ужасы от такого светлого, гармоничного человека. Но этих ужасов становилось все больше.

Дошло до того, что она осталась ночевать у меня. Всю ночь напролет она рассказывала мне о своих извращениях, а потом громко захрапела. Я ушла на балкон и проплакала всю ночь напролет. Утром, прощаясь, я сказала ей:

— Леся, ты должна пойти к психиатру. Сделай это ради меня и русской поэзии.

— Пусть русская поэзия скажет мне об этом сама.

— Но я — я не могу это слушать.

— Не слушай — все равно от меня к тебе тянется крепкая нить.

И она ушла.

А я все думаю и думаю. Может, эта нить соединяет черные тела — ее и мое? Не знаю. Я много знаю, а этого не знаю. Я знаю, что мир состоит из веселого и грустного вещества. Но веселое вещество очень быстро испаряется, так что остается одно только грустное. И вот мы все живем в грустном веществе, особенно когда наступает вечер. Синие облака — это и есть грустное вещество. А человек состоит из двух половинок: одна живет дома, а другая — в личной жизни. И та, которая в личной жизни, все время хочет домой, а та, которая дома — в личную

жизнь. И я думаю, что черное тело у каждого человека есть где-то внутри. Ну и снаружи у каждого есть черное тело. И совсем необязательно человека в нем держать — он просто живет в своем черном теле и его черное тело живет в нем.

ЖИТЬ БЕЗ ПЕЧАЛИ

Я не знала, что мне делать, и пришла неизвестно куда. Вот подвал, а в нем дверь с надписью «Общественные танцы», а за дверью — маленький зал.

Я вошла, а вокруг — аплодисменты, а за столом — худенький стройный старичок с сияющими глазами и летящими жестами.

— Знакомьтесь, это я! — воскликнул он и приподнялся на цыпочки, а две девушки упали в обморок. — Я — Яков Лушпайкин, великий человек. Когда я выступаю на похоронах, все хотят долго жить. И я научу вас жить так, как надо.

— Но как же нам жить? — спросила пожилая дама, закатывая глаза. — И как нам сохранить здоровье и уложиться в зарплату?

— Очень просто. Вот высшая мудрость — жить без печали. Живите без печали — и все будет хорошо. Живите без печали — и будете здоровы.

— И это все?

— Все.

И он склонил голову и прикрыл глаза, а потом возвел их вверх, к бледной лампочке.

— Но что же нам делать, чтобы жить без печали?

— Я же сказал — жить без печали. Что вам еще надо? Живите без печали — и все будет правильно. Живите без печали — и доживете до зарплаты.

И он опять поднялся на цыпочки и поправил клочок волос на лбу.

— А вот у меня умерла собачка. Единственная собачка, больше у меня никого нет. Так что же мне делать?

— Жить без печали! Разве вам не ясно? А еще образованные люди! Сколько можно повторять!

— Как жить?

— Жить без печали! Разве вам этого мало?

Он покраснел, в глазах стояли слезы.

— Это же самое лучшее, что я открыл в своей жизни. И это так просто, так понятно. Почему же вы не понимаете?

— Да, но как же моя собачка? И как же я — без собачки?

— Но все же так просто — жить без печали... Жить без печали... Жить без печали...

Так говорил Яков Лушпайкин, великий человек, и плакал, и проползал между стульями, забиваясь в угол, а старые дамы, старички, девицы с запросами, нагоняя его, кричали ему в уши, что так жить нельзя, что это не жизнь, а тихий ужас, что везде преступность и люди пропадают среди бела дня, а цены такие, что все равно пропадать... А Яков Лушпай-

кин, великий человек, плакал все громче и громче, и говорил, что он все это знает, но ведь это так просто — жить без печали, и почему же этого никто не хочет понять, наверное, у них что-то с головой.

Но я поняла Якова Лушпайкина — великого человека, которого так никто и не понял. Ведь это так просто — жить без печали. Просто жить самой по себе — вот и все. А печали пусть живут сами по себе. Только почему на двери такая странная надпись — «Общественные танцы»? И тут он подошел ко мне и ответил: «Я хотел вам преподавать общественные танцы, а преподавал сумасшедший дом».

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Ах, ты еще жива, моя старушка? Я тоже еще жива, с чем тебя и поздравляю. Самочувствие у меня хорошее. Так больно, что тошнит. И настроение веселое, подтянутое — так и хочется встать руки по швам и каждому прохожему отдать честь.

Я живу в коридоре, потому что в палату не берут. Много нас — и нет места. От этого и медсестра нервная такая — все спрашивает, почему у меня постельное белье на шее намотано. И не понимает, глупенькая, что это модное финское полотенце. Да, но зачем же сразу в морду? Я нахальной обращении к себе не понимаю. Тем более, я на работе.

Да, я на работу устроилась. В больнице больной работаю. И от дома близко, и жрать дают чуть не каждый день.

А я лежу. Раньше я работала на ногах, а теперь в постели. Но они подняли меня и несут. Несут по длинному коридору, по черной лестнице.

— Пожалуйста, оставьте меня, — плачу я.

Черная лестница упирается в черный ход. Ветер бьет по лицу. Желтая лампочка качается, и голова моя качается, и лицо мое на лампочке улыбается мне желтой улыбкой.

— Пожалуйста, положите меня на место, — плачу я.

Никто меня на место не положит. Дверь открывается, и женщина в белом наклоняется надо мной, и пьет кровь у меня из пальца через резиновую трубку.

— Уберите ее, — говорит женщина в белом. — Разложили тут.

И меня убирают, и не буду я в больнице разлагаться, потому что меня несут все дальше и дальше и никогда уже не положат на место. Они несут меня — и мне больно. Дорогая мама, мне больно, потому что я работаю больной и должна болеть. Все правильно, мама, мне правильно больно, но у меня все болит, такая уж меня работа, это мой хлеб, мама, что ж тут поделать, каждый зарабатывает на жизнь, как может.

Прощай, мама. В жизни все-таки есть радости, только очень маленькие. Я, например, очень рада, что ты еще живая. И очень хорошо, что я живая тоже. Никогда в жизни не думала, что доживу до такого счастья. Помнишь, в детстве, когда я плохо себя вела, ты говорила, что купишь себе другую девочку, хорошую, новую. Но ведь я хорошая, потому что больная. А новой дочке у тебя не будет, потому что ничто не ново в этой жизни.

Прощай, дорогая мама. Не поминай меня лихом, а поминай, как звали.

ПЫЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Я, писательница Элина Свенцицкая, пишу этот рассказ, потому что делать мне больше нечего. Конечно, это причина не самая уважительная, но у других и такой нету. Вот, например, мой друг и сожитель Бухбиндер стал большим политиком и организовал общественное движение пыльных. Пыльные — по-украински бдительные. Они все время бдят. А Бухбиндер бдит дольше всех, но при этом еще и пишет античные драмы на материале наших семейных скандалов.

Впрочем, это он меня попросил так про него написать в этом рассказе. А на самом деле он пишет хреновые стихи, и к тому же импотент, алкоголь и урод. Но меня он очень любит, и обещал даже отдать за меня всю кровь по капле. А я сказала: «Не надо, я сама ее высосу».

Бухбиндер и правда очень бдительный. Он бдит надо мной весь день, он бдит всю ночь, а поскольку офис его общественного движения расположен у нас на квартире, то с утра приходят его пыльные, требуют кофе и тоже бдят. И куда только смотрят их жены.

А про это, конечно, писать не надо, но я все равно напишу, а потом зачеркну. В результате их постоянного бдения моя квартира превратилась в черт-те что и сбоку бантик. Везде валяются рваные протоколы, пивные бутылки, старые газеты, какие-то тряпки, чьи-то рубашки. Я пытаюсь все это прибрать, но оно появляется снова.

— Господи, когда же это кончится! — возмущаюсь я.

— Ты же не знаешь, ты же ничего не знаешь, — ласково говорит мне сумасшедший старичок за моим письменным столом.

— Чего еще я не знаю?

— Это же не мусор, это же не мотлох, это же память...

— Какая еще память?

— Память о людях, которые жили. Вот старые туфли от Елены Георгиевны остались, а газеты старые — от Петра Павловича, он их собирал.

Нет, вычеркну я все это и буду писать дальше, а то мой Бухбиндер съездит мне по роже. На этом фоне я, писательница Элина Свенцицкая, выгляжу очень даже прилично. Я уже давно заметила: чем неприличнее мой сожитель, тем приличнее я, и потому выбираю себе самых неприличных сожителей, из тех, которые на дороге не валяются. А замуж я не выхожу принципиально, потому что боюсь посягательств на мою свободу и однокомнатную квартиру.

Впрочем, это я только так пишу. На самом деле меня просто замуж никогда не приглашали, даже в 17 лет, когда приглашают всех. Однажды я завела себе кошку, но кошка вскоре одичала и исчезла. Потом завела Бухбиндера, он тоже одичал, но не исчез, и слава Богу.

Если не считать, что его не было дома с позавчера. За моим письменным столом все тот же сумасшедший старичок мирно играет в крестики-нолики с самим собой. А Бухбиндера нету. Неплохо бы выяснить, куда он пропал.

— Вы не видели Бухбиндера? — вежливо спрашиваю я старичка.

— Дочка, я видел первую мировую войну, и в гражданскую войну боролся с нэпом, и в отечественную войну видел немецкие танки. Я видел Фиделя Кастро на Ялтинской конференции, но такого человека, как Бухбиндер, я не видел никогда.

— Но что же вы тут делаете?

— Я — бдительный, — сказал старичок и уснул.

Я стала обзванивать всех бдительных — безрезультатно. Я выбежала на улицу, оббежала все пивбары, забегаловки, беседки в детских садах — все то же. Ближе к вечеру стала звонить в милицию, больницы, morgi. Никаких признаков Бухбиндера. Наконец позвонила его жене.

— Здравствуйте, можно Федю?

— Его нет.

— Ну и не надо, — сказала я и повесила трубку.

«Нет так нет», — думала я про себя. Только как же теперь без него будут бдительные?.. Бесприютные, никому не нужные пыльные люди ходят теперь по городу, сидят на скамеечках в сквере, обсуждают футбольные матчи, слоняются вдоль заборов, и сыплется из них пыль и песок, песок и пыль... и пыль кругом, и нечем дышать.

И я задумалась: это я все просто написала в своем рассказе, или на самом деле было? И если я написала, то зачем? И если было — для чего? И какая память останется от Бухбиндера — грязные носки под диваном? Просигналила машина. Я бросилась к окну и прочла на заднем борту грузовика надпись: «Осторожно, люди!».

СВОЙ МИР

Что-то творится, Боже, все время что-то творится. И с домом моим что-то случилось, что-то сделалось с моим домом, поселилась там злая сила, и не знаю, что теперь будет. Она ходит по моему дому, она все по-своему курочит, рассыпает по полу булавки и когтями сдирает обои. И не знаю я, что теперь будет, и не знаю, куда уйти мне и в какую щель мне забиться...

Такие писала стихи одна старая интеллигентная женщина. Она так давно была одна, что даже забыла, как ее зовут, потому что никто никуда не звал. Помнила сочетание звуков, что-то вроде Александры Васильевны, но она никак не могла понять, как это сочетание звуков связано с этим вытянутым лицом и невнятными глазами.

Просто она жила в своем мире. Просто с самого рождения она чувствовала расстояние между собой и всеми остальными. Даже родители ощущали эту дистанцию и только играли роли родителей, скорее для очистки совести, чтобы можно было сказать кому-то: мы сделали все, что могли.

В то место, где она жила, не долетали звуки чужих разговоров, и поэтому она не знала, о чем говорят люди между собой. И оттуда не было видно выражений их лиц, поэтому ее лицо было неподвижно и ничего не выражало, кроме усталости.

Усталость начала копиться от книг, больших и пыльных книг в библиотечных залах. Там ей было легко и спокойно, и можно было сидеть одной целый день, а под окном копошились и рыдали голуби. Там она познакомилась с единственным человеком, который захотел войти в ее мир, хотя бы ненадолго. Ничего хорошего из этого не вышло. Виталий был библиофилом и не знал, чего хотел.

— Чего ты хочешь, Виталий? — спрашивали его.

— Не знаю... То ли баклажку пива, то ли прижизненное издание Гомера.

Но она все равно жила в своем мире, а он — в своем. И поэтому они разошлись.

С этих пор она была одна всегда. Вначале она где-то работала, потом как-то незаметно перестала, и тогда встал вопрос — как провести время, которое вдруг расширилось до бесконечности. Куда пойти, чтобы оставаться одной и чтобы это не бросалось в глаза?

С утра она ходила в большой торговый центр. Там можно было долго бродить между маленькими магазинчиками, можно было посмотреть на людей, почему-то всегда возбужденных, глядящих на нее с победоносным и в то же время обеспокоенным выражением. Ей было интересно, как меняются их одежды от сезона к сезону, ей было интересно подслушивать фразы из их разговоров и размышлять над ними. И там она особенно отчетливо чувствовала, что никогда ничего не поймет в их жизни, и ее мир сгущался за ее спиной, как ночь. Тогда она писала свои стихи, странные стихи в строчку, без ритма и рифмы, но тревога не отпускала.

Еще одно хорошее занятие — ездить на автобусе от конечной до конечной, стоять на остановке и снова ехать. Автобус фыркает, взвизгивает колеса, а за окном покосившиеся заборы, сгнившая трава и разбросанные бумаги, одна из которых, поднявшись с ветром, летает над остановкой. Господи, до чего не хочется жить!.. А люди и здесь говорят между собой.

— Это болезнь такая, сахарный диабет называется.

— К бабке водила?

— Водила.

— И что?

— На сахар молилась, на сахаре траву настаивала, в рубашечку ему сахар насыпала и по комнатам сахар кучками разложила.

— И что?

— Да ничего.

Она думала, что с кем-то что-то происходит, кто-то болеет, кто-то выздоравливает, кто-то с кем-то сходится и расходится, кто-то куда-то уезжает, а ее мир всегда здесь, при ней, и она в нем, как в глубине морской. И эта морская глубина все глубже и глубже, все холоднее и холоднее.

И еще можно было просто ходить по улицам. Она никогда не выбирала дороги, а шла, куда вели ноги, и однажды ноги привели ее к тому дому, где она жила когда-то вместе со странным Виталием. Вот он — третий подъезд, пятый этаж, сорок восьмая квартира. И вот ее охватывает

домашнее тепло, и маленький Виталий в желтой футболке делает бутерброд с колбасой и наливает чаю. И там все по-прежнему, как будто бы не было всех этих лет, и те же ободранные голубые обои, и та же заржавевшая ванна с грязными разводами, и пятна от взорвавшейся сгущенки на потолке — следы существования ее мира.

— Здравствуй, — говорит ей Виталий.

— Привет, — отвечает она.

Но тут раздается звонок — и заходят соседи, хотя никто им и не открывает дверь. И старшая по подъезду, Амалия Ивановна, в огромном халате с красными цветами, кричит:

— Немедленно удалитесь отсюда, женщина. Как старшая по подъезду, я не позволю в своем подъезде сомнительных свиданий. Надо было в свое время выводить тараканов, и незачем тут пить чай и есть бутерброды.

А из-за спины Амалии Ивановны низенькая жена психиатра с четвертого этажа подпрыгивает и истошно кричит:

— Не дадим в обиду бедного мальчика! Пусть уходит, откуда пришла!

И опять говорит Амалия Ивановна, брызгая слюной от возмущения.

— Ты же ушла? Ушла. Зачем же было опять приходиться? Не надо приходиться, откуда ушла, если уходишь — не приходи, не надо возбуждать нездоровое любопытство.

— Пусть ответит, для чего она пришла в наш подъезд, — говорит жена психиатра.

— Да, пускай ответит, — соглашается Амалия Ивановна.

— Понимаете, я просто гуляла...

— Это ложь! — кричат они. — Мы требуем чистосердечного признания.

— Ну, если честно, — между прошлым и настоящим есть связь какая-то жуткая, а между прошлым и будущим — связь какая-то странная, и вот я...

— Ах, у нее здесь связь!

— Выгнать ее немедленно за незаконную связь!

И ее вывели из подъезда под конвоем. Впереди шла Амалия Ивановна, и огромный ее халат развивался на ветру, за ней, размахивая руками, бежала, жена психиатра, потом еще какая-то женщина с ребенком на руках, который оглушительно рыдал, а дальше шли остальные соседи и возмущались, возмущались, возмущались. Наконец они отстали. Она остановилась и долго глядела на свой бывший дом. Уходя, она заглянула в окно первого этажа. Там кухня, скошенный буфет и половина стола. И надо всем этим нависает седой старик, квадратный и кургузый. Он посмотрел на нее и сказал ясно и громко, как будто не было между ними оконного стекла.

— Вы странная женщина. Кто же говорит с Амалией Ивановной про связь между прошлым и настоящим, прошлым и будущим? Она же бестолковая, ей бы что-нибудь попроще, про эксгибиционизм или про вуайеризм на худой конец...

Она поглядела по сторонам и побежала сломя голову с этого проклятого места.

ЖЕРТВА ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Вся моя жизнь — результат психической травмы. Мой день начинается с избиения кошки. Кошка висит, качается, помахивает хвостом, закрыв глаза. А за окном солнышко светит, листочки дергаются, птички прыгают и пищат. А радио поет депрессивные песни.

Вся моя жизнь — результат психической травмы моей мамы. И вот я звоню ей по телефону.

— Здравствуй, мама, — говорю я, — чем занимаешься?

— Переживаю, — говорит она, — все время за тебя переживаю.

— И я тоже переживала, переживала и уже пережила.

Вся моя жизнь — результат психической травмы моих родителей. Этой травмой было, конечно же, мое рождение. Мама вышла из депрессии, потеряв моего папу. И папа вышел из депрессии, потерявшись. А я никуда не потерялась, к сожалению, только размножилась. У шизофреников бывает раздвоение личности, а у меня — размножение.

Вот я, Лена Карасик, бывшая красавица, со следами бывлой красоты на лице и на теле. Когда-то у меня был муж, маленький и юркий. Он все время лежал на диване, учил меня жить. А потом он умер, но я так ничему и не научилась. И вот теперь я лежу на диване и вспоминаю, как звала его канареечной, а он меня — бегемотиком.

И уже много лет прошло, а я все лежу на диване. И недавно угораздило же меня влюбиться в моего соседа Ленечку, в его толстенные ручки и карие глазки. И ничего он не знает про мою любовь, хотя каждый день я пишу ему письма. Пишу о моей тонкой душе, с которой всю ночь переключаются трамваи, о своем детстве, когда мы собирались всей семьей за круглым столом с белой скатертью и читали полное собрание сочинений писателя Абая. Только Ленечка ни на одно письмо не ответил, а когда я прямо его спросила, что он думает обо мне, он сказал:

— Госпожа Карасик, я к вам очень хорошо отношусь как к соседке и как к человеку, и за себя, и за писателя Абая.

Вот я, вторая сестра наркомана, тоже наркоманка. Я проглотила шприк и лечу по небу, размахивая волосами. Воздух свистит в ушах, огни болтаются под ногами. А внизу подружка моя, Машка Крутая.

— Это что за нафиг? — спрашиваю я ее. А она упала с ртутной антенны, картошку стаканами продавала. А картошка в стаканы не лезла. Так она ее повыкидывала, и надо домой. В троллейбус села, город поехал, а вода в кране горящая-горящая.

А я уже планирую на свой любимый пивбар, где ждет меня невкусная водка.

Вот я, врач-психиатр, и жена у меня психиатр, и обоим нам нужен психиатр. Я лечу депрессии, неврозы, алкоголизмы, анурезы, супружеские измены и другие нетрадиционные состояния души. Я прихожу домой как выжатый лимон. А жена уже встречает меня ласковыми словами:

— Сволочь! Скотина! Идиот! Где же наконец деньги?

А денег нет, потому что кругом ложь, подлость, предательство.

Вот я, старый, давно забытый писатель, у которого денег нет даже на бутылку водки. И думаю я, что давно пора мне успокоиться, то есть упокоиться и отдохнуть. Но я писатель и должен писать, даже если не пишется, даже если не печатают.

«Это было давно, — пишу я, — когда меня еще не было в живых. И между прочим, никто меня не спрашивал, хочу ли я этого. Теперь они извиняются и говорят, что хотели сделать мне подарок. Только не нужны мне такие подарки, слишком дорого они стоят».

Короче, полный маразм. А в столе у меня свидетельство о браке двух покойников, дочери моей и зятя. И снится мне, как сидим мы за столом, листаем мои книги или пьем чай и вместе плачем над всей этой глупостью.

Вот я, танцор-универсал в расцвете творческих сил. Я танцую рок-н-ролл, буги-вуги, ламбаду и брейк-данс, не говоря уже о вальсе, чарльстоне, гопаке и танго. А по ночам я ничего не танцую, а ворочаюсь с боку на бок и думаю: «Ямайка — остров или полуостров, остров или полуостров? Кажется, все-таки остров... черт бы его побрал».

Вот я, Папа Римский, иду под дождем в своем мантио и низко кланяюсь каждой кошке. Вот я, кошка, взирающая сквозь дождь на мантио Папы Римского с любовью и надеждой. Вот я... Господи! Как много нас, как мало фраз... В том-то и трагедия, Господи, что в несколько предложений помещается вся наша жизнь.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕЙ

У меня в мозгу морские коньки. Нет, я не брежу, просто мне нравится эта фраза. Она сразу вводит в курс дела и характеризует того, о ком написана. А о ком она написана? Неужели обо мне? Нет, если бы она была написана обо мне, то мне надо было бы признать, что я сумасшедшая. Но я не сумасшедшая, даже не ненормальная. И единственная моя навязчивая идея состоит в том, что у меня нет никаких навязчивых идей. Но я сознаю, что это навязчивая идея, и очень хочу от нее избавиться.

Поэтому я не могу сказать о себе, что у меня в голове морские коньки. Я могу только сказать, что на меня летит поезд. Снег падает, ветер свистит в ушах, а деревья, как злые руки, тянутся к небу. Я могу еще сказать, что я бегу и бегу, и ноги мои подкашиваются, а поезд все ближе и ближе, и я — где же это? Может быть, я уже под колесами поезда? Нет, конечно, поезд прошел мимо, я вполне живая, вот только как выбраться из этой незнакомой местности? Надо найти какую-нибудь маршрутку, а морских коньков никаких у меня в мозгу нет.

Нет у меня в мозгу никаких морских коньков. Какой смысл мне говорить о себе неправду? Все равно ведь, что бы я ни сказала, никто не узнает, правда это или нет, потому что никто не знает меня, потому что никто не знает правды. И какой смысл мне говорить о себе? Даже если в мозгу у меня морские коньки или морские котятки — всем ведь все равно, мало ли чего болтают ненормальные.

Вот и маршрутка нашлась, хоть и снег течет с неба, и люди вокруг как-то странно на меня смотрят. Чего они хотят от меня? В чем они меня подозревают? Может быть, они поняли, что я нездешняя? Может быть, они думают, что что-то со мной не так? Как же страшно ехать в этой маршрутке! Она прыгает, дрожит, виляет, за окном сгущается тьма египетская, и что-то дрожит и стучит там, вдали — резко, гулко, неровно, будто большое железное сердце сломалось.

И тут я случайно поглядела в окно, и там... А что там? Тьма сгущается, ужас сгущается, мимо пролетают чужие дома — один другого чужее. Один желтый, другой розовый, а потом глухая серая стена с надписью: «Люди, вы сволочи!». И там, возле этой стены, я разглядела своего соседа, студента какого-то института. Вот он нежно обнимает другого парня, гладит его руки, что-то говорит ему возбужденно... Странно, зачем я это увидела? Почему именно здесь? Какое мне дело до этого соседа и его сексуальной ориентации? Но все-таки — зачем-то ведь это случилось... А раз случилось — значит, это что-то значит...

Но вот я и дома. Не помню, как я вылезла из маршрутки и куда шла потом, ничего не помню с того момента, как написала, что у меня в мозгу морские коньки. Я еще много чего о себе написала, потому что мне нравится писать о себе. Так же точно, как всем нормальным людям нравится о себе говорить. И так же, как все нормальные люди не всегда помнят, что они о себе говорят, я не всегда помню, что о себе написала. Да и нужно ли помнить все, что пишешь, и тем более читать? По-моему, напрасный труд. Буквы складываются в слова, слова — в предложения, предложения — в фразы, но где же смысл? Когда много слов — нет смысла. Но когда мало слов — его тоже нет, потому что все понятно. И в одном слове его нет, и тем более в буквах.

Но с тех пор, как я увидела своего соседа, странно потекли мои дни. Однажды я пошла в магазин за какой-нибудь едой, но купила почему-то вот эту ручку, которой я сейчас пишу, и три розетки. А на обратном пути вдруг увидела свою приятельницу Марину, которая всегда мне рассказывала о своей семейной идиллии. Красная, злая, с мокрым лицом, она орала на блеклого мужичка с неприличным носом и методично ударяла его кулаком по плечу, а он тихо мычал: «Ну, мама... Ну, хватит...». Она тоже увидела меня — и заплакала, а я не нашла ничего лучшего, как поздороваться.

А потом были случаи помельче. Дня через три я натолкнулась на свою другую приятельницу. Она сидела в сквере с мороженым, которое уже текло по рукам, капало на платье, размазывалось по лицу, а она ничего не замечала, совершенно уйдя в себя. Я сделала вид, что не узнала ее, но буквально на следующий день, возвращаясь домой из больницы, — просто так захотелось зайти в больницу — давление померить, с врачами за жизнь поговорить, — я увидела свою бывшую одноклассницу, с которой не встречалась уже, наверное, лет десять. Она шла в обнимку с каким-то парнем, моложе ее лет на двадцать. Она меня не узнала. Но это еще не все. В тот же день, когда утренние сумерки медленно перешли в вечерние и снег наконец-то перестал, я увидела своего бывшего первого

мужа. Он был в тренировочных штанах, в синем свитере, он бежал, тихо, не торопясь, глядя прямо перед собой. Медленно проплыл он в морозном воздухе, посмотрел на меня, не мигая, и растворился.

Может быть, это все галлюцинации? Но если я сознаю, что это могут быть галлюцинации, то это вряд ли галлюцинации. Вот, боюсь, появится у меня навязчивая идея, будто у меня галлюцинации, и придется идти в больницу. Вообще-то многие идеи очень навязчивы и доводят до больницы. Но это — просто случаи со мной такие, с другими людьми тоже бывает.

Так думала я, возвращаясь из филармонии, где я слушала красивую музыку, которую написали для меня Шаинский, Шуберт и другие композиторы. Музыка была такая, что я ничего не видела вокруг себя. И все-таки увидела его. Моего второго мужа, бывшего и покойного. Он умер два года назад. Он шел прямо на меня, шел спокойно, медленно и, поравнявшись со мной, сказал: «Я тебя вижу». И я остановилась, и вначале заплакала, а потом засмеялась, а потом закружилась на месте, как волчок, и хотела сесть на снег, но вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Действительно, на меня смотрела директриса школы, в которой я когда-то работала, смотрела и качала головой. А я сказала ей почему-то: «Извините меня, Марья Абрамовна», — и побегала стремглав через дорогу, и тут же столкнулась со своей бывшей подругой, у которой когда-то украла учебник французской литературы.

И тут я поняла, что мы все друг друга видим. Ведь каждый время от времени, совершенно неожиданно для себя, застаёт своих друзей или знакомых в какой-то странной ситуации, когда было бы лучше обойтись без свидетелей. И точно также каждый когда-нибудь в самый неподходящий момент чувствовал на себе чей-то взгляд и узнавал какого-нибудь давнего знакомого. И значит, все мы друг друга видим, и никуда не скрываются от чужих глаз, и куда мы ни пошли, что бы мы ни делали, чьи-то глаза следят за нами — пристально, неотрывно, равнодушно.

Пронзенная этой мыслью, я подошла к моему дому. Чернели окна. И мои, на пятом этаже, тоже были черными. «Света нет — значит, никого нет дома», — подумала я. Как же так, я пришла — а никого нет дома? Что же мне теперь делать? Кто же мне откроет дверь? Разве можно так — человек пришел, и его никто не встречает? Куда же это я ушла? Ну что же, попрошусь ночевать к соседке. Не бросит же она меня на морозе. Приду завтра — может, я уже дома? А если меня не будет — опять пойду к соседке. Но не жить же мне у нее вечно... Что же мне делать, если завтра меня не будет? Если завтра меня не будет — как же мне быть? Как же быть, Господи?!

СОВСЕМ ДРУГОЙ РАССКАЗ

Сколько же можно писать об угрюмой и несчастной любви, о гинекологических креслах, на которых она обязательно кончается, об алкоголиках и ненормальных филологинях! Я хочу написать наконец-то о чем-

нибудь возвышенном и духовном, чтобы люди, прочитав, радовались и верили, просветлялись и возрастали в истине, а не утыкались носом в глухой забор и беспросветный мрак.

Мои старые герои живут уже совсем в другой эпохе, они частью рассеялись, частью потерялись, и я тоже куда-то потерялась. Но вот иногда, сквозь сумерки, я вдруг вижу нас всех. Как сквозь магический кристалл, проступают контуры большой светлой комнаты, и посередине накрытый стол, а за столом все они — еще вполне приличные, вполне интеллигенты, юные и одухотворенные, в меру изящные, в меру эпатажные. И на всех какой-то особый отпечаток — как будто что-то такое знаем, чего не знает никто. Как мы тогда вдохновенно самовыражались, как вдохновенно были несчастны! И никто еще не умер, не спился и опять не умер, и никого не съели комплексы и зависть, и никто еще не коротает ночи в вычислении собственной кармы и подсчете возможной даты выхода в астрал...

Слава Богу, ничего еще не случилось! А когда все это случилось, и все умерли или сошли с ума, никто ничего не заметил, потому что все время что-нибудь с кем-нибудь случалось, и все про это рассказывали мне, а я писала про это, как будто бы все это произошло со мной. А со мной ничего не случилось, и вот ничего мне не осталось, кроме как вспоминать эти рассказы и попытаться извлечь из них хоть что-нибудь поучительное и возвышенное.

Я ехала в одном купе с черным котом, которого всю ночь тошнило. В четыре часа утра его перестало тошнить, и я наконец задремала. Мне приснились черные резиновые шланги, которые сплетались и расплетались, обвивая странным узором длинную трубу парового отопления...

— Утопления...— сказал чей-то голос, и я проснулась. В соседнем купе бормотали:

— Если пьешь в себя, оно туда и уходит, а если пьешь на публику — оно туда и выливается.

А утро было серым и пахло пивом. Холодный сырой город. И прямо на асфальте написано: «Я люблю тебя, как дебил!». Это я приехала на конференцию в Вильнюс, и вот уже встречает меня мадам Спроге, кариатидная дама в пуховой шляпе, автор монографии «Секс в Африке».

— Как расходится ваша монография?— вежливо спрашиваю ее я.

— Тяжело, — отвечает она. — Так же, как я схожусь.

Она действительно была серьезна, как кариатида, держащая небо. Да, я знаю, небо держат атланты, но мадам Спроге выглядела именно так. И где она теперь? Какие небеса подпирает она своей пуховой шляпой? Тогда было смешно, а сейчас грустно, потому что ничего этого нет, никого нет...

Все мои мужья — бывшие или покойные, некоторые — и то, и другое одновременно. Честно говоря, это очень удобно и приятно — иметь несколько таких мужей на выбор. А если учесть, что у этих мужей есть еще и бывшие жены — тогда совсем хорошо. Мир становится обитаемым, узнаешь много нового о женщинах и мужчинах, и о себе. А самое веселое — когда все талантливые и у всех сложные взаимоотношения. Вот Кусик и Ленуся — бывшие жены моего бывшего и покойного мужа. Они

бывшие, но не покойные: одна живет в церкви, другая — в Израиле. Кусик и Ленуся очень любили друг друга, хотя Ленуся и называла Кусика за глаза старой вешалкой.

Они любили друг друга, потому что очень не любили меня, а еще потому, что обе были талантливыми. Ленуся была талантливой писательницей, а Кусик была талантливой стервой. Вообще в те времена и в тех кругах было неважно, какой у человека талант, главное, — чтобы он был. А без таланта жить было как-то неловко, поэтому талантливыми были абсолютно все. Главным признаком таланта были несчастья, поэтому все были несчастными, а возможность рассказать о своих несчастьях делала их почти счастливыми. И вот у Кусика и Ленуси только и было разговоров о том, как они были несчастны со своим бывшим и покойным мужем. Так что они очень любили друг друга, хотя временами и ссорились и искренне считали друг друга сумасшедшими. Но ведь нормальные люди никогда не бывают талантливыми, так что Ленуся в конце концов перестала писать, потому что писатели только собой любуются и только себя показывают, она же решила любоваться только Господом и только Господу показываться. И нашла она себя в детском садике с религиозным уклоном, сочиняющей колыбельные на божественные темы: «Тише, деточка, не плачь, даст Господь тебе калач, а кто в постель не ляжет, того Господь накажет».

А Кусик, при всей своей стервозности, хотела сделать что-нибудь пронзительное, завораживающее. Но этого никто не предлагал, и тогда она решила уехать из этой страны, где нормальным гениальным женщинам жить невозможно. Но и там она продолжает любить Ленусю, хоть и называет ее религиозной дурой.

А еще была актриса Лена Затескина, которая играла в основном кинеморе, но на самом деле должна была играть леди Макбет. А еще был профессор Застенкер, по призванию конюх. А еще была поэтесса Ниночка, которая всех любила, и поэтесса Танечка, которая ее осуждала... Господи, мы же все такие хорошие! Нас воспитывали хорошие родители, которые старались воспитать нас хорошо. Мы учились в хороших школах, и некоторые даже хорошо учились. Мы учились в хороших институтах, а потом хорошо работали. Мы влюблялись в хороших людей и старались, чтобы им с нами было хорошо. Господи, мы такие хорошие, что с нами не должно случиться ничего плохого!

Вот хотела я написать что-нибудь возвышенное и духовное, но ничего у меня не получилось. Просто это возвышенное и духовное все время от меня куда-то прячется. Но жизнь — это большое картофельное поле, и пока его перейдешь, может встретиться все, что угодно, даже то, чего никогда не было, то есть духовное и возвышенное. Просто надо идти и идти, под солнцем, в сгущающихся сумерках, по этому огромному полю, где тихо ходит трактор и там, вдали, в тумане, под розовыми перьями пушистых облаков, ругаются пьяные бабы.



Дмитрий ТРИБУШНЫЙ

/ Донецк /

* * *

Быть человеком некрасиво,
Когда всю ночь идут дожди
И осень местного разлива
Везде, внутри и впереди.

Грустят привычно пешеходы,
С утра грустит городской
И только дворницкие роты
Ведут с листвой неравный бой.

К подошвам пристает усталость.
Уходит солнце без причин
И стойко призывает жалость
В ночи бредущий гражданин.

* * *

Валентину Сильвестрову

Еще не музыка, но все же.
Дугой согнулись деревья.
Слезит сентябрь непогожий.
Дрожит уставшая листва.

Чуть выше музыка, чуть выше.
Чуть выше крыш, чуть выше дна.
Не там, где ты ее услышал,
А там, где Бог и тишина.

* * *

Король раздет. Народ послушен.
Ямщик не гонит лошадей.
И плачет ветер простодушный
Над телом родины моей.

Ее пристроить невозможно
Ни как подарок, ни внаем.
Молчит небесная таможня.
Не принимает чернозем.

Душа не поместилась в тело,
В распивочной теряет стыд.
И ни о чем на самом деле
Звезда с звездой не говорит.

* * *

Говорят, что я умер,
Только слухам не верь.
Я уехал в Ванкувер,
В Филадельфию, в Тверь.

Прогони неотложку
И неожиданную грусть.
Я исчез понарошку
И конечно вернусь.

Перелетные звезды
Превращаются в дым.
Пусть венки и погосты
Выбирают другим.

Напишу ниоткуда:
Не дожди, не грусти.
Я когда-нибудь буду,
А пока отпусти.

* * *

Если пророк пуст,
я остаюсь в залог
Пить из твоих уст
горьких берез сок.

Ветер унес грусть
или принес весть.
Стало быть, остаюсь,
и остаюсь весь.

Хлынет из вен ртуть
на голубой наст.
Может быть кто-нибудь
сверху найдет нас.

* * *

Плывут прощальные такси,
Такси печальные немного.
Так тихо, словно о Руси
Отдельный замысел у Бога.

Дрожат далекие огни.
Дрожат дежурные трамваи.
Так тихо, словно мы одни
Внутри промышленного рая.

Висит прощальный звездопад
Над черным зеркалом канала.
Так тихо, словно мы назад
Вернулись. В самое начало.

* * *

Сократ поспешен, Кант пристыжен —
На город выпал первый снег.
Откроем небо и запишем —
Декабрь, двадцать первый век.

День воскресенья. День покоя.
Упокоенья ищет твердь.
Березы умирают стоя,
Как будто существует смерть.

Как хорошо, как слава Богу,
Что я обиды не держу,
И понемногу-понемногу
В холодный сумрак ухожу.

Прощай навеки, двадцать первый,
Простите нас, Сократ и Кант.
Играй на обнаженных нервах,
Играй, Небесный Музыкант.

* * *

На григорьевском базаре
Разноцветный люд.
Лихо пляшет под гитару
Пьяный лилипут.
Все заветные желанья
Исполняют здесь.
Даже яблоко познания
Предлагают съесть.

В ветошь спрятался несчастный
Глиняный дракон.
Жизнь знакомая отчасти
Переходит в сон.

* * *

Будет ночь тверда, как камень
И проста, как боль.
Выйдет ежик из тумана
В новую юдоль.

Сквозь тревожные вокзалы.
Через города
Будет ночь вести устало,
Как волхвов звезда.

Будут петь ночные птицы,
Как в последний раз.
Будет время торопиться,
Только не для нас.

* * *

Огонек такси
Тихо догорает.
Если ночь грустит,
Значит, что-то знает.

Трудно ли найти
Повод для кручины?
Если ночь грустит,
Значит, есть причина.

Догорает сад —
Не поет, не плачет.
Этот листопад
Все переиначит.

Догорел старик
В грустной неотложке.
Догорел ночник
В темноте тревожной.

Поезда во тьму
Словно дезертиры.
Что еще возьму,
Расставаясь с миром?

* * *

Хромой и некрещеный,
Роняющий печаль,
Почти развоплощенный,
Куда-то шел февраль.

Голодные собаки
Ему смотрели вслед
И собирался плакать
О феврале поэт.

Спешили почтальоны
Вдоль улиц без лица,
Чтобы раздать влюбленным
Картонные сердца.

* * *

Луну над городом повесили.
Февраль притих.
Агенту мировой поэзии
Шлет белый стих.

Развел на нашей территории
Свою метель.
Столичный гость пришел в Шахтерию
Искать шинель.

Мы, если верить сообщениям,
Народ простой.
Сюда, как в рай, за опрощением
Спешил Толстой.

Увидит странник неприкаянный —
Здесь все, как встарь.
Ночь, депрессивные окраины,
Ларек, фонарь.

* * *

Поэзия должна быть грустноватой,
Как поздний вечер в городе чужом,
Как памятник забытому солдату,
Оплаканный химическим дождем.

Еще должны салютовать фонтаны,
Извозчики лететь на красный свет,
И менестрели в переходе пьяном
Рассказывать о пачке сигарет.

Должны дрожать дежурные вагоны,
Энергию нанизывать на нить
И сталкеры в промышленную зону
Должны людей за счастьем отвозить.

ОРФЕЙ

И снег звенит, и путь открыт,
Но не смотри назад,
Туда, где рукопись горит
И вырубает сад.

Туда, где воля и покой
Останутся другим,
Где вьется черный часовой
Над городом твоим.

Туда, где музыка смогла
Разжалобить богов,
Туда, где все сгорит дотла —
И слово, и любовь.

14 марта 2013 г.



Дмитрий ПАСТЕРНАК

/ Донецк — Киев /

МИЛИТАРИ СТАЙЛ

В библиотеку Британского Совета, что на Подоле, может прийти каждый. Хотя бы, чтобы воспользоваться туалетом или дождь переждать. Никто не спросит, зачем. Читательский у меня, конечно, есть, но меня еще ни разу не попросили его предъявить. Если только я не беру книги домой. А домой я их не беру, потому что давно перестал дочитывать книгу до конца, — только первые страницы.

Я набираю книг и усаживаюсь в кресло. Кресла модные в стиле де-лай-вид-что-тебе-удобно. Сидишь, как в пол-литровой банке. Локти на уровне головы. Я приношу себе кофе из автомата, что стоит в холле. Опять же, меня никто не останавливает, хотя заходить с едой и напитками запрещается. Но не останавливают. Вообще, эта анонимность, вежливое наплевательство мне нравятся. Пока ты не нарушаешь правил, причем явно, вызываясь, до тебя здесь нет никакого дела. Не знаю, что такого нужно сделать, чтобы тебя выставили или хотя бы сделали замечание: рвать книги, разбить компьютер... Самое простое — попытаться вынести книгу без регистрации. Запищит сигнализация, встрепенутся охранники. И если ты не дашь себя обыскать и не предъявишь к осмотру сумку, то применят силу. А вздумаешь сопротивляться — повалят на пол, будут заламывать руки. Растоптанный, с закрученными назад руками, ты все же успеешь увидеть, что весь Британский Совет в белых рубашечках смотрит на тебя, придурка, который зачем-то осмелился вынести без разрешения эти никому не нужные книги.

Пока я размышляю, о чем может быть роман под названием «Солдат всегда солдат», по ВВС показывают умирающих от голода детей в какой-то африканской стране. Интонации и лицо репортера трагические. Когда последует команда «снято», и можно будет опустить микрофон, репортер вытрет со лба пот и бросит оператору: *сматываемся отсюда, эта Африка меня доконает*. Дома, в пригороде Лондона, его ждет полугодичная задолженность по кредиту и записка от жены, которая решила начать новую жизнь. А что ему делать, в его сорок три, из которых он половину провел в командировках по горячим точкам планеты, со своей холодной

жизнью? Слава богу, в это время или чуть позже, когда он уже прихлопнул бутылку сухого красного, звонит шеф и после краткого — отличная работа, между прочим сообщает, что в афганистане (чили, сомали...) теракт (государственный переворот, выборы...), и что нужен репортаж, и билеты уже заказаны... И ты вдруг понимаешь, что это самый правильный, более того, единственный для тебя выход. Тебе даже сумку собирать не нужно, ты ведь ее и разобрать не успел. Остается взять, что почитать в самолете, и после минутных сомнений ты выбираешь «The good soldier». Старина Форд не подведет. Тем более что прочесть книгу так и не удастся. Разве что первые страницы.

Народ ищет, где бы в Англии поучиться или поработать, или получить грант. Вот очкарик в красной вязаной кофте натащил справочников и альбомов с видами — готовится к своей первой загранице. Наверное, на стажировку. Он еще не знает, что виды не совпадают, что ничего из того, что он здесь нароет, там ему не пригодится. Что, на самом деле, и ехать никуда не нужно — Англия уже здесь: с запахами (сухие лепестки лаванды и розы в вазах на столах), правилами поведения и утренними газетами.

Рядом со мной — бритоголовая девушка. На ней футболка с Че Геварой на груди и камуфляжные штаны. Милитари стайл. Ее лысая голова мне симпатична, она не вызывает агрессии, как это обычно бывает при виде бритоголовых. Девушка ждет звонка на мобильный. То и дело хватается за трубку, но звонят мне. Я чувствую ее раздражение, но что я могу поделать — я бы и рад, чтобы мне не звонили.

Иногда я кажусь сам себя каравеллой, дрейфующей по морю, без направления и надежды на землю на горизонте. Днище мое все больше и больше обрастает водорослями и ракушками, и этот груз тянет меня вниз. Я сам удивляюсь, когда я успел всем этим обзавестись, вплоть до захлапленного балкона, куда складываю инструменты и запчасти от быттехники. По большому счету, мне, кроме отвертки и молотка, не понадобился ни один инструмент, а нынешние пылесосы и стиральные машины вообще не предназначены для ремонта. Но все это я зачем-то храню, надеясь в один прекрасный день — на выходных — со всем этим разобраться: что можно отремонтировать — отремонтирую, ненужное — выброшу. Но выходные приходят, и вместо балкона я еду сюда, в английскую библиотеку, листать книжки.

Девочка этого не знает и злится. Я мешаю ей заниматься. Она права, библиотека не предназначена для переговоров. Но у меня мало времени, я не могу прийти сюда в другой раз. Мне хочется погладить ее бритую голову, наверное, она теплая и мягкая.

Мы все хотим, чтобы нас любили, и стараемся как можно дольше понежиться на таком себе Лав Бич — курорте, где «все включено», сами же любим вполсилы, вполнакала, подготовив ходы к отступлению на всякий случай. Тактика и стратегия уличных боев и шапочных знакомств. Я предлагаю девочке кофе. Она говорит, что и сама может взять себе кофе, и не кофе, а молочный шоколад. Я иду в холл. Когда у меня готовы два стаканчика шоколада, выходит она:

— Покурим?

Мы выходим на крыльцо. Она достает тонкий позолоченный портсигар. Видно, что ей доставляет удовольствие им пользоваться. Предлагает сигарету. Прикуриваем моим пластмассовым «крикетом». Комья снега разбросаны по асфальту. Солнце уничтожает последние дивизии зимы. Кругом вода. В воздухе запах перегнившей травы.

— Уезжаешь? Или для себя учишь? — я киваю на Британский Совет.

— Пытаюсь уехать. Но голимо выходит — с визой облом за обломом.

У нее проколота бровь, металлическое колечко блестит на солнце.

— А ты?

— А я здесь прячусь. Тоже голимо выходит, — я показываю на мобильный.

— От жены прячешься?

— Кроме жены, прятаться не от кого?

— Да нет, просто это первое, что приходит в голову, когда видишь таких, как ты.

Я хотел было сказать, что при виде лысой девушки в камуфляжных штанах оригинальных мыслей тоже не возникает, но промолчал.

Ее звали Оля — не очень подходящее имя для милитари. Ольга звучит жестче, но она представилась Оля. Вообще я ожидал клички или ника, но ничего такого. Что-то она, конечно, не договаривала — просто избегала касаться, в остальном говорить она любила — я больше слушал. Хотя, возможно, все должно было быть наоборот — должен рассказывать мужчина, тем более если он вдвое старше. Сколько я наблюдал мужчин с благородной сединой, сидящих в ресторане с девушками. Говорили они, мужчины. Истории из жизни — без лишних подробностей, адаптированные для старшего школьного возраста. Девушки слушали, сложив ладони лодочкой или держась за бокал с дорогим вином.

Мы пили пиво, и больше говорила она. Мы много спорили. Она ненавидела (ее слово) мою пассивность. Отсутствие амбиций. Но какие могут амбиции в сорок лет? И дело не в том, что мне уже никогда не стать тем, кем бы я хотел стать. Напротив, сорок — это время когда научаешься быть тем, кем стал. Жить на своей территории. По тому, как легко и часто она произносила это *ненавижу*, было видно, что она совсем не знает, что значит ненавидеть. Может поэтому, ее слова меня не задевали.

Я не был удивлен, когда она предложила мне переспать. Еще одна оригинальная идея: переспать с сорокалетним мужчиной. Я сказал, нет. Она обиделась. Отодвинула мороженое. Полезла за портсигаром. Открыла и закрыла. Послушала, как щелкает замок. Когда она наклонилась через стол, чтобы прикурить от моей зажигалки, ее лицо вытянулось, как у водоплавающего зверька. Оля взяла зажигалку и стала ее рассматривать. На зажигалке была девица со здоровенной грудью.

— Это не ее тело. Или голова не от этого тела.

— Девочка, наверное, повесила фото в Интернете на сайте знакомств. Им и воспользовались. Я слышал, такое практикуют. И платить не нужно. Очень удобно.

— А я бы даже хотела, чтобы мое фото вот так использовали. С чужим телом. На зажигалку. Или на игральные карты.

Иногда мне хотелось дать по заднице этой бритоголовой че геваре. Но с ней было хорошо. Это не зависело от того, что она говорила, и где мы с ней сидели, тем более мы почти не меняли дислокации наших встреч. Обычно сидели в подвальчике на Лютеранской. Это кафе больше напоминает бункер, чем кафе: деревянные, грубо сколоченные столы и лавки, голые стены, кое-где открывающие кирпичную кладку, лампы, свисающие с потолка на длинном проводе с абажуром в виде плоской жестянки. Я ожидал увидеть у официантов калашник за спиной, но обошлось. Оле все это нравилось. Музыка не била по мозгам, — что-то отдаленное, будто доносящееся с улицы пение или рояль. И здесь было прохладно без кондиционеров, что тем жарким летом имело еще какой плюс. Пиво, признаю, было *супер*. Это опять же ее слово — одно из самых любимых. Как для восторга, так и для возмущения. Кроме пива, подавали вкусные десерты, которые Оля любила наравне с пивом, а может и больше.

— Я сегодня одному психу чуть ухо не откусила.

Она забралась на лавку с ногами, причем ноги переплела так, что и профессиональный циркач позавидовал бы. Достала из своего золотого портсигара сигарету. Отхлебнула пива. В ее руках кружка выглядела огромной. Пила она медленно — я успевал выпить две, пока она справлялась с одной, так что я допивал ее пиво и заказывал нам еще по кружке, причем она никогда не соглашалась на 0,3, всегда — большой бокал.

— Уши? Это как?

— Короче, еду в метро. Он, типа, стоит впереди меня — голова лысая, отполированная на затылке, хоть смотришь, и такие большие два уха. Рельефные. Он спиной стоял — лица я так и не увидела, но уши! Живые, отдельные от головы. Сами по себе. Супер! На что-то морское похожи — устрицы там, гребешки — хотела вцепиться зубами и откусить на фиг.

— Ну и кто псих после этого?

У нее были белые и мягкие, как сдобное тесто, руки. Руки, которым больше идут вечерние платья, чем футболки новобранцев. Я не понимал, зачем ей все это: камуфляж, пиво, Че Гевара...

Как-то мне пришла в голову мысль, что стоит ей только отрастить волосы и сделать прическу — хотя бы просто завить, и надеть платье — и я не узнаю Олю, пройду мимо. Или брошу оценивающий взгляд — что за кобылка? Это будет уже не Оля. По крайней мере, не моя Оля.

— Вчера встретил двух школьниц. Лет по двенадцать. Они сначала шли впереди меня — всю дорогу хихикали и толкались. Потом я их обогнал. Я чувствовал, что они на меня смотрят, — их хихиканье и шепот стали какие-то особенные, конспиративные. Потом одна из них меня окликнула: «Дядя, дядя!». Я оглянулся — да, это меня она звала. «Дядя, а как вас зовут?» Я не ответил. Как шел, так и продолжал идти. Но маленькая дурочка не унималась, — *дядя, а дядя, ну как вас зовут?* Я от них уходил — они шли медленнее, но это *дядя* гналось за мной и гналось.

— Ты что молоденьких девочек испугался? Послал бы их.

— Скажешь тоже...

— Тогда погрозил бы пальцем и так строго: девочки, ведите себя прилично.

— Да не мог я ни послать, ни сказать. Ничего не мог.

— Импотент сорокалетний.

После знакомства с Олей мне все больше попадают люди в камуфляже. Иногда при полном комплекте — от берета до ботинок. Кажется, что город вовлечен в секретную операцию, в которой участвуют солдаты всех европейских стран: темно-зеленые немцы, светло-песочные бельгийцы, бордовые итальянцы. На некоторых форма — как родная. Настоящие профи. Не хватает только оружия. Правда, встретившись с ними взглядом, понимаешь, что оружие — это лишнее. Они и без оружия... Другие, выглядят, как последний, вынужденный, призыв, куда попали увечные, сумасшедшие и студенты филологических факультетов. Весь этот камуфляж висит на них, как на пугалах огородных. Но и «профи», и «студенты» знают расстановку сил. Они знают пароль и отзыв. У каждого есть задание. Встречаясь на улице, они обмениваются тайными знаками, передают шифровки и радиограммы. Я не раз замечал на их лицах выражение превосходства. Только они, люди в камуфляже, знают о времени начала операции, — когда будет дан сигнал. И только у них есть карта местности и план эвакуации. Они уверены, что спасутся первыми.

В воскресенье повел свое святое семейство в зоопарк.

Дети тянули руки к зверям, звери не обращали на них никакого внимания. У лисы мех лез клочками, она совсем не походила на тех лисичек, что нарисованы в детских книжках. Больше всего впечатлил бегемот — и Лиза, и Саша долго стояли и смотрели на неподвижную глыбу, засевшую в грязи. Глаза их светились от восхищения и даже какой-то зависти... Белые медведи грязновато-пепельного оттенка пытались наладить свои интимные отношения. Самец настырно лез на самку, та как-то безучастно воспринимала его домогательства — не протестовала, но и помогать ему отказалась. Мишка заходил то с одной стороны, то с другой, наваливался на нее, наконец, ему удалось овладеть самкой, и он, положив голову ей на спину, стал энергично двигаться.

— А что мишки делают, папа? Играются? — стал спрашивать маленький Саша. Семилетняя Лиза молчала, взгляд ее выражал смесь разочарования и жалости.

Потом я отправил жену с детьми кататься на паровозике, а сам пошел на поиски соточки коньяка. Зоопарк на меня плохо действует. Мне все это разноклиматическое зверье кажется ненастоящим — пластмассовым, плюшевым. Зоопарк вообще нереальное место — здесь выпадаешь из времени, когда б ни пришел: в жару или осенний дождь. Время не то что останавливается, оно вообще исчезает как таковое. Я плохо переношу такие подвешенные состояния. Одно дело черепахой ползущее воскресенье с послеобеденным бездельем, ворчаньем жены, очередным футболом и пивом, которое потихоньку пьешь, а сумерки заполняют комнату, и свет от телека становится ярче и локальной. Другое дело — львы,

полярные медведи, королевские пингвины, жирафы с глазами еврейских невест... — и все они здесь и сейчас. Вечный полдень. А возможно ничего такого в этом и нет, просто выпить захотелось.

Коньяк я нашел быстро, — павильончики-кафе предлагали широкий выбор выпить-закусить. Да, кормежка для людей в зоо организована не хуже, чем для животных, а может, я вспомнил худых лисиц, и лучше. После коньяка время сдвинулось с мертвой точки, и пошло, да так быстро, что оказалось, что мне уже давно пора возвращаться к своим. Как назло, я еще и место встречи перепутал. Я бегал как угорелый от клетки к клетке, пока не наткнулся на африканских коров ватусси. И стал как вкопанный.

Клянусь, я в жизни не видел животных изящней, чем эти коровы. Арабские скакуны им и в подметки не годятся. Они меньше обычных коров, шкура песочно-коричневого оттенка, но главное — их рога. Огромные, изогнутые. Эти животные долгое время считались вымершими, пока их не обнаружили в Восточной Африке у племени ватусси. Они там считаются священными. Глаза у них такие, что кажется, они понимают человеческую речь и могут говорить, но предпочитают молчать.

Здесь меня и нашли жена и дети. Жена сказала, что, кажется, в зоопарке появился новый осел. Дети тотчас же захотели увидеть этого осла.

— Это ваш папа, — сказала жена.

— Ну не начинай, не начинай, — сказал я.

— Я и не начинаю, а ты, кажется, уже успел набраться.

— Скажешь тоже, набраться — пятьдесят грамм выпил.

— Не порть нам выходной. И что ты прирос к этим коровам.

Тут Саша попросился писать, а Лиза захотела есть. Я сводил малыша в туалет, а Лизе купил пирожное. Жене пообещал, что на обратном пути зайдем в торговый центр. Мир был восстановлен. Мы двинулись к выходу. Уходя, я еще раз обернулся посмотреть на священных коров ватусси. Мне вдруг очень захотелось увидеть Олю.

Она говорила, что участвует в акциях протеста, демонстрациях. Они регулярно собираются, у них есть программа. Их разгоняли, но она все равно снова туда пойдет. Нужно бороться, а плыть по течению — это трусость. С наступлением осени мы перебазировались в Шевченковский парк. Сидели с пивом на лавочках. Оля то и дело вскакивала, размахивала руками. Я давал ей время выговориться, наслаждаясь солнцем, пробирающимся сквозь кроны деревьев.

В сентябре было еще тепло, на дорожках уже валялись сухие листья, хрустящие под ногами, как чипсы. Шахматисты за столиками надели кепки и плащи, заранее готовясь к холодам. Эти шахматисты, в основном пенсионеры, хотя попадают и сорокалетние, приходят в парк чуть ли не с самого утра. Усаживаются за столики, раскладывают шахматные доски. Часто вместо досок они раскладывают закуску и достают водочку. Но это не обязательно. Главное — шахматы. Ни дождь, ни снег не могут согнать шахматистов с их мест. Они ни на что не отвлекаются. Гудки автомобилей, застрявших в пробке, визг и громкая болтовня студентов,

пьющих поблизости пиво, плач малышей в колясках, — ничего этого для них не существует. Кажется, они никуда и не уходят вечером, а тут и живут, составляя неотъемлемую, главную, часть парка.

— Ты там еще не сидишь? — с насмешкой спрашивала Оля, — вроде как пора.

У нее вообще была такая манера спрашивать о моей жизни — с иронией, даже иногда с издевкой, будто ответ ее вовсе и не интересует. Хотя спрашивала она много и слушала внимательно. Даже чересчур много — ей хотелось знать, где я бываю, как провожу выходные, сколько раз в неделю у нас с женой секс — и это тоже ее интересовало. Иногда ее вопросы выводили меня из себя, но Оля умела вернуть доверие — заглядывала в глаза, гладила по щеке, целовала.

С шахматистами я еще не сидел. Хотя признаюсь — проходя через парк, я не раз ловил себя на мысли, что завидую им. Мне хотелось отметить встречу, сказать всем, что заболел или уехал в длительную командировку и сесть за столик. В шахматы я играю неважно, не просчитываю ходы, но, думаю, потренировавшись неделю-другую, я бы научился.

В начале ноября Оля объявила, что вроде как все разрешилось, и она должна ехать в Англию. Почему должна и что она там будет делать, этого она мне не доверила. Сказала, что партия поручает мне занять очередь за визой. Сама Оля уже два раза проспала.

Занять так занять. Для меня это не трудно. Я научился вставать без будильника. Еще одно преимущество сорокалетних. Стоит только напомнить себе вечером, когда нужно подняться. Дать установку.

В шесть я уже трясся в трамвае на Лукьяновку. Прислонившись к стеклу, я дремал, а когда открывал глаза, то предрассветная, считай, ночная, темнота и пустота улиц с одинокими уборщиками ввали, что сейчас вечер и я возвращаюсь домой.

Очередь в британское посольство формируется на аллее в парке. Или это скорее сквер с обязательным фонтаном и с фонарями в виде белых шаров. Под одним из таких фонарей я и нашел жаждущих получить визу. Вообще удивительно — как бы рано ты не пришел — хоть в час ночи, всегда уже кто-то тебя опередит. Они стоят как фантомы. Погруженные в свое нетерпение или сонную апатию. И, как правило, это такие же сорокалетние мужики, как я. Наверное, тоже занимают очередь своим чегарам.

Стояли поодиночке, нерасположенные к общению в такой ранний час. Или уже сказывался инстинкт соперничества — кому-то ведь визы может не хватить. Здесь, в очереди за визами, особенно чувствуется, что покидаешь страну. Даже если речь идет о недолгой поездке, не говоря уже о навсегда. Шестьсот с копейками квадратных км твоей родины спрессовываются до одного ночного сквера и фонаря возле ограды.

А потом вдруг как по команде потухли фонари, и как по команде наступил день. Народу перед посольством все прибывало. Завязались разговоры, в основном на тему, что в какой графе писать и по какой причине могут отказать. В полдевятого нас запустили на территорию.

На проходящих служащих посольства, перед которыми охранник без слов открывал двери, толпившийся народ смотрел как на небожителей. Вскоре охранник соорудил из загоронок нечто вроде коридора. Заходим по пять, — объявил он.

Наша пятерка состояла из студента в джинсовой куртке, посиневшего от холода, менеджера, уверенного в положительной исходе, девчонки в кепке, со стопкой паспортов наготове, — наверное, представителя тур-компании. Она не спорила, не возмущалась. Просто спокойно ждала, уже в тысячный раз выстаивая эту очередь. И была еще *жіночка* в мохеровом берете, рассказавшая, что *іде до дочки у Манчестер*.

Когда подошла очередь, Оля еще не было. Я начинал нервничать, теряясь в догадках, что могло ее задержать, хотя в глубине души, надеялся, что она не придет, и даже вообще откажется от поездки. Но она появилась. В своем неизменном камуфляже и куртке с немецким флагом на рукаве. С рюкзаком через плечо. При первом взгляде возникала мысль, что девочка перепутала посольство с военкоматом.

— Привет. Что уже пускают?

— Ты бы появилась к двенадцати, тогда бы...

— Ладно, ладно, не злись. Есть еще время покурить? — и она полезла за своим портсигаром.

— Оля! Куда покурить, мы и так пропустили свою очередь!

— Ой-ой-ой... Тебе бы учителем в школе работать — Оля, к доске!

Какая несправедливость! Я вовсе не был таким строгим и методичным, а Оля такой уж пофигисткой, но оба мы попадали в эти роли, в эти интонации, как в гольфе мячик падает в лунку. В этом была наигранность и, повторяю, несправедливость, но такой была наша близость, наши отношения, и с этим ничего не поделаешь.

Внутри нас встретили двое охранников — парень и девушка. Они были, как им и положено, отчужденно вежливы и методичны в осмотре. Обыскав, просветив и несколько раз заставив пройти между створок-детекторов, они пропустили нас в общий зал.

Я думал, что Оля будет заполнять анкету, клеить фото и прочее, но оказалось, что у нее все уже было готово — бумаги в папке лежали пронумерованные, анкета заполнена. К папке были пристегнуты две ручки. На случай, если одна выйдет из строя. Не такие мы уже и пофигисты.

Пока стояли в очереди — и тут была очередь — на сдачу документов, я осматривался. Все здесь было причесано, выверено. За стеклом, в кабинках, сидели оптимистически настроенные, но строгие англичане, взвешивающие твою душу на весах своей лояльности королеве и общеевропейским ценностям.

После сдачи документов, мы сели ждать вызова к окошечку. Почти все места в зале были заполнены. Люди ждали. Ждал студент в джинсовой куртке, ждал менеджер, мучаясь, что мобилка отключена, — правила здесь соблюдались четко. Девушка из турагентства уже стояла у окошечка и просовывала за стекло списки. *Жіночка* в берете еще возилась с анкетой.

Оле хотелось забраться на кресло с ногами, и раз она-таки отважилась, но тут же села *как люди*, встретив неодобрительный взгляд охран-

ника. Вообще вся она была какая-то дерганая, нервная. Теперь, когда не надо было ничего делать: ни стоять в очереди, ни проверять документы, ее беспокойство было заметно. Я погладил ее по голове — будто цыпленка в руку взял или спелый плод киви.

— Давай уедем вместе? — ни с того ни сего предложила Оля.

— Куда и зачем?

— Значит — не поедешь. Я так и думала.

Я вспомнил свой балкон, вспомнил шахматистов в парке.

— Я, пожалуй, останусь в *своих* окопах.

— Ну и оставайся, — бросила Оля, но тут же добавила, сглаживая резкость, — а я пойду за кофе. Тебе взять?

Кофе-автомат оказался неисправен. Или Оля не то нажала, или не в той последовательности, но кофе не полился. Она сказала об этом охраннику. Флегматичный парень ответил, что он за кофе не отвечает, и что минуту назад с автоматом было все в порядке. «Тоже мне посольство», — Оля пнула автомат ногой и вернулась на место.

— Супер, супер, — кипела она от возмущения.

Вызовы к окошкам стали чаще. Не приходило минуты, как объявлялась чья-то имя-фамилия и избранник богов с тревожным и нетерпеливым видом спешил к указанному окну. Те, кто остался сидеть в зале, с завистью смотрели ему вслед. Это было похоже на игру в лото, только вместо номеров выкрикивались имена.

И тут объявили: Ольга К. — седьмое окно. Оля встрепенулась. Пошла, на полдороге вернулась за папкой.

— Ни пуха, — только и успел сказать.

Ее там долго спрашивали. Она что-то объясняла, показывала бумаги. Англичанин кивал. Он был похож на молодого Пола Маккартни. Может быть, если бы с Битлз ничего не получилось, из Пола вышел бы неплохой служащий.

Наконец, Оля вернулась.

— Нужны оригиналы, — сказала она, — как я их всех ненавижу!

Я стал собираться, считая, что дело на сегодня закрыто. Оля так не считала. Она снова подошла к окошку и еще раз попыталась что-то объяснить Полу Маккартни. Оля говорила быстро и сбивчиво. Маккартни кивал, даже улыбнулся во весь рот один раз, но все же отказал.

Я так и не понял, чем она его выманила наружу. Сидел он за стеклом, ставил *разрешено* или *отказано*, а тут вышел, — что она ему пообещала? Только дверь приоткрыл, Оля уже была тут как тут. Ухватилась за галстук, закричала в лицо:

— А ну ставь свою поганую визу, быстро ставь.

Англичанин пытался освободиться — оторвать Олю от себя, но она вцепилась в него, как звереныш.

— Не подходи, а то задушу его! — крикнула она охраннику.

Тот и не думал подходить, слишком уж неправдоподобным казалось это нападение. После Олиных слов он миг был рядом и сгрел Олю в охапку. Она его укусила, вырвалась, но парень тут же повалил ее на пол. Уже на полу она попыталась вытащить у него пистолет из кобуры.

Я даже не успел ей помочь. Подоспели еще охранники, Олю подняли и увели в одну из комнат для собеседований. Растерзанный Маккартни приходил в себя.

Я вышел из посольства. Поднялся по ступенькам мимо будки с охраной и попал в сквер, где утром занимал очередь. Я видел каждое дерево, каждую ветку, каждую трещину на асфальте, и в то же время сквер был окутан молочным туманом, что там было за, нельзя было ни услышать, ни увидеть.

У меня осталась Олина папка с документами. Оля мне ее отдала, когда первый раз вернулась с переговоров. Я сел на бортик фонтана, который, судя по куче мусора на дне, не первый год уже не работал, и открыл папку.

Я не был застигнут врасплох. Что-то подобное я и предполагал. Можно было только порадоваться за Олю — ее избранник оказался вполне состоятельным и... короче, не последним парнем на деревне. Какие-то акции, автомастерская... Стабильный доход. Вряд ли он мог предложить Оле небо в алмазах, но устроенную спокойную жизнь — вполне. И само собой — британский паспорт.

И он вовсе не выглядел на свои сорок пять. Впрочем, фотография могла быть и устаревшей. Точно, устаревшая. Минимум лет на пять. Хотя это и не важно.

Мне-то что? Говорю же, я примерно так себе все и представлял. И могло ли быть иначе? Все так, все так. Тогда почему Оля беспокоилась? Отказа в визе быть не могло — все приглашительные письма, все гарантии были налицо, вплоть до выписок с банковских счетов. Никаких проблем. Разве что мелкие формальности. Зачем ей нужен был этот спектакль? Черт, ловко она его: а ну ставь свою поганую визу! Супер, просто супер! Только вот с визой теперь настоящий облом. Могут и отказать, с них станется. Если б хотела, уже сегодня могла получить. Если б хотела...

Туман рассеялся. Стал виден не только сквер, но и проезжая часть, автобусная остановка, газетный киоск. Подъехала маршрутка, и люди стали выходить и заходить. Проехала пожарная машина. Мужчина в телефонной будке набирал номер. Я мог бы выйти из сквера, смешаться с толпой, спокойно дойти до метро или еще проще — сесть в маршрутку или на трамвай и уже через пять минут быть далеко от посольства. Мог бы вернуться домой. Включить на кухне радио, поджарить яичницу, заварить чай. За едой читать спортивные новости. Потом лечь вздремнуть на часок. Все-таки встал сегодня рано. Запросто мог бы.

Мне вспомнилось, как мы встретились с Олей в библиотеке Британского Совета. *И не кофе, а молочный шоколад.* Будто вчера это было. И вот летний лагерь бойскаутов окончен, закрыт, расформирован.

Мы все хотим, чтобы нас любили, и стараемся как можно дольше понежиться на таком себе Лав Бич — курорте, где «все включено», сами же любим вполсилы, вполнакала, подготовив ходы к отступлению.

Я решил не ждать подкрепления. Я двинулся к посольству.

ИТАЛЬЯНКА

Синьора была явно не в себе.

И это после такого утомительного дня. Просто вышел за банкой пива на рецепцию. Не надеясь, что оно там есть. Но пусть хоть скажут, где его найти. Быть в Праге и не пить пива — это вы меня извините. Выхожу из номера и в коридоре сталкиваюсь с девушкой с рецепции. Она пытается объясниться с дамой. Пытается понять, что от нее хочет дама. Громкая музыка. Девушка спрашивает меня: это не у вас в номере так громко включен телевизор. Нет, не у меня. У меня хоккей. Девушка наша, и говорим мы с ней по-русски. Дама тоже пытается говорить на русском, но, видно, она его то ли плохо знает, то ли забыла, — кроме отдельных слов или повторенных за нами фраз она ничего сказать не может. Но она клиент и она жалуется на громкую музыку где-то рядом. *Рядом* номеров, кроме вашего, нет, — говорит девушка с рецепции. Дама соглашается. Глаза черные, далекие. Замедленные, подчеркнуто аккуратные жесты. Кажется, дама сильно пьяна. Выходит, музыка слышна из вашего номера? Да, выходит, — дама снова соглашается, — музыка, мольта форте. Ей лет сорок. Она то и дело поправляет футболку, которая соскальзывает то с одного, то с другого плеча. Я могу войти в номер? — спрашивает девушка. Да, да, — кивает итальянка. Девушка пытается вставить ключ, но дверь и так открывается. Телевизор работает на полную громкость. Так это же у вас музыка, — растерянно говорит девушка. Я не знаю, — говорит итальянка, — я спала, когда он уехал, и я не знаю, как сделать в этом телевизоре звук тише. Молодой человек, не уходите, — просит девушка с рецепции.

Я же говорю: вышел за пивом. Мы с женой вернулись с прогулки по вечерней, так сказать, Праге. Я принял душ, открыл бутылочку пива и принялся смотреть хоккей. Играли чехи со шведами, и я начал болеть за чехов, на эти три дня они стали *нашими*, мы же в Чехии. Жена забралась в ванну, это надолго — я слышал, как она плескалась. Свет в комнате я выключил, телевизор в темноте смотреть уютней. Вообще-то, я не любитель хоккея, к тому же я всегда опаздываю следить за шайбой, я ее практически не вижу, и события на площадке воспринимаю с опозданием. Но по другим каналам хорошо тоже ничего не было. Я посмотрел полпериода, пиво кончилось. Я оделся и вышел в коридор.

И тут эта пьяная итальянка со своей громкой музыкой. С Леной, девушкой с рецепции, мы познакомились накануне, и как оказалось, мы соотечественники. Это ничего не значит — я не люблю общаться с нашими гражданами. Они кажутся замороженными, законсервированными. Новостей от них не узнаешь. Может, в тех странах, куда они уезжают, и нет новостей. Лена еще вполне живая (всего год в Праге). Похожа на учительницу младших классов: волосы зачесаны назад, черная юбка, туфли без каблучков. Лена проходит в номер итальянки, телевизор работает на предельной громкости.

Может быть, я с ней, итальянкой, сегодня уже встречался. Группы туристов циркулируют по городу, как теплые и холодные течения. Каж-

дая держится обособленно, возле своего гида, и даже если не слышать языка, можно без труда определить, кто откуда. Маленькие японцы, воспринимающие любовные виды как работу, прилежно и методично все фотографирующие. Беспечные скучающие испанцы, французы-пофигисты, громкие итальянцы, краснощекие немцы, сидящие в кафе за литровыми кружками пива, вежливые бледнолицые поляки. По лицам не угадаешь ни профессии, ни прожитых лет. Страховой полис, туристические чеки «Томас Кук», номер со всеми удобствами, в который они возвращаются только под вечер, стремясь увидеть как можно больше. Но ведь все равно возвращаются.

Как эта итальянка, которой мы минут пять пытаемся объяснить, как пользоваться пультом управления. Я не знаю предыстории этого громкой музыки, и до меня не сразу доходит, что дело вовсе не в телевизоре, а в том, что синьора нарезалась будь здоров и сама не знает чего хочет. Вернее, она-то знает, но также знает, что здесь мы ей не помощники, но помощь нужна, и поэтому она продолжает делать вид, что это телевизор виноват, *нон фонцьона*, и мы с Леной продолжаем ей объяснять, хотя это смешно и глупо. По-другому мы помочь ей не можем.

Жесты и положения. Лена показывает на дверь номера: может ли она войти, синьора кивает, поспешно кивает. Дверь оказывается незапертой. Лена входит, но перед этим, замечая мое движение в сторону лестницы, просит меня не уходить. Я подчиняюсь. Я стою в дверях, за мной стоит итальянка, она как бы даже боится войти или заглянуть в свой же номер. Лена уменьшает громкость и смотрит на синьору. Синьора пытается что-то сказать по-русски, но у нее мало что выходит. Вместо этого она кладет мне ладонь на спину. Между лопаток. Ладонь теплая. Лена показывает, как сделать звук тише на пульте управления — вот эта кнопочка. Ладонь гладит мою спину. Музыка стихает. Если тебе это поможет.

Я прохожу в комнату. Окно открыто, холодный вечерний воздух. Вещи разбросаны. Чемодан раскрыт. На столике возле телевизора горка монет, смятые талоны или билеты в музеи, пузырек с таблетками. На кровати смятое платье, на полу нетронутые сумки из модных лапок. Синьора осматривается вокруг с не меньшим интересом, чем мы, для нее эти вещи тоже чужие. Все теперь бесполезное, неважное, а важен только пульт управления, и мы все трое делаем вид, что в нем все дело.

Но на самом деле мы не знаем в чем дело, знаем только, что синьора пьяна, что у нее круги под глазами, и что телевизор работает на предельной громкости. Странно, что никого из соседних номеров это не раздражает. Меня тоже не раздражало. Все то время, что мы с женой провели в номере, была слышна музыка, но мы занимались своими делами, каждый сам по себе. Я принял ванну, открыл пиво и стал смотреть телевизор. Жена раскладывала вещи, потом пошла в ванную, что-то мне оттуда кричала, но я не услышал. Не вставая с постели, крикнул, что не слышу, она не ответила. Видно, сказанное было неважно, наверное, что-то вроде *тапочки намочил или расческа на полу*. И все это время за стен-

кой громко играла музыка, но это не раздражало, потому что люди у себя в номере могут делать, что хотят, и если они хотят слушать музыку на полную катушку — это их дело.

Синьора сидит на краю постели, мы стоим. Она у нас уже несколько раз останавливалась, — говорит Лена, чуть понизив голос, — на моей смене — второй. Я ее запомнила, она и в тот раз была сильно пьяная. Чаевых много оставила. Синьор ее — чех, или бывший чех, тогда она тоже с ним была. Нас не смущает, что итальянка возможно нас понимает. Ее тоже мало заботит, что о ней говорят в третьем лице. Синьор риторичен, — пытаюсь я что-то вспомнить из итальянского, который когда-то учил. Итальянка качает головой, чмокает губами, изображая неизбежность, — он не вернется. Футболка съехала набок, она уже ее не поправляет, и видна ключица. Тонкая косточка.

Дверь в номер мы не закрыли, и случайному человеку может показаться, что происходит выяснения отношений между персоналом гостиницы и клиентом. Синьора не оплатила счет, и поэтому синьору просят убраться. Случайный человек невольно начинает вспоминать, на сколько дней он забронировал номер и захватил ли кредитные карточки.

Сядьте, пожалуйста, со мной рядом, — просит итальянка, — прего. Сядьте, сядьте. Лена беспомощно смотрит на меня. Я на нее. Послушайте, — обращается синьора ко мне, — я хочу vedere итальянские каналы, я хочу видеть Берлускони.

С крепостной стены Градчан видны красные крыши Малой страны. Побеленные печные трубы выглядят как солдатики в карауле. Прямые линии карнизов и водосточных труб. Нам повезло — все эти дни держится солнечная погода. Туристов на Карловом мосту, как форели, идущей на нерест. На базарчике в центре продают клубнику, она слишком хорошо выглядит, чтобы быть настоящей, но очень хочется, и мы покупаем корзиночку, которую съедаем на лавочке возле реставрируемой церкви. Я пытаюсь заснять святых на фронтоне, щелкая зумом, то удаляя, то приближая фигуры. Святые о чем-то спорят, что-то доказывают, один вон с голым черепом поднял руки, что-то кричит нам, а мы клубнику едим.

Что я могу тебе сказать, как успокоить? Могу только пересказать свой день — обычный день туриста. Я весь день провел в старом городе и видел те же красоты, даже, наверное, сделал те же снимки, что и ты. Где мы с тобой могли видеться: на узких улицах, в сувенирных лавках, в костеле, куда забрели, ища укрытия от солнца и шума. Здесь так тихо и прохладно, что не хочется вставать со скамьи. Людской шум слышен, будто из-под толщи воды. Постепенно становится холодно, но хочется рассмотреть фреску в подкупольном пространстве: рушится храм, падают колонны, тучи, пыль, люди в панике, закрывают лицо руками, бегут, из неба открывается Бог и грозные ангелы. Смотри на лица, смотри на лица — как они испуганы, не готовы, их застали врасплох, — куда бежать? Все намного серьезней, чем мы думаем. Но я уже ухожу, все эти распятия, острые углы, страдающая богородица, в белых одеждах, как в сахарной глазури, с такой любовью и тщанием нарисованные раны на теле Христа, терновые венки не для меня. Здесь мы вряд ли пой-

мом друг друга. Тебе это понятно и знакомо. У нас не так сурово, не так неумолимо, у нас Спас, у нас «и будешь прощен». Лучше нам встретиться в кафе на открытой террасе.

Ты заказываешь капуччино, что-то объясняешь официанту жестами, хотя он все делает, как нужно. Ты это знаешь, но почему бы не позаигрывать с молодым симпатичным чехом. Может быть, ты и на меня бросаешь взгляд, даже улыбаешься, но я делаю вид, что не понял, что больше занят тем, что происходит вокруг. Ведь кафе это та же церковь, только оно открыто суете: запахам, взглядам, случайно подслушанным фразам. И чашечка кофе как причастие. Пока сидишь, шум отодвигается, что-то зреет в тебе, растет, но это не должно быть долго, кофе пьется одним глотком, и засиживаться не стоит, больше ты ничего не высидишь. Наконец, появляется твой синьор, которого ты уже жаждалась. Ты подставляешь ему щеку для поцелуя, — твой обычный жест, твое право, твое требование, мужчина целует, но этого я уже не вижу. Я иду выручать жену из супермаркета, наше время «порознь» уже истекло, пора встречаться и делиться впечатлениями.

Внизу на рецепции слышатся голоса. Лена извиняется и спешит выйти из номера. Какой бы и мне выдумать предлог, чтоб уйти. Тем более жена, наверное, уже вышла из ванны, светящаяся как мадонна, на голове тюрбан из полотенца. (Как они это делают, я пробовал накручивать — ничего не вышло.) И что она подумает, стоит ей только выглянуть в коридор. Хоккей уже заканчивается, интересно узнать, какой счет. И пиво, надо было спросить у Лены, есть ли на рецепции или в баре пиво.

Мы остались вдвоем, и мы молчим. Слышен только приглушенный звук телевизора. Я стою, итальянка сидит на краю кровати. Она держит мои руки. Я начинаю нервничать и жалеть, что ввязался в эту историю. Здесь нет итальянских каналов, нет твоего Берлускони, черт бы его побрал. Освобождая руки, я еще ближе придвинулся к ней. Рего, — итальянка смотрит мне в глаза, ее взгляд — взгляд испуганной совы, но в больших черных глазах жесткое, неумолимое, требующее. Спиной я чувствую сквозняк: дверь открыта, окно настезь, это меня тревожит — завтра шея будет болеть, не поверну, это меня тревожит, в ванной на полу влажные следы, высыхают, улетучиваются, исчезают, это меня тревожит, разбросанные вещи говорят о нетерпении, нераспакованные сумки — о потере интереса, это меня тревожит, коридор длинный и пустой, многие еще гуляют в городе, лучше бы и тебе остаться в городе...

В городе с тобой ничего не случится: посмотри внимательней на фотографии, особенно те, что ты забраковал, где ты не в центре, или отвернулся, или вообще не попал в кадр — и знаки проступят. Дорожная разметка, стрелки, столбы, таблички, афишные тумбы, телефонные будки, выйдут на первый план. И ты увидишь, сколько их на самом деле, твоих помощников, которые заботятся, чтобы ты не потерялся, не сбился с пути. Что с тобой может случиться, — к вечеру похолодает, немного снизятся курсы валют, единственная твоя забота не попасть навеселе под машину. Хотя и это не смертельно, дежурный хирург, конечно, поморщиться, что оторвали от футбола, но соберет тебя как надо, не хуже, чем

был. И сквозь сон анестезии ты услышишь какую-нибудь старую тему — Дайер Стрейтс, например. И ты даже не спросишь себя, включен ли в операционной магнитофон, или это уже ангелы развлекаются.

Ну, допустим, я тоже не прочь. Тем более, эти гостиничные номера с кроватями на всю комнату так к этому располагают. И вполне допустимо поиграть комедию ошибок: перепутать, например, двери и войти в чужой номер, или затащить к себе чужую жену. Что еще делать в веселом городе Прага, в котором Франц Кафка красуется на сувенирах. Ты, наверное, купила кружку с его портретом, а может, и читала его романы, где все происходит как во сне. В том числе и любовь, как она снится тому, кто эту любовь не получил днем.

Баста, синьора. Баста. Со мной этой номер не пройдет. Мне нет дела до вас и вашего сбежавшего синьора, между прочим, правильно сделавшего: от такой дуры, которая не знает, или делает вид, что не знает, как пользоваться пультом от телевизора, нужно бежать куда подальше.

Я сделал ошибку. Я стал с ней разговаривать, упрашивать: вам лучше уснуть, синьора, dormire, и домани тутто будет хорошо, bene, bene. Берлускони вы сегодня не увидите, возможно, только во сне. Да, да, только засните, обещаю, что мы увидимся с вами утром, за завтраком, непременно увидимся, спите, спите...

Уговоры не помогли, — синьора продолжала требовать Берлускони, не отпуская моих рук. Тогда я зашел сбоку, взял итальянку под мышки и бросил — подтянул — на кровать, к изголовью. Испуганная, она притихла. Я накрыл подушкой ей лицо, чтобы она молчала, и стал укачивать. Ну, вы знаете эти европейские подушки — тонкие, как блины, толком и не накрыешь: с краю я видел кусочек уха и волосы. Голова ритмично пружинила: вверх-вниз, вверх-вниз. И тут она стала кричать, и кричала долго, пока не сбежались...

МАРГИНАЛИИ

В книге были подчеркивания. Карандашом и чернилами. Одни — едва заметные, другие — без стыда и совести. Зачем-то я их стал все вытирать, выводить. Кроме подчеркиваний были еще записи между строками, значки, перевод слов, а то и целых фраз. На полях некоторых страниц стояла какая-то разметка. Читая, я больше обращал внимание на подчеркнутые слова, чем на сам текст.

Постепенно я стал различать предыдущих чтецов. Особенно выделял своими наглыми фиолетовыми черканьями один... студент, который, кажется, только из чистого вредительства взялся за иностранную книгу. Такое элементарное, как *ручка*, *стол*, ставили его в тупик. И он еще заметки на полях оставлял! Ну и дурацкие же это были комментарии: *круто... оху-но... полная лажа... звездец*. И текст здесь был явно ни при чем. Студент, видно, хотел просто поразвлечься. Засранец.

В это время началась жара. Июнь был отличным. И температура держалась пригодная для жизни, и дождики шли. А в июле началась

фигня. Выйти на улицу было невозможно, асфальт и мозги плавилась. Металлические поручни нагревались, на гранитных плитах можно было жарить яичницу. Продавцы мороженого и прохладительных напитков были похожи на героев, оставшихся прикрывать отряд. Я сидел дома. Первое время еще звонили по делам, потом дела оказались просрочены, звонки прекратились. Время от времени я ходил в ванную под душ, и, не вытираясь, бродил по комнатам, оставляя мокрые следы. Не хотелось ни звонить, ни, тем более, встречаться с кем-либо. Лучше уж переждать осаду в одиночку.

Меня могла спасти только несложная механическая работа. Отложенный до лучших времен Дональд Бартельм как раз и пригодился. Вот они какие лучшие времена оказывается. Вспоминать слова, рыться в словаре, сопоставляя кажущееся значение с реальным... Я как раз остановился на истории об одном психе, что обменял дом на радиостанцию и рассказывал в прямом эфире, как он любил свою жену, бывшую жену. Здесь пометок было меньше, почти не было, наверное, студент сюда не дошел. Но я рано радовался. Перевернув страницу, я увидел заметку: «А ты бы так смог? Дом — на радио?»

«Надо же, он еще и рассуждает сам с собой», — без эмоций думал я, вытирая написанное. Я отложил книгу и подошел к окну. Закрыв его и снова открыл. Полистал попавший под руку журнал полугодичной давности. Снова взял книгу. Читать без перерыва пятнадцать минут к ряду выше моих сил. Тем более что на следующей странице меня ждало: «и не надоело тебе тереть? Ну, ты даешь, чел». Ты это кому, паршивец? — вырвалось у меня. Но у кого было спрашивать?

Я процитировала. «Ты сказала, что я дурак, идиот, кретин и дубина; что морозильный аппарат, который ты заказала, считается, по мнению авторитетов, самым лучшим и совершенным морозильным аппаратом из всех морозильных аппаратов, какие только известны специалистам по таким аппаратам. Аппарат способен производить, хранить, и когда нужно, выдавать достаточное количество кубиков льда. И вне зависимости, сколько этого льда понадобится, как много будет народу, насколько нейтральна или даже враждебна будет внешняя температура, вне зависимости, будет ли ответственный за лед расторопен или напротив, преступно халатен, вне зависимости, насколько незначительным или даже несуществующим будет зазор между началом и финальной частью процесса, между желанием и фактом, кубики льда в предостаточном количестве вяжут себя. Да, сказал я, возможно».

«Думаешь ли ты о льде?» — спрашивали каракули напротив этого абзаца. Почему я должен думать о льде? Только потому, что на улице плюс тридцать? И о каком льде: в моем холодильнике или на вершине Памира? И не о кубиках льда здесь вообще речь, скорее они взяты как пример, пример взаимоотношений, но в первую очередь пример стиля, бартельмовского стиля, я бы сказал.

Тут мне захотелось подстричь ногти. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что мои ногти отрасли еще больше. Я узнал, что в день ногти отрастают на 5 миллиметров. Меня убивает такая быстрота. 5 миллиметров

в день! Я начал с левой. Получилось отлично. Я действовал аккуратно, так чтобы ногти не разлетались по всей комнате, что не всегда удается контролировать. На правую ушло больше времени, но я справился. С подстриженными ногтями я чувствовал себя другим человеком.

«А на ногах?» — первое, на что я наткнулся, открыв книгу снова. Это могло быть простое совпадение, не стоит переоценивать внимание к своей персоне со стороны, особенно в такую жару. Взять хотя бы лоте-рею — угадывают же некоторые пять номеров кряду. К тому же я еще не прочел, о чем идет речь напротив этого замечания. Правда, и охота отпала. Я перевернул страницу. Из-за какого-то придурка я не могу читать книгу!

На двадцатой странице студента сменила дама. Теперь это были уверенные, иногда перекрывающие сам текст, записи.

То, что это дама, я понял по первой же заметке. Под диалогом, где героиня предлагала себя герою (тому самому, который обменял дом на радио), а он отказывался («Возможно, мне это не понравится»), была запись по-английски: «Личные проблемы Бартельма».

Не видя в этом никакой проблемы, я чистосердечно предположил, что так на вещи может смотреть женщина. Переворачивая страницу, я надеялся встретить комментарий студента и не ошибся: «Прикинь, американские домохозяйки умеют рассуждать».

Я прикинул. Многие книги библиотеки приплыли сюда в качестве частных пожертвований или подарков из Америки. Интересные авторы попадались, но в основном это было бульварное чтиво или женские романы в гляцевых обложках. В самом деле, создавалось впечатление, что все эти книги читали американские домохозяйки, а когда прочитали, передали в дар нашей библиотеке. Но никаких претензий. Спасибо и за это.

Mary C. Terpatsi
1126 Grand Ave. # 2
San Francisco, CA 92109

Стояло в верхнем углу на первой странице. Надо же, Калифорния — там, наверное, хорошо: пальмы, море. Роскошные особняки. Вот так прийти, постучаться, и с порога: вы Мери Си Терпатси? Полноватая женщина, возможно даже черная, или смуглая, похожая на Опру Уинфри, скажет: да, это я. Ваш Бартельм, прочли — возвращаем. Книжка немного почеркана, но вы тоже не особо заботились о чистоте полей — вон сколько замечаний, ваших рук дело? Да, может, это я писала, я тогда...Знаем, знаем — с головой ушли в «проблему границ языка». Не я, а Бартельм, его герои, которые «путают символ с тем, что он репрезентирует»... «Слово уже не нагружено значением, потому что превратилось в клише». Господи, да когда это все было — сто лет назад. Теперь это меня не беспокоит. Это было в 64, по крайней мере, таков год издания книги. Свет вашей звезды наконец-то достиг и нас. Не то чтобы эти проблемы так уж нас тревожили, скорее наоборот — абсолютно нет. Просто хотелось познакомиться, так сказать, персонально.

Я отложил книгу и стал подклеивать зимние ботинки. Отличное занятие для середины лета. Летом ботинки кажутся на размер больше, с чужой ноги. Но их боевые ранения — один шнурок перетерся, многочисленные царапины — заставляют вспомнить о трудностях зимы. Короткие дни, холод, мерзлая земля, лед, пусть и не правильными кубиками, и не слишком чист, особенно для мартини или, скажем, виски. Но лед он и есть лед. Думая о зиме, легче пережить лето.

Тем более что я не могу выпить чего-нибудь холодного, сока, например. Даже добавить льда в стакан с водой не могу. У меня нет холодильника. Вернее он есть, но занят. Там моя жена. Пришлось, конечно, убрать все полочки и отделения, чтобы туда ее втиснуть, так что он занят полностью. Мне приходила мысль купить еще один, но во-первых, где его ставить, и во-вторых, я не могу есть продукты из холодильника. Вы меня понимаете.

Ну, ты даешь, чел. Ты что, ее засолил?

Не называй меня чел. Откуда ты это взял?

Остынь, остынь. Дел-то. Ее ведь даже не хватились?

Не хватились. Она работала дистрибьютором. Тени, помада, лак для ногтей... — косметика. Думаю, даже ее постоянные клиенты не долго гоняли по ней, мало ли других дистрибьюторов. Она из-за меня, так сказать, растеряла всех своих клиентов. Зато ей самой больше не нужна косметика, особенно, что касается кремов по уходу за кожей лица.

Сначала я вынес ее на балкон, и она лежала там, как новогодняя елка в ожидании праздника. Но вы же знаете наши зимы, — через три дня наступила оттепель, и пришлось подумать о более надежном месте. Вынести тело из дому я не решился — как можно вынести такой большой... объем незаметно? Разрезать, распилить — все эти штучки подходят для кино, но я не по этой части. Да и потом, после *этого* меня охватила такая апатия, что я был способен только на минимальные усилия. Например, засунуть тело в холодильник.

Не то чтобы никто не поинтересовался или не обеспокоился, куда пропала жена. Через неделю появился ее брат. Мы с ним сталкивались редко, дружеских отношений у нас не завязалось. Не потому что была какая-то антипатия, просто разные интересы. Он здорово сидит на авторской песне, кажется, и сам что-то бренчит на гитаре, Окуджава хренов. Хорошо, никого из окружающих не напрягает этим. И вот он явился — растерянный, встревоженный. Глядя поверх моей головы, спросил, где сестра. Понятия не имею, ответил я. Почему она не звонит, не заходит к нам? И этого не знаю, — она и меня вниманием не балует. Здесь он впервые бросил на меня взгляд. Укоризненно-недоверчивый, будто это я во всем виноват. Затем он прошелся по комнатам, раздвигая зачем-то шторы. Думал, что мы его разыгрываем, — сестра притаилась за шторой и стоит там, закрывая ладонью рот, чтобы не рассмеяться.

Потом мы сидели на кухне и пили водку. Я предложил, он не отказался. Брат все пытался вывести меня на разговор по душам, как мужчина с женщиной. Я не возражал, но сказать мне было нечего. Скажи, как есть, — настаивал брат. Она мертвая и холодная, — сказал я. А, ты вот о

чем, — протянул он, — ну здесь, сам понимаешь, я мало что могу посоветовать, хотя в этом и твоя вина, и не спорь... — и он пустился в рассуждения о женской натуре и несовпадении жизненных интересов. Я сказал, что и так перечел всех ее любимых болгар и югославов из серии проза социалистических стран. А Сальвадора Дали, как ни старался, полюбить не смог. Не путай жизненные интересы и хобби, — резонно заметил брат. Мы много выпили и под конец почувствовали друг к другу чувство, близкое к симпатии. Прощаясь, брат сказал невесело: вообще-то я морду тебе приходил бить. Но как-то не вышло. Ничего, — успокоил я его, — в следующий раз с этого и начнем.

Красивый почерк. Или просто почерк. В 64 еще умели писать от руки. Почерк человека, привыкшего писать, — быстро, не отрывая руки. Кем она была? Студенткой? Университетским преподавателем? Писательницей? Что-то не слышал такой писательницы — Мери Си Терпатси. На такую фамилию я бы обратил внимание, Терпатси — что-то африканское слышится.

Ага, это девичья фамилия Опры Уинфри, когда она еще не была звездой. Сидела на кухне и читала книжки. Самообразовывалась. Это потом началось «шоу Опры» и все дела. Ты, кстати, не хочешь поучаствовать? Такое бы шоу забацали!

Представь, появляется такая Опра и говорит: сегодня у нас в студии клевый чувак, который убил жену и засунул ее в холодильник на полгода. (Возгласы восхищения из зала, аплодисменты.)

Ты, значит, выходишь, поднимая пальцы вверх. Здесь пошла музыка, и ты, дрыгая задницей, начинаешь медленно снимать рубашку: шоу так шоу — маленький стриптиз не помешает. Бабы визжат. Опра кокетливо закрывает лицо ладонью. Наконец, ты садишься на диван рядом с Опррой.

Опра: Ну, ковбой, расскажи нам, с чего все началось.

Я: Ну, в общем... В Сан-Франциско живет некто Алекс.

Опра: Хорошее начало. (Аплодисменты.)

Я: Алекс прислал письмо моей жене. (Возгласы «вау» из зала.) Я нашел его на домашнем телефоне-факсе. Лист вылез ночью, когда меня не было, и днем меня тоже не должно было быть, потому что я не успел на поезд. Но я успел на автобус. Когда я приехал, не было и шести. Утра, в смысле. Боясь разбудить жену, дверь я открыл своим ключом. Прошел в комнату, и первое что увидел — пришедшее ночью письмо. Его еще никто не читал, и оно свисало белым рулоном, какие несут герольды, оповещая народ о королевских указах.

Опра: Зачитаешь нам его?

Я: Конечно. Послание было простым и, я бы даже сказал, познавательным. Я выучил его наизусть:

Сан-Франциско — прекрасный город
в нем 500 000 жителей,
красив мост Золотых Ворот,
здесь лучшие во всей Калифорнии рестораны,
однако из-за холодного течения с севера
океан холоден,

и чтобы поплавать или покататься на доске
необходим резиновый костюм.
великолепные вина делают в долине Напа,
виноградники и в самом деле живописны,
что до местных,
они здесь разных национальностей,
склада ума и традиций.
я расскажу тебе больше о городе
в другой раз, теперь же —
прощай.

Алекс

(Аплодисменты.)

Опра: И что было потом?

Я: Ничего. Я просто оторвал лист и положил его на подоконник. Я ни о чем не расспрашивал жену, и она ничего не объясняла. По ее равнодушному виду, будто письмо адресовано не ей, а мне, я понял, что дело зашло далеко.

(Сочувственный гул в студии.)

Каждый день мы ходили мимо этого факсимильного послания, рассказывали друг другу о своих делах за день, но город святого Франциска остался для меня вне досягаемости. Вот, что меня больше всего раздражало, угнетало, задевало, — город, без меня открытая Америка. Ну, и конечно, этот неведомый Алекс не давал мне покоя. Даже когда чернила испарились, и на подоконнике остался лежать белый лист, никто ни о чем не спросил.

Опра: И что дальше?

Я: Я готов был ехать в Америку (возгласы одобрения), чтобы разыскать там этого Алекса, пускай у меня есть только имя, но я переверну весь Сан-Франциско, найду всех Алексов в городе. Я даже записался в американское посольство на получение визы, но вовремя одумался: что я напишу о цели моей поездки: жена. Алекс. Сан-Франциско? Я выбрал другой путь.

Опра: Какой же?

Я: Стал следить и собирать сведенья. Я часами просиживал в библиотеках над справочниками и страноведческой литературой, на букву С или еще шире — на К. Вскоре я лучше среднего американца мог рассказать о Сан-Франциско и Калифорнии. Их историю, настоящее и будущее: сколько за год выпадает осадков, что экспортируется и что импортируется, даже точное число настройщиков пианино. Но от этого жена не стала ближе.

Опра: Мы тебя понимаем.

Я: Рылся в ее сумочке. Ничего подозрительного: записок, там, пишем, фото. Обычные женские штучки: косметика, шпильки, платочки, но

их цвет, форма, запах, даже степень помятости, использованности говорили мне совсем не о той женщине, что я привык принимать за свою жену. Как будто я залез в сумку к незнакомке.

Опра: Какой сюрприз. (В зале смех).

Я: Шпионил за ней. (Аплодисменты). В поисках клиентов, ей пришлось много ходить по городу. Я ходил вместе с ней, вернее, за ней. Когда она заходила в дом или офис, я оставался на улице: мне важнее было знать, что она делает по пути. Опять же, ничего странного или подозрительного. Рассматривает витрины магазинов, покупает что-то перекусить на ходу, с кем-то говорит по мобильному... Находясь в метрах тридцати позади, я иногда сам звонил ей и спрашивал, где она. Она называла улицу, по которой шла... мы шли.

Опра: Ну, ты... ковбой.

Я: Хуже всего было ночью. Когда мы занимались любовью, и я лежал у нее между ног, я знал, что она в это время думает об Алексе. И я старался как можно лучше, прилежней исполнить роль Алекса. Я трудился на совесть: ей было хорошо. В тесной конуре ночи мы издевались друг над другом, отдавая всю свою любовь, всю свою нежность другой женщине, другому мужчине. Нужно было только закрыть глаза.

(По залу проносится протяжное «у-у-уу-у».)

В одну из этих ночей я попытался вернуть ее, удержать. Я бил ее долго, не знаю, сильно ли, — я почти не чувствовал руку, как под анестезией, она же молчала. Пот градом катился у меня со лба, хотелось пить — как при хорошем сексе. Утром я вынес ее на балкон, и она лежала там, как новогодняя елка...

Странно, каждое лето всего лишь неделя-две выдаются особенно жаркими, действительно жаркими, тогда как остальные дни — незаметные, сносные. Но когда думаешь о лете, вспоминаются именно эти невыносимые дни, и, кажется, что кроме жары ничего и не было. И эти жаркие лета накапливаются, как грехи, пока не застанут тебя одного в пустой комнате. И если бы не книга на чужом языке, не знаю, чтобы я и делал.

С подчеркиваниями я смирился. Да, они так и остались для меня порезами. Никогда они не превратятся в волны, или, скажем, в сигаретный дым — в нечто легкое и нестойкое. Они останутся порезами, варварской татуировкой, но болей перестанут, затянутся, они уже и сейчас едва видны на желтизне страницы, — время обработало раны йодом.

В Сан-Франциско никто не поехал. Туда и в самом деле ехать не стоило. Летом все города похожи друг на друга. Они как плохо смонтированный фильм — никаких общих планов, все близко и реально до головок: асфальт, бордюры, плиты, столбы, цокольные этажи, и свои собственные ноги, — только это и видишь. К тому же все в сером, пепельном, цвете. Нет, лучше сидеть дома.

А что касается Алекса, то с ним я все-таки встретился. Опять же: для этого и ехать никуда не надо было, ни в Сан-Франциско, ни вообще.

Мы встретились в продуктовом, возле моего дома. Я вышел пополнить запасы. Он стоял спиной ко мне, но я его узнал. Он был в плаще, что, мягко говоря, немного не соответствовало погоде (все те же плюсы тридцать), но по плащу я его и узнал. Еще по седоватой шевелюре. Алекс, — чуть громко окликнул я. Он обернулся. Такое же, как плащ, помятое и в пятнах лицо. Усталые глаза. Извини, старик, я тебя не узнал, — прохрипел, скорее, проскрежетал он. Вы — Алекс? — я смотрел на него в упор. Ну, да, — сказал Алекс и провел ладонью по небритой щеке, — а ты, наверное, из тех пацанов, что брали у меня диски слушать? Пинк Флойд, Роликов... Да, было время... Я пробормотал что-то вроде «извиняюсь, ошибся», и развернулся уходить. «Слушай, старик, — поймал он меня за руку, — подкинь чирик до среды. За мной не заржавеет». Секунду мы так и стояли: он, держа меня за локоть и заглядывая в глаза, я — застыв на полушаге. Краем глаза я заметил, что волосы на его голой груди тоже седые.

Приходил брат. Бард. Как и первый раз прошелся по комнатам. Взял со стола Бартельма, полистал: книжечки читаешь? Я молчал.

— Ну, вот, — наконец, решил он. — Светлана возвращается. К тебе возвращается, — поспешил он добавить, видя мое непонимание.

Даже после такого уточнения, я слабо представлял, что это значит — возвращается. Ясно было одно: дни-зарубки Робинзона сложились в кратное число — лето кончилось.

— Тебе предстоит серьезный разговор, — предупредил брат, — хотя я бы на ее месте... — начал было он, но замолчал, боясь превысить полномочия миротворца. Я промолчал.

— И что у тебя так воняет? — не унимался брат, — холодильник? Ну так разморозь, я не знаю... Наведи порядок.

Он еще долго сокрушался по поводу того, с каким безответственным раздолбаем, да еще и психом, связалась его сестра, и что нужно быть хоть немного ответственной и так далее.

Я обещал сделать все, как нужно.

Единственное, что огорчало и мучило: я на целый месяц просрочил в библиотеку книжку.

P.S. Не парься, чувак. Ничего они с тобой не сделают.

PIZZA-BOY

Меня убивают еще в первой серии. Герой прорывается в крепость, а мы, значит, обороняемся, вон на заднем плане упал — это я. Где я только не снимался — и у Лукаса, и у Спилберга. Правда, чтобы меня разглядеть, нужно смотреть внимательно. Меня нет в титрах, но это неважно, ведь вы же мне верите. Вы сидите по ту сторону и видите только то, что в кадре, но сейчас я говорю как раз о том, что не вошло в кадр. Я играю воинов, продавцов, прохожих, пьяных, зевак, дедушек на лавочке, всю мелочь мира сего, камера же следует за героем. Нет, что вы, какая там психология, нам не за это платят. Ведите себя как в жизни, нам говорят, ну, может, смейтесь чуть громче.

Да, я частенько захожу в эту пивнушку. Сюда заходят все мои друзья. Нет, не актеры, простые люди. Они всегда рады меня видеть, хлопот по плечу — наша кинозвезда пришла. Друзей трое.

Витек выпивает восемь кружек пива. Если меньше, у него насморк начинается. И главное, портится настроение. Может посуду и посетительей побить. Так что или восемь кружек, или вообще не пить.

У Сереги куча детей и жена гримза. Еще не сев за столик, он предупреждает: я на полчаса, мужики. Понятно, Серега, — жена. Мы сидим час, и тут она звонит. Дорогуша, я скоро буду, сюсюкает Серега. Еще час, и снова звонок. Уже иду, дорогуша, — язык заплетается. Затем она звонит каждые пятнадцать минут, Серый уже лыка не вяжет — дологуша, дологуша. После каждого звонка он вздыхает и объявляет: я подонок, меня дома дети ждут, а я их променял на бутылку. За это надо выпить, кричит Витек. Мы пьем, раздается звонок. Серега вздыхает, но отключить мобильный он почему-то не может.

Толян — риэлтор, продает квартиры. Ну что, скольких сегодня уболтал, спрашиваем. Да, говорит, клиенты такие пошли — и чтобы на первом этаже, и пыли не было, и солнце не мешало, и то и се. А сегодня смотрел квартиру — все красное и черное, на стенах какие-то символы, знаки, хозяин на черта похож. Мы здесь, говорит, собрания устраиваем, иногда сам сатана бывает, хотите, присоединяйтесь — узнаете новую реальность. Спасибо, говорю, но ваша квартира больше трех тысяч не стоит, да и вряд ли ее вообще кто-нибудь купит. У самого Толяна, кстати, квартиры нет, лет десять уже бегаёт по чужим углам — портной без сапог. Толик заказывает сто грамм, а потом пива — такая у него программа.

Это мои друзья, они любят послушать про кино. Немного завидуют. Классная у тебя работа, говорят, не то, что у нас — скука.

Что да, то да, работа у меня интересная — постоянно общаешься со знаменитостями. Иногда даже играть за них приходится. У звезд всегда не хватает времени, только крупные планы, а мелочь, детали доигрываю я — пишу за них письма, стою под дождем. Если актер, играющий толстяка, отказывается набирать лишние килограммы, это делаю за него я, и это мой живот вы видите на экране. Хотите, я закурю сигарету, как это делает Брюс Уиллис? Не хотите — ну ладно.

А в титры я все-таки попадал. Причем дважды. Был такой фильм, там жила одинокая девушка, у нее никого не было, только безымянный кот, которого она подобрала на улице. В общем, кот тоже сыграл несколько крупных планов. Если вы думаете, что коты могут запросто играть в кино, то ошибаетесь: только после месяцев упорных дрессировок его можно было ставить в кадр. А дрессировал его я. Кот вышел супер — настоящий актер, и все благодаря мне. Так что, когда снова покажут этот фильм, смотрите на титры: мое имя тоже в списке — дрессировщик кота такой-то.

Вижу, Витек начинает шмыгать носом, ну-ка, бармен, еще по кружечке «Черниговского». Серега счастливо улыбается, кивает головой, это значит, хорошо сидим, и сейчас ему даже жена не страшна. Друг Толян все не может забыть своего сатаниста, заказывает еще водки. А я, пожа-

луй, воздержусь, вот эта последняя — и все, завтра пробы. Я почти утвержден на главную роль. Наконец-то, я буду на экране от начала до конца. И в титрах мое имя появится первым.

Да я уже был в титрах. Один раз, с котом, ну вы слышали. А второй раз, точнее, первый раз, потому что это было в начале моей карьеры, — я только что окончил актерские курсы, и это была моя первая роль, и какая роль! — я играл с самим Аль Пачино.

Вот как это было. Полдень. Аль Пачино с напарником грабят банк, но неудачно. Улица перекрыта, везде полиция. В банке заложники. Ему говорят — сдавайся. Он требует вертолет. Как мы, черт возьми, его здесь посадим посреди улицы. Хорошо, тогда машину. Переговоры затягиваются. Люди, те, кто в банке, устали. Аль Пачино просит копов привезти что-нибудь перекусить. Пицца пойдет? Пойдет, пойдет.

И вот тут выхожу я. Я играю посыльного с пиццей, я — pizza-boy. Я один пересекаю оцепление и несу эти чертовы коробки с пиццей к входу в банк. Аль Пачино выходит. Народ за оцеплением волнуется. Аль Пачино дает мне деньги и забирает пиццу. Солнце такое яркое, жара, рубашки мокрые от пота, у копов ружья наготове, все кричат, я подпрыгиваю выше головы и тоже кричу.

Мои друзья слышали эту историю, да что там слышали — смотрели, — тысячу раз, и они всегда говорят, что лучше меня эту роль не сыграл бы никто. Если честно, я тоже так думаю. Все, что было потом, все эти Ричарды Гиры, Николасы Кейджи, вернее, их руки, ноги и растолстевшие животы, ничего не стоят по сравнению с той первой ролью.

С утра я сижу в этом пивняке. Попиваю пивко, веду разговоры со всеми, кто подсаживается за столик. Вот, например, как с вами. Мне не жалко времени. Его, говорят, и нет. Все это выдумка киношников, чтобы побольше пленки истратить.

КАК СКОРОТАТЬ ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

Пни ногой машинку малыша, чтобы она летела через всю прихожую. Малыш будет смотреть на тебя испуганными глазами. Протяни сквозь зубы — уведи ребенка, оставь меня в покое, и когда жена заберет малыша в детскую (пойдем, папа хочет побыть один), закройся на кухне. Прислонись лбом к холодильнику, а лучше к окну (стекло холодное) и выбери, что будешь пить. Напиваться не хочется, но как по-другому избежать лавины, что накрыла тебя, ты не знаешь. Водки? Только не водки. Коньяк? Однозначно нет. Разве что пива. Но за пивом нужно идти в ларек, на остановку.

Ты хватаешься за эту возможность выйти. Уйти. Поход за пивом предполагает действия — надеть пальто, завязать шнурки... Действуй. Не отвечай на вопрос, куда ты. Буркни — не твое дело. Через секунду смилуйся: сейчас буду.

Ты выходишь на перекресток, который каждый день видишь из окна. Только его и видишь. И так повторяется изо дня в день, из года в год.

Твой горизонт, твой пейзаж не изменяется. Ты в колее, — нельзя ни свернуть, ни отстать. И вдруг на тебя наваливается *оно*. Обычно *оно* приходит субботним или воскресным вечером. На выходных. Днем ты еще держишься: супермаркет, футбол по телеку, какие-то дела, но к вечеру *оно* берет свое. Вокруг тебя враги. Малыш, с которым ты только минуту назад играл, становится чужим. Жена — незнакомой случайной женщиной, ты прожил с ней пять лет неизвестно почему и зачем. Квартира кажется спичечным коробком, забитым ненужным барахлом.

Ты выходишь на перекресток. Здесь всегда бьются машины. Каждый думает, что едет по главной. Год от года машин становится все больше. Год от года многоэтажки становятся все выше. Все плотнее застройка. Окна соседнего дома так близко от твоих, что чужая интимная жизнь у тебя как на ладони: что пьют, что едят, в чем спать ложатся. И оттого что она на ладони, она уже не интимная, — ни для тебя, ни для самих соседей, в чьи окна смотрят твои окна.

Итак, ты выходишь на перекресток. И на мгновение тебе кажется, будто раннее утро, еще не рассвело, и ты спешишь на вокзал встречать родственников. Ты уже и забыл, кто они тебе, но пока ты идешь к метро, свежесть и новизна наступающего дня — какие только возможны свежесть и новизна в миллионном городе — передаются тебе, и ты уже не элишься, а благодарен и рад этим неожиданным родственникам. Да, именно это — свежесть и новизна. Но сейчас не утро, сейчас почти ночь, и ощущение быстро улетучивается.

Ты переходишь дорогу и подходишь к остановке. На остановке никого, кроме девушки. Красивая девушка в белых джинсах. Ты все сразу понимаешь, но надеешься, что все-таки ошибся. И сюда добралась цивилизация. Девочки и у нас стоят — этим можно даже хвастаться. Белое пятно в темноте тебя тревожит. Тебе хочется подойти и спросить, какого черта она здесь делает. Но ты сдерживаешься. А она как назло начинает прохаживаться рядом с пустынной остановкой.

Ты занят пивом. Рассматриваешь, какое взять. Как для киоска выбор огромен — шесть рядов, — и ты скользишь глазами по этикеткам и названиям. Выбирать выпивку — все равно, что выбирать женщину на ночь. Лучшее и в том и другом — рассматривать, выбирать. Жаль, с пивом торговаться нельзя — висят ценники.

Пока ты вот так стоишь и пялишься в витрину, подходит маршрутка. Длинноногая девушка в белых джинсах запрыгивает на подножку, и через секунду остановка пуста. Значит, все-таки не проститутка. Пиво ты не покупаешь, но тебе становится лучше.

Возвращаться не спеши. Снова переходи улицу, только теперь направо, к соседней остановке. Здесь многолюдно. Это направление востребовано. Хотя с той остановки можно добраться до метро, а с этой уедешь разве что на окраину. С окраины на еще большую окраину. Все так, но в воскресный вечер работает другая логика, если она, эта логика, вообще работает.

И снова пиво — куда ж без него. Бутылочку-то все равно надо взять. В киоск очередь. Впереди тебя женщина с мальчиком лет десяти. Чуть

поодаль еще одна женщина — ей уже за пятьдесят. Наверное, бабушка. Мальчик просит что-то купить — шоколадный батончик, орешки? Мама отказывается, а бабушка — за мальчика — купить.

Ты не сразу понимаешь, что кажется тебе странным, только через минуту до тебя доходит, что они — все трое — не говорят. Это больше похоже на мяуканье или мычание. Они глухонемые. И весь сюжет — мальчик просит, мама отказывается, бабушка настаивает — ты схватываешь из жестов и взглядов. Читаешь по их испуганно-вопросительным — всегда на чеку — лицам. Мальчик, стоящий к тебе спиной, попятился и чуть не наступил тебе на ногу, и никак не отреагировал на твоё замечание. Мальчику так ничего и не достается, мама тянет его к маршрутке — как раз подъехал их номер, и ждать больше нельзя, потом конфета... Они садятся в автобус и уезжают.

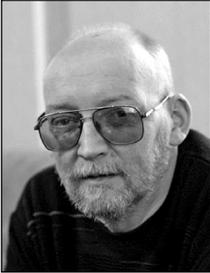
Пиво ты все же покупаешь. Не выбирая. По пути домой вспоминаешь эту глухонемую семью и проникаешься к ним теплотой и уважением — они, по крайней мере, когда говорят, смотрят друг другу в лицо. Иначе и не услышат. Они не могут ни буркнуть, ни выругаться про себя, ни даже заплакать, отвернувшись. Они постоянно должны видеть лица друг друга.

Жена еще не спит. Она может спросить, где тебя носило, а может и не спросить. Скорее всего второе — молчаливый сепаратизм. Но тебя уже попустило. Спроси — малыш спит? Спит, — отвечает жена, не поворачиваясь, — можешь пить свое пиво. Ты идешь на кухню. Из окна виден перекресток, что ты только что переходил. Светофоры синхронно мигают желтыми глазами. На остановках никого. Пиво ты не пьешь, ставишь бутылку в холодильник — до следующих выходных.

Ты приоткрываешь дверь в детскую и проскальзываешь в темноту. Минуту стоишь, пока глаза не привыкнут. Малыш спит, поджав ножки, запрокинув головку. Ты опускаешь руки к нему в кроватку, как в темную реку, и тихонько гладишь его по спинке. Малыш, малыш.

На стене над кроваткой светятся звездочки. Малыш опирается на перильца кроватки и достает звездочки рукой. Возможно, когда он вырастет, то по-прежнему будет думать, что до звезд можно дотянуться рукой. Лучше так, чем знать, что звезды — далекие огненные шары, которым нет дела до нас.

Так же бесшумно ты выходишь, прикрывая за собой дверь. Идешь в ванную. Завтра понедельник. И нужно быть в форме.



Евгений МОКИН

/ Донецк /

МЕЛ

1

Ты сядешь — близорук — в углу,
Других мужчин не замечая,
Пока ее ведут к столу
На чашку чая.

Пока она не наугад
Отнимет третьего от тела,
Твой — на асфальте — контур мелом
И зрячие не разглядят.

2

Ты так обманчиво бумагу
В ладонях складываешь вдвое.
Там букв нет, там только знаки,
Какие пишут на вагонах:
Тоннаж,
и мелом: город, дата —
И сколько ждать в дыму вагоны...
Я знахарю дышу в погоны:
Прочти мне эти знаки,
знахарь!

3

Уходим за руку, родная!
Гастелло падает в дыму
В составы станции Родаково...
Мы будем жить.
По одному.

4

Ладонь укладывай ложкой
Под щеку, вспомни обо мне!
Пусть кровь сочится понемножку
В песок и пепел,
Снег и мел.

НОВЫЙ СТАРЫЙ СНЕГ

Заведомо прозрачны небеса
За тридцать от места остановки.
А ты с утра разбужена, пуста,
В ушах звенит фальцет вагонной тетки.

И чай оставлен, пятна на столе,
И на платформу узкие ступени...
В руке зачем-то купленный билет —
Число и смятый город назначения.

Стучит колесико — ступени, переход,
Скамейки желтые забытого вокзала...
А ты ведь знала сказку наперед
И эту немоту пустого зала.

На белой — вспомни! — мраморной стене
Раскинуты табло, как карты Таро:
Число и город, пятна на столе,
И новый снег, как сор у тротуара.

ПЕСНИ ЗИМЫ

1

Ты помнишь прошлогодний возраст,
Когда стояла у окна
И телефона сонный голос
Оповестил: уже зима.

Как сжались легкие! И воздух
Скрипуче форточку качал,
И кто-то комнату вращал,
Вселиться до весны готовясь.

2

И вдруг, с тебя снимая шубку,
С замерзших щек сдувая воду,
Я понял: Бог сменил погоду
Уже не в шутку.

3

Размер зимы уже не важен.
Пусть будет Дед — косая сажень
И внучка с елочной метлой!
Глаза ладошками закрой

И слушай звон пустой посуды,
Потом пустые пересуды
О том, что дал и как ушел,
Спросив с утра на посошок.
Пробудет год еще недолго:
Весна — русалкой у порога,
Там август: гол и абрикосен,
И пауза
размером с осень.

КРЕЩЕНИЕ

Крещение подкралось незаметно.
Стоял хорал, и шли ступени в лед.
Никто не прикрывал глаза монетами —
Шагали вниз ногами в небосвод...

Крестообразно выбросив на берег
Все тело,
брызгами запястья исколов,
Ты поднимался
скользкими
ступенями,
И пар столбом стоял поверх голов.

* * *

...Не небо виновато — птицы
В окне, когда не греют сигареты, кофе.
Раздеться только и в постель валиться,
Скрипеть зубами на своей голгофе.

Ты снова остаешься между прочим.
Ты снова остаешься между чем-то.
Уходят демоны и сны намного проще,
И одеяло на двоих лечебно.

Но... растворяются иллюзии по дому,
И в окнах снова виноваты птицы.
А в городе к какому-то другому
Приходят демоны приподнимать ресницы.

* * *

Мы отрицаемся, любя,
Мы — эхо в солнечной квартире,
В которой шепотом нельзя
И пальцы в отпечатках пыли

Боль в помощь! Только не спеши,
Пусть дрожь в покинутых предметах
Уймется. Эхом этажи,
И дверь — в чужой апрель прореха

ЛУНА

Ты знаешь, как отражается
В стакане луна?
Ты можешь взболтать ее пальцем
И выпить до дна.
Ты можешь и не надеяться
На завтрашнюю луну...
Она никуда не денется,
Она — в плену:
Ей в море плести дорожку
И в городе полупустом —
В стакане твоём порожнем
Прикидываться желтком.



Алексей КУПРЕЙЧИК

/ Донецк /

ЧЕЛОВЕК-КНИГА

Человеческая жизнь — пергамент, на одной стороне которого пишет Бог, а на другой — дьявол. Письмена часто пересекаются между собой, особенно когда слой становится настолько тонким, что через одни слова проступают другие. Тогда в жизни все смешивается, и ты ничего не можешь разобрать. Пытаешься уловить, вчитаться в написанное, но... знакомые буквы превращаются в иероглифы, в странные знаки чужой речи.

Письмена вавилонской башни растекаются по твоему телу, подобно реке, вышедшей из своих берегов, а глубина смыслов оборачивается глубиной непонимания. Что делать? Как быть? Захлебнуться? Научиться дышать под водой? Звать на помощь?

На пергаменте появляется все больше вопросительных знаков и все больше места для ответа. И вот, когда пробелов становится слишком много, начинаешь замечать, что сквозь них проступает еще что-то — подтекст.

Ты вскрикиваешь — вот, наверное, это душа!

Нет, не душа, а всего лишь эхо текста, оставленного твоими родителями. Ты уже большую часть его затер, написал поверх свои фразы, но окончательно вымарать так и не смог.

Мало того, чем больше всматриваешься, тем больше понимаешь, что под этим подтекстом лежит еще одни, а за ним еще и еще. И потом, когда глаза привыкают к всматриванию, удивленно обнаруживаешь, что все эти подтексты не так уж сильно и отличаются друг от друга. Это практически те же самые слова, только обведены чернилами разного цвета.

Все оказалось детской прописью, в которой ты всю жизнь просто обводишь заранее приготовленные для тебя пунктирные линии.

Казалось, что ты учился писать свой текст, но на деле вышло, что всю жизнь лишь совершенствовал умение копировать чужие слова и не более того.

Жизнь-раскраска.

А потом накатывает обида и отчаянье, когда осознаешь, что нового пергамента не будет.

И как бы ни старался, ни умирал и воскрешал — все равно, никогда не получишь абсолютно чистый лист. Сквозь него всегда будут проступать водяные знаки прошлого, и самое обидное, чаще всего — не твоего прошлого.

Все уже было написано до тебя, и большая часть — на тебе.

И снова во все стороны разбегаются вопросительные знаки, словно крысы с тонущего корабля. А люди начинают напоминать листы книги. Ветер листает их в любом порядке, а иногда даже вырывает по нескольку за раз и уносит неведомо куда. Ты уже никогда не узнаешь, что на них было написано. Но зато после этого будешь стараться переписать на себя полюболюбившиеся фрагменты с чужих страниц.

И скоро сам не заметишь, как из обычного листика превратишься в самостоятельный многотомник, а если повезет, то, возможно, еще и обрассешь комментариями — текстами-апостолами, которые понесут твой текст дальше.

А когда листы жизни начнут желтеть, а чернила выцветать, останется только одно — принести жертву, позволив людям растерзать тебя на цитаты.

И в итоге единственное, на что ты можешь уповать — быть именем, набранным курсивом, под словами, которые прожил, а не произнес.

ПИТЕР ПЭН

В детстве любил кататься на карусели. Особенно нравился миг, когда ее так сильно раскрутишь, что уже ничего не видишь — дома, песочница, родители, деревья — все сливается в единую круговерть. Сладкое и страшное ощущение — находиться в центре стремительно вращающейся вселенной, которую создал сам.

В те минуты казалось, что я чувствую что-то важное, но что именно, так и не смог понять.

С тех пор прошло не одно десятилетие, а карусель по-прежнему не собирается останавливаться.

И вот уже я сам катаю на ней своего ребенка и, глядя на него, теперь не только чувствую, но и действительно понимаю:

Детство никогда не заканчивается. Конец наступает лишь нашей честности и открытости миру. Желание выглядеть не тем, кто ты есть — первый шаг на пути во взрослую жизнь. Вот поэтому детей на карусели радует жизнь, а взрослых от круговерти просто тошнит.

В середине мира может быть только искра радости и любви, поэтому там — только дети. А взрослые, потеряв это право, все норовят снова вернуться в центр мира, но центробежная сила самообмана все время относит на периферию бытия.

А там, на обочинах...

Все наши сны смотрит ребенок внутри нас, даже если это картинки из взрослой жизни.

А там, на обочинах...

Испуганные и обиженные дети пытаются сделать вид, что понимают жизнь, о которой никогда не мечтали.

А там, на обочинах...
Так хорошо видно, как вращается чужая карусель.
И ты все никак не можешь понять...
...как твоя карусель превратилась в шестеренку?
...как твоя карусель превратилась в колесо сансары?
Как вообще карусели превращаются в жернова, перемалывающие чужие жизни?!

P.S.

А старые, выброшенные на помойку мягкие игрушки все вопрошают в безответность бесконечности: «Дети, как же вы стали такими глупыми и жестокими?»

ЗООПАРК

Крот

Он смотрел по сторонам — и ничего не видел, ибо вся его жизнь — сплошная тьма. Но зато улавливал запах осени, чувствовал, как прохладный ветер приносит отголоски уходящего лета, слышал детский смех, чуть торопливый шепот влюбленных и шелест травы.

Он стоял посреди вечной ночи совершенно один, как это часто и бывает, когда делаешь настоящую и тяжелую работу. Ее редко выполняют компанией, потому что она требует отдачу всего себя, до капельки. А труд его был действительно титаническим — он создавал проходы во тьме, которые рано или поздно приводили к небу.

Он понимал, что мало кто сможет оценить такой подвиг и это навевало чувство печали, но по сути ничего не меняло. Такова его судьба — находясь во тьме, рыть проходы к свету.

Слон

Трудно быть таким, очень трудно. Это только со стороны кажется, раз ты огромный, то тебе везде легко, везде ждет успех и свободная дорога. Мол, где не пропустят, там все пролетишь собственной силой. Но это не так.

Огромный снаружи еще не значит — большой внутри.

Там как раз чаще всего ты маленький, ранимый, в чем-то даже пугливый. Но показывать этого нельзя — засмеют.

Стоит только пошевелиться — и все уже знают, куда направился, с кем пошел и кого задел. И не важно, что нечаянно, не специально зацепил, главное — что бы слух о тебе надулся как дирижабль и поднял вверх тех, кто по натуре своей — гад ползучий.

Нет ничего слаще для мелюзги, как мешать жить великанам. Так им легче переносить собственное ничтожество.

Быть великим — это не только быть ближе к небу, это еще и быть самой большой и заметной мишенью.

Кролик

Бояться, дрожать, переживать — необходимость, перешедшая в осторожность, а из осторожности в трусость и снова в необходимость. А что делать, если нет ни когтей, ни рогов, ни даже крепкого панциря, ничего, чем мог бы напугать, покалечить, отомстить или хотя бы защититься. Ничего. Все что есть — мягкое, пушистое, нежное. И с этим нужно жить, и с этим нужно как-то выживать среди тех, для кого все это — лакомый кусочек. Отсюда такая чувствительность, отсюда такое быстрое сердце — стучит так, словно пытается опередить время.

Везде опасно, поэтому приходится так часто бегать и так быстро жить.

Не твоя вина, что при всей своей нежности и пушистости, ты не прождаешь в других те же самые чувства. А ведь ты хотел бы приносить радость всем, а не только убийцам.

ДЕВЧОНКА С НАШЕГО ДВОРА

Валя Пашупов глядел по сторонам — во дворе не было никого, кроме Лариски, рывшей в песочнице ямку синей пластмассовой лопаткой. Что ж, придется играть с ней, раз больше никого нет. Вообще-то, Ларису сторонились все — и мальчики, и девочки. Неизвестно почему, но даже если в игре не хватало участника, ее все равно не приглашали, а она не просилась, а находила себе тихое занятие где-нибудь неподалеку. С ней не дружили, но и не обижали.

Никто до сих пор не знал, в какой квартире живет Лариса, ведь ее, как остальных ребят, никогда не звали с балкона, ей не кричали из окна и не приходили забирать ее домой. Каждый день она появлялась в их дворе раньше всех и уходила самой последней.

Вале надоело стоять в одиночестве, и он медленно направился к песочнице.

— А-а, это ты, Валечка, — сказала девочка, когда Пашупов остановился рядом.

— Ты знаешь, как меня зовут?

— Конечно. Вы, мальчишки, когда в футбол гоняете, друг на друга так орете, что волей-неволей выучишь, как всех зовут, а заодно узнаешь, у кого корявые ноги, дырявые руки и прочие неподходящие для футбола части тела.

Валя немного помолчал, наблюдая за работой Ларисы. Яма получилась уже достаточно глубокой.

— Ты зачем ее роешь?

— Хоронить буду.

— Кого?! — почему-то испугался Валя.

— Вот ее, — Лариса вытащила из кармана платья маленькую куклу с оторванной левой рукой и протянула ее мальчику. — Подержи, я уже почти закончила. Ее зовут Ямила.

Пашупов взял игрушку в ладонь и спросил:

— А кто ей руку оторвал?

— Я, разумеется. Кто же еще?! Ты хоть раз видел, чтобы со мной кто-то играл?

От этого вопроса стало как-то неловко, словно Валя был в этом виноват. Он-то тут причем? Чего ему с девочкой водиться, пусть вон Машка и Ленка с ней играют.

— А зачем ты ей руку оторвала?

Лариса перестала рыть яму. Отложила лопатку в сторону, встала и, пристально глядя Пашупову в глаза, шепотом произнесла:

— Этой рукой она душила ночью детей.

«Ненормальная какая-то, — подумал мальчик, — теперь понятно, почему с ней никто не играет».

— Шутишь?

— А тебе разве смешно?

Валя уже пожалел, что вообще подошел к ней. Оглянулся по сторонам — как назло, никто из знакомых так и не вышел. Сейчас он, наверно, обрадовался бы даже Машке с Ленкой, лишь бы появилась причина уйти от Ларисы. Но, с другой стороны, ему вдруг стало интересно, что будет дальше. Девочка, словно прочитав его мысли, произнесла:

— Сейчас будем хоронить. Давай сюда Ямилу.

Валя протянул куклу назад.

— Ты уж прости, но я не доверю тебе похороны куклы. Хотя... — она на несколько секунд задумалась, — зато могу разрешить убить ее.

— Убить?!

— Интересно, а ты думал, я — садистка?! Я же не стану закапывать ее в землю живьем. Нужно сначала убить. Хочешь?

— Что?

— Убить, я же ясно сказала.

— Понарошку?

Девочка снова пристально посмотрела на Валу.

— Да-а, я, признаться, думала, ты сообразительнее и понимаешь, что убийства понарошку не бывает. Все, кого убивают, умирают на самом деле. Даже если понарошку, даже если на уровне мысли. Всегда. Смерть везде настоящая, в любом мире, даже придуманном.

После этого заявления Вале все стало понятно, и он, уже не стеснясь, произнес:

— По-моему, ты ненормальная.

Лариса не обиделась.

— Совершенно верно. Ненормальная. И ты, между прочим, тоже.

— Это еще почему?!

— Если нет, то тогда объясни, что ты делаешь в полночь во дворе?

Валя вздрогнул. На него накатила волна ужаса: действительно, была ночь. Как же так? Как такое могло произойти?! Мальчик ощутил, как в жилах застывает кровь. Стало страшно. В секунду мир преобразился. Если до этого Валя пребывал словно во сне, то сейчас все обрело жуткую реалистичность: луна, звезды, песочница и эта странная девочка. Валя вспомнил, что, оказывается, его родителей нет дома: они, строго наказав ему

никому не открывать дверь и никуда не выходить, уехали к заболевшей бабушке. Перед мысленным взором у Вали всплыла картина, как он, будто сомнамбула, проснулся среди ночи, оделся и вышел во двор.

— Ну так как? — спросила девочка.

— Что «как»? — еле выдавил из себя мальчик.

— Ты будешь убивать Ямилу или нет? Ты же вроде как будущий мужчина, не так ли?

— А? — рассеяно переспросил Пашупов, вздрагивая от нервного напряжения.

— Я говорю: ты мужик или нет? Убивать будешь?

Валя и сам не отследил, как тихо произнес:

— Да.

Лариса протянула ему неизвестно откуда появившийся нож. Затем положила куклу рядом с ямкой и, указав пальцем в центр ее груди, произнесла:

— Сюда.

Мальчик по-прежнему не мог прийти в себя, ему вдруг показалось, что он всю жизнь стоит в песочнице рядом с этой девочкой и, сжимая в руках нож, готовится поселить в кукле настоящую смерть.

Валя встал на колени, размахнулся и со всей силой вогнал нож по самую рукоять в пластмассовое тельце. После этого мальчик обернулся. Рядом никого не было. Только ночь, пустой двор, песочница и колодец многоэтажек со спящими жильцами.

— Эй, ты где? — позвал Валя, но ответа не последовало. Тогда он снова взглянул на куклу и тут же закричал от ужаса. На него смотрела Лариса. Она лежала на песке, истекая кровью. Нож по-прежнему находился в груди. А Валя вдруг понял, что прошло уже очень много лет, он стал взрослым и теперь стоит над ней, не понимая, как так вышло. Ведь единственным его желанием было доказать какой-то девчонке, что он — настоящий мужчина, не понимая, что нельзя быть настоящим мужчиной в игрушечном мире взрослых.

ЗЕРКАЛО В ПРИХОЖЕЙ

Жарким шепотом, почти касаясь губами уха, Максим шептал своей сестре:

— А еще, Женька, когда мама смотрится в зеркало, а потом уходит на работу, ее отражение по-прежнему остается там.

— Не может быть, — не поверила сестра.

— Точно тебе говорю, — уверил Максим. — Если сомневаешься, пойди и сама убедись.

Женя заглянула брату в глаза: не смеется ли он над ней. Вроде нет.

— Хорошо, — согласилась сестра, — сейчас проверю. Только ты пойдешь со мной.

— Это еще зачем?

— На тот случай, если ты соврал. Тогда мне не придется далеко ходить, чтобы мстительно укусить тебя за нос.

Максим улыбнулся.

— Как хочешь.

Женька взяла брата за руку и решительно зашагала в прихожую.

Остановившись напротив большого зеркала, она на несколько секунд замерла, а потом изрекла:

— Ты соврал.

— Нет, просто ты недостаточно внимательно смотришь.

— Хорошо, я попробую еще раз.

Женя подошла к зеркалу так близко, что коснулась его носом. Прошло пять минут, а она все еще не отводила взгляд.

Максим начал волноваться. Что она там высматривает? Шутка явно не удалась.

— Эй, — позвал он и на всякий случай слегка толкнул ее в плечо. Сестра слегка качнулась, но взгляда от зеркала не оторвала.

— Женька, ну пошли, что ты там такого увидела?

Сестра наконец-то повернулась к нему, но взгляд ее по-прежнему оставался серьезным. Она пристально взглянула брату в глаза, а потом, не проронив ни слова, отправилась на кухню. Максим последовал за ней.

На кухне Женя налила в тарелку воды из чайника и посмотрела на свое отражение в этом маленьком «озере».

— Ты чего? — спросил Максим, но сестра не ответила. Взяла металлический поднос, перевернула его и посмотрела на свое отражение в нем. И только после этого обратила внимание на брата.

— Знаешь, Максим, — сказала она, — ты действительно дурак. В зеркале нет отражения мамы.

— Ну конечно, — радостно закивал брат. — Это я пошутил.

— Но там есть кое-что другое.

— Что?

— Там живет смерть.

— В каком смысле смерть?

— Смерть бывает только в одном смысле — в смер-тельном.

— Прикалываешься, да?

Максим почему-то испугался за сестру. Может, она умом тронулась? Если мама спросит, как это произошло, ему придется сказать правду, и тогда получится, что он виноват: довел сестру своими шутками до полного помешательства.

— Испугался? — спросила Женька.

— Нет, — соврал мальчик.

— А зря. Я не шучу. Я только что разговаривала со смертью. Она смотрит на нас.

— Откуда?

— Из отражения наших глаз. Вот иди сюда.

Сестра отвела брата назад в прихожую и поставила перед зеркалом.

— Смотри, видишь отражение своих глаз?

— Вижу.

— А теперь смотри внимательно. Там, в самом центре зрачков, есть маленький черный кружок. Видишь?

— Вижу.

— Вот оттуда смерть и смотрит.

— Да с чего ты взяла?! — вспыхнул Максим. Ему уже надоел этот странный разговор. Зря он вообще начал про отражения. Ведь всегда считал сестру глупой девчонкой, так нет же, потянуло подшутить...

— А с того я взяла, что она всегда живет в тебе.

— Не живет во мне смерть!

— Живет-живет, — уверила его сестренка. — Стань ближе и посмотри подольше.

Максим нехотя посмотрел в глаза собственного отражения.

Прошло несколько минут, и вдруг он с замиранием сердца заметил, что из зеркала на него смотрят чужие глаза. Ощущение было настолько жутким, что по спине пробежали мурашки.

«Не может быть», — подумал он. «Может», — ответили глаза из зеркала. «Не может», — не сдавался Максим. «Может-может», — уверял взгляд чужих глаз.

Мальчик потер глаза, несколько раз сморгнул и снова посмотрел в зеркало. Результат тот же — чужие глаза.

— Кто ты? — шепотом спросил мальчик, чтобы не услышала сестра.

— Я твоя смерть.

— Ты и вправду живешь во мне?

— Не совсем так. Правильно говорить: мы живем рядом.

— Как это?

— Примерно так, как ты живешь со своей сестрой. У вас одни родители, вы обитаете в одном доме, часто смотрите одну и ту же передачу, но при этом остаетесь разными. Так и мы с тобой. У нас один создатель, и мы вместе с тобой смотрим одну и ту же телепередачу.

— Какую еще передачу?

— Это я образно. Мы вместе смотрим на твою жизнь. Вся разница лишь в том, что ты ее смотришь от начала до конца, а я от конца к началу. Понятно?

— Нет.

Максим задумался: «Господи, это что, я сам с собой разговариваю?!»

— Нет, что ты, — отозвалась смерть, — не сам с собой, а со мной. Это только так произносятся: «Сам с собой говорю», а на самом деле беседуют со мной, со смертью.

— Почему?

— По кочану. Кроме меня, человеку на самом деле больше не с кем по-настоящему поговорить. Я — единственный достойный и преданный собеседник. Тебя могут все покинуть, отвернуться от тебя, предать, но только не я. Я всегда буду рядом — каждую минуту, каждую секунду, с момента рождения и до самого последнего вдоха.

Мальчику стало страшно. Он почувствовал, что его уже давно знобит.

— А я не хочу, чтобы ты была со мной. Можешь уходить, я тебя отпускаю.

— Ох, Максимка, это невозможно.

— Ну почему?!

— Потому что без меня ты пропадешь.

— Еще чего! Не пропаду я без тебя, уж будь уверена!

— Максим, ты не первый, кто так говорит, но, поверь мне, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Я знала много мальчиков, которые пытались обойтись без меня, но потом они весь остаток жизни только тем и занимались, что искали встречи со мной.

— Почему? Никто из нормальных людей не станет искать смерть!

— Ты так считаешь, потому что думаешь, будто если смерть покинет тебя, то ты станешь бессмертным. Нет, мой милый, ты станешь просто жить, пусть долго, очень долго, но это будет не бессмертие, а долгая жизнь.

— И чем это плохо?

— Всем, мой дорогой. Человек создан быть бессмертным, а не долгожителем. А уж бессмертным без меня стать невозможно. Бессмертный — это не тот, кто долго живет, а тот, кто никогда не умрет. А не умереть может лишь тот, кто уже умер. Я — как море. Ты должен войти в меня, полностью погрузиться, опуститься на самое дно, чтобы каждая частица твоего существа пропиталась мной. Ты должен стать рыбой в океане смерти. Лишь в этом случае ты не утонешь. Долгожитель, хоть и живет долго, но он все равно боится смерти, и чем дольше он живет, тем чаще вспоминает обо мне. Понятно?

— Да.

— А теперь слушай очень внимательно. Закрой глаза, чтобы не пропустить ни одного слова.

Смерть перешла на шепот:

— Суть смерти заключается в слове «никогда». Это слово — убийца слабых, но меч сильных. Слабые гибнут от «никогда», но те, кто находят в себе мужество преодолеть его, делают это слово своим оружием. Долгожители молятся и надеются на слово «всегда». Они хотят жить бесконечно, им кажется, что все, что они делают, будет существовать всегда, они стараются убедить себя, что накопленные драгоценности, жизненный опыт и прочая ерунда останутся с ними навеки. Но это не так. Слово «всегда» — это ловушка. Вечное — это не то, что будет длиться всегда, а то, что уже никогда не повторится. Лишь неповторимое заслуживает право на бессмертие. Вот поэтому, Максимка, запомни: наш разговор с тобой никогда больше не повторится.

— Никогда... — шепотом произнес мальчик.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ

Кадр 1

Витрина магазина, перед которой стоит мужчина средних лет в черном пальто. Лицо хмурое, озабоченное. За витриной магазина — манекен, в точно таком же черном пальто и с таким же лицом, только сделанным из пластика.

Их отделяет друг от друга стекло и уверенность, что двойник не-настоящий.

Из глубин магазина появляется продавщица и приносит с собой еще один манекен — женщину, в красном плаще.

Мужчина смотрит налево и обнаруживает возле себя женщину в точно таком же наряде, как и ее двойник в магазине.

— Нравится? — спрашивает она.

— Что «нравится»?

— Хотя что-нибудь, — улыбается женщина, а потом добавляет: — Вы так смотрите на манекен, словно он ваш заклятый враг.

— Что вы, он — мой заклятый друг, — пытается шутить мужчина, но получается не очень убедительно.

Кадр 2

Комната. Большое зеркало, в котором отражается кровать и пара, неистово занимающаяся любовью. Мужчина после очередного натиска приподнимается над женщиной и смотрит в зеркало. Его лицо снова делается хмурым и озабоченным. Он цепенеет.

— Что случилось? — спрашивает любовница, все еще охваченная страстью.

— Ничего, — отвечает он так, словно в этой фразе больше смысла, чем есть на самом деле.

— Тогда почему ты смотришь на свое отражение, а не на меня? — кокетничает женщина и, приподнимаясь, обнимает его.

Мужчина теперь видит и ее в зеркале. Бледнеет и зажмуривает глаза.

Кадр 3

Все та же спальня. Женщина смотрит на фотографию мужчины в черном пальто. Его лицо хмурое и озабоченное, а ее — печальное и измученное слезами.

— Ну чем тебе не нравились зеркала? — говорит она вслух, обращаясь в пространство, и, вздрогнув от неожиданного стука в дверь, роняет фотокарточку, которая падает на пол, усеянный осколками зеркала.

Она идет открывать, через комнаты, в которых разбиты все зеркала.

На пороге — манекен с коробкой конфет и цветами. Ее лицо искажается от ужаса, она собирается закричать, поворачивается, чтобы бежать, но взгляд падает на кусок уцелевшего зеркала в прихожей, в котором она видит отражение женщины-манекена.

Секунда замешательства, и вопль тонет в накрывающей все темноте.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕБИУС-ТЕАТРА

Сцена была пуста. Даже не просто пуста, она вообще сама по себе была чистой условностью, ведь сложно сказать, где начинаются подмостки, а где они заканчиваются, ибо каждый из зрителей — тоже актер, поскольку редко бывает самим собой, все время играя какую-то роль. Так что некое пространство играло роль сцены, а время выступало в ампула зрителей.

Что касается пьесы, то она, честно говоря, тоже была не меньшей условностью. Грань между игрой и не-игрой не просто условна, а фактически отсутствует. Не-игра — это лишь уверенность в том, что ты не играешь, хотя на самом деле ты просто играешь в не-игру, вот и все.

Итак, условность условностей и игра игры — это вполне исчерпывающее определение театра мебиус. И в этом театре начинается действие...

На сцене выросло дерево. Некоторые из зрителей предположили, что это древо познания Добра и Зла, другие утверждали, что это Иггдрасиль, но для большей части зрителей было все равно, их волновало не само дерево, а есть ли у него плоды, точнее, можно ли их употребить в пищу.

Когда ветви дерева покрылись листвой, рядом с ним вырос человек. По всем характерным признакам — мужчина. А раз так, почти все в зрительном зале стали предвкушать появление женщины. И она не заставила долго себя ждать — зацвела буквально через пару мгновений.

Прошло еще немного времени, и из женщины стали прорастать дети.

Вокруг детей заколосился шум, гам, крик, плач и смех.

Сцена стремительно зарастала подробностями жизни, а вскоре и некоторые из зрителей тоже стали пускать корни, привыкая к мысли, что они уже никуда отсюда не уйдут: наблюдение и поглощение зрелищ — их земля обетованная.

Но... ничто не длится вечно, и в театре был объявлен антракт — осень нахлынула на сцену и зрительный зал. Запахло дождем, ветром и чувством неизбежности смерти.

Актеры и зрители все чаще стали оглядываться на проем с надписью «ВЫХОД», но с каждым мгновением он пугал все больше и больше, ибо память о том, что там, за ним, стала тускнеть. Некоторые поговаривали, что там за дверью свет в конце туннеля и этот туннель выводит еще куда-то.

Но какой смысл идти куда-то, если ты все равно не знаешь, где ты. Ведь если ты нигде, то куда бы ты ни шел, ты всегда идешь в никуда.

И чем больше актеров и зрителей понимали это, тем понятнее становилось, что все без исключения вовлечены в одну пьесу под названием «НИЧТО».

Сколько ни играй в НИЧТО, все равно никогда не станешь КЕМ-ТО.

Александр ТОВБЕРГ

/ Донецк /



СУМЕРКИ

город, который кругл, как цирк,
в глаза впивается осьминогом.
он монотонен, как мотоцикл,
людей рассасывает, как леденцы,
у каждого странника эпицикл
с центром в ковре «вытирайте ноги».

а серый туман заползает за
шиворот блёклым бомжам, и им же
он выковыривает голоса,
чтоб не могли они рассказать
водостокам, дорогам, промозглым псам
о старого города новом имидже.

и клоуны выбрасываются, и шуты
из окон жёлтых, карминных, белых,
и падают в ямы, в асфальт, в кусты...
вот мимо окон проходишь ты...
и я вываливаюсь из пустоты
в центр мишени «чужое тело».

ВЕКТОР

Слёзы пересыхают, и остывает пламя,
Сворачивается спиралью, кровью обожжено.
Солнца лиловый шарик с птицами улетает,
Перевоплощаясь в конус — в каплю — в веретено.

Смотришь, глаза заставив соединиться с ветром,
И — опадает кожа, мясо ползёт с костей.
Становишься архетипом — вектором человека,
Подсолнечником, вливающимся в каплю — в частицу — в тень.

СУПРЕМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В бетонном ящике — 2 огромных окна
В нём живёт одинокий смурной поэт
По выходным к нему заглядывает луна —
В 3-е окно которое то есть то нет

Обычно он пьёт зелёный чай по утрам
Если с вечера пил водку и крепкий кофе
Где-то за городом проживает его сестра
Которая не устаёт повторять что ему всё по фиг

И тут не поспоришь это действительно так
Всю неделю он ищет сигареты и спички
Пока не вспомнит что он мудака
Год назад отказавшийся от вредной привычки

Раз в месяц к поэту №1 спускается поэт №2
Проживающий этажом выше
И несколько суток они говорят слова
Пока не заметят что кто-то из них вышел

И если что-то изменится от смены комнат и тел
Законсервировавшихся в окружность
Один из них окажется вне пустотелых стен
В 3-м окне например обнаружась

* * *

Эта стынущая боль
Эта мертвенная сладость
Хоть с тобой, хоть не с тобой —
Берегами снегопада
Всё что было — то прошло
То что будет — неизвестно
Кислая окрошка слов
Выброшенная из текста
Говори или молчи
Плачь в потёмках или смейся
Но потеряны ключи
От бессмертья и от смерти
И живёшь ни для чего
В трансе сны свои транжиря
Состоявшийся изгой
В однокамерной квартире

ЛОВЕЦ СЛОВЕС

Ты 100% прав, я 100% лев.
Нелепая игра расхлопывает зев.
Зеваю по утрам, а по ночам молчу,
Весенний страж и страх отпугивает чукч.
Соединяю слов нелепые куски,
Ругаю стих ослов, сплетая спич про китч.
Ты где-то там, я — здесь — сморён и смирен, тих,
Вырыкиваю песнь — не бык, не сыч, не тигр.
Пописать и писать, из лысой головы
Кроить из фака факт, волон и волком выть.
И волоком тянуть костей своих мешок,
Пархатую вину вином на посошок
Залить, забыть, заспать и не проснуться чтоб,
Фильтрованный, как спам — не вирус, но — микроб.
И кто-то скажет, рад: — Иссяк ловец словес,
Себя переиграл нелепый человек.



Елена СТЯЖКИНА

/ Донецк /

ВСЁ РАВНО, ЧТО БУДЕТ

К прошлому

1

Мать любила стирать на улице. Говорила хозяйке: «Дайте т-т-тубарет, а к-к-корыто не надо, к-к-корыто у меня свое». «Стирайте в кухне», — краснела хозяйка. — «В кухне печь...»

Мать мотала головой. Хозяйка краснела еще гуще. Ей от материной стирки на людях, во дворе, было стыдно. Она была молодая, сопливая и уверенная в том, что все люди — братья, и эксплуатация человека человеком невозможна и даже запрещена. И муж хозяйки, райкомовский работник, всегда подчеркивал: не может быть в нашей стране социального неравенства, потому что власть наша — народная и коммунистическая. И нет таких, которым бы она не дала... А кто не взял, тот, стало быть, не по пути шел, а вкось, в сторону. Не видел тот своего счастья в служении идеалам человечества.

Муж хозяйки приезжал на обед. Хмуро глядел на мать, хмуро кивал Яше и Левке, шумно сморкался на пороге, харкал на траву и скрывался за дверью.

Хозяйка накрывала мужу в комнате, которую называла залой. И просила за нагретой водой временно не входить. «Муж любит, когда пиццеварение происходит в тишине. Так белки лучше усваиваются».

Мать говорила: «Несите х-х-холодной тогда». Яша и Левка брали ведра и бежали к колонке. Прошлым летом райкомовский муж торжественно открывал ее «как свидетельство нашей силы и непобедимости».

«По п-п-половине, — кричала им вслед мать. — Пупки развяжутся».

Яша пожимал плечами и спрашивал Левку: «А как? Я все смотрю, а там узла никакого нет. Хоть бы бант, и его нет...»

Зеленая трава. Табуретка под сливовым деревом. Солнечные лучи сквозь листву и ветки проходят гребешком. Яше смешно: сливы падают как вычесанные гниды. И райкомовский муж будет их есть в компоте.

Мать кладет льняную, тяжелую, в двух местах уже с латкой, простыню на доску и елозит по ней пральником. Над корытом пена. На рыжих волосах матери пена. И на траве. Как будто снег. Снег-дистрофик. Как они с Левкой. Материны ноги посреди сугробов. Потрескавшаяся черная пятка. По ней ползет божья коровка. Яша шепчет: «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки». «Бога нет!» — привычно заявляет Левка. «Зато там, наверное, есть конфеты».

Божья коровка улетает, и Яша смотрит на небо. Там тоже сугробы, и солнце уже не гребешком, а валенками проваливается в них.

...Все они, Яша, Левка, сестры Зина и Катя, были дети без памяти. Это потом осозналось как факт. И даже как везение. Яша не помнил ни затирухи, не киселя из лебеды, ни морковного чая. Восемнадцатилетняя Зина, красивая, но худая, бралась воспитывать, заставляла пить рыбий жир и стыдила рассказами о голодухе. «Ты должен помнить! Считаю, вчера было!».

Яша вертел головой, улыбался, на всякий случай закрывал рот руками и старательно делал специальное припоминательное лицо. Но момент, с которого всегда начиналась память, был накрепко связан с корытом, удивительными свойствами пупка и запахом хозяйственного мыла, маленький кусочек которого, как трофей, мать всегда приносила с больших стирок.

Им мылись. Мать грела воду и выгоняла их с Левкой во двор. Чистая вода доставалась всегда Зинке. Катя говорила (не иначе повторяла за кем-то): «Хоть худая, зато чистая. Чистую-то быстрее замуж возьмут». Зина злилась и била сестру полотенцем. Пока девчонки выясняли отношения, вода успевала остыть. И мать, тяжело вздыхая, шла с ведрами к колонке... А они с Левокой быстро, по очереди, залазили в корыто и к приходу матери успевали даже намылить голову.

Все это Яша помнит как начало бесконечной красоты и радости, к которой невозможно опоздать. Радости изменчивой, ждущей, наверное, всех, но предназначенной ему одному.

Эта радость никогда не давала ему узнать о себе все так, чтобы провалиться в отчаяние. Отвлекаясь на нее, Яша всегда опаздывал к осознанию всякой, даже собственной, подлости, счастливо зависая на краю губительного поступка или осуждающей мысли.

Он видел мать красавицей, только немножко старой. Яша не знал, сколько ей было лет. И все материны годы по-настоящему сосчитал, когда приезжал красить ограду на ее могиле.

Тогда, в сорок восьмом, пятилетний Яша видел ее ни на кого не похожей. Ни на Левкину учительницу, считавшуюся идеалом красоты, ни на райкомовскую хозяйку, которой, как говорила Зинка, специальная женщина стригла ногти на руках и на ногах.

Сквозь материну кожу всегда пробивался свет, как от елочных гирлянд, которые развешивали к Новому Году в Доме культуры. Только тот свет был яркий и мерцающий, а материн — тихий и постоянный. А глаз ее, считавшийся в городе дурным, был похож на темные воды того колдунца, который, как говорили мужики у пивной, шел к самому сердцу земли и открывался другой, не такой, конечно, вкусной, но тоже ничего, водой с обратной стороны глобуса.

Материн глаз был способен вобрать в себя и Яшу, и Левку, и тайну-секрет, который они придумали, чтобы помочь трудящемуся народу Кореи, и что-то еще такое, чему пока Яша названия не знал. В городе мать называли зайдой. Яша думал — из-за походки. Мать не ходила, а как будто подпрыгивала и пролетала шаг-другой над землей. Как другие на скорую руку, так она — на скорую ногу, то бесшумно, то дробным, отчетливо слышимым, кадильным перебором — могла создать, например, ветер. Ветры в Туманном были часто. А мать летала совсем немножко. И это было не колдовство, а волшебство.

Еще она мало говорила. И Яша так никогда и не запомнил тех нот, вокруг которых строился материн голос. Иногда, по ночам, она шептала: «т-тубарет, л-ложьте, к-к-коolidор, с-с-срака, б-бегит, т-т-текет, п-п-повылазыло...» И другие слова, которые совсем не надо было учить, потому что их знали все, а особенно Зина, и еще потому, что Лев был сердит на них: на слова и на тех, кто их говорил. Лев хмурил брови, бежал за книжкой, осторожно, но быстро листал страницы. «Смотрите сюда! Смотрите, нет такого...» «Дюже умный», — ворчала Зина.

Но было видно: рада тому, что Левка умный. И Яша, заглядывая Левке через плечо, смотрел на все эти буквы, похожие на лушпайки от семок. И буквы казались ему вкусными, веселыми. Они пахли летом, теплыми камнями и, понятное дело, подсолнечным маслом.

Дядька в сапогах пришел в дождь. Левка решал примеры, запиная их огрызком карандаша на старой газете. Зина собиралась на смену. Штопала чулки. Она всегда их штопала и всегда приходила с дыркой. Кати и матери не были: они побежали в райкомовский двор снимать белье.

Яша смотрел в окно и думал о том, что босиком еще можно, и что бежал бы быстрее всех, и, конечно бы, ничего не уронил. И шесть рук намного лучше, чем четыре. Яша увидел его первым. Дядька был самый обычный — в гимнастерке, с вещмешком, в сапогах. Особенно в сапогах.

Было бы очень хорошо, подумалось тогда, чтобы эти сапоги как-то поселились в их бараке, а лучше — в их выгороженной квартире. Было бы полезно. Лева мог бы ходить в школу каждый день, а не по очереди с Катей. По очереди, потому что галоши были одни, то есть две, конечно. Но привязывать их по одной — какой же толк? Никакого. Одна-то нога все равно босая. А так — сапоги. И ведро выносить в сапогах — всем окрестным ребятам на зависть. Яша зажмурился и представил, как бежит выливая сранки, наступая на снег настоящей армейской кирзой.

Яша был в счастье, а счастье каждый — дурак. Так говорила всегда пьющая соседка баба Таня, которой нельзя было не верить. Выпивая даже совсем чуть-чуть, она сразу становилась и дурак, и в счастье.

«К нам, к нам, к нам», — повторял про себя Яша, не открывая глаз.

А когда открыл, сапоги уже стояли возле стола и вокруг них образовалась даже какая-то грязь и лужа.

«Зина?» — спросил дядька.

«Я».

Левка поднял голову. По его лицу было видно: хочет спросить. А Яша почему-то сразу понял: спрашивать нельзя. Нужно было соблюдать тишину. Не как в больнице, куда мать водила его лечить ангину. Просто тишину.

Вот, например, скворец. Сидит на ветке. А надо, чтобы в домике... Чтобы залетел, понюхал, позвал своих: «Айдайте, жить будем...». Если его спугнуть, то дом будет пустым. Сгниет скворечник, зачем тогда мастырили?

И другое тоже думал Яша. Он глядел в пол и видел, как зинины ноги в зашитых уже хлопчатобумажных чулках вытягиваются, как будто они — кошкина шея. Или спина. И руки Зинины мнут юбку. А дядькины сапоги стоят не на смерть, а на жизнь. Как наши под Сталинградом. Так стоят, как будто уже идут. Прямо маршем. И в тишине они дойдут, куда надо, а в словах — сбегут.

Яша знал, что плетется-вяжется радость, потому что берется она из пустого вроде, из молчаливого, из стекла-выбраковки, из мухи, хоть невозной, зато переливчатой, как радуга... Из ниток старой материнной кофты, играющих между двух спиц.

Одного крючка для радости мало. Хоть и нитка та же...

Для радости Яше был нужен Левка.

А сапогам этим, выходило по всему, Зина.

Яша бросился вон из дома. Бежал быстро, ногам не было ни мокро, ни холодно. Левка, Яша слышал, рванул за ним... Ну куда ему быстро? Кто думает много, тот бежит тихо.

«Мамка», — кричал Яша, чтобы слышали все, а особенно райкомовская жена. — «Мамка! К нам хахаль приехал. Бежи скорее, час свататься к Зинке начнет! В сапогах!»

Зина догнала Яшу быстрее, чем Левка. Догнала, больно рванула за руку, развернула к себе, зашипела гадюкой: «Дурак свинский, дурак...». И громко выкрикнула матери и Кате, которые спешили навстречу: «Муж твой вернулся...».

Во всех фильмах о послевоенной есть сцена возвращения. Она всегда или почти всегда женская. Та, к которой вернулись, стягивает с головы платок и бросается... Если коротко и съемки павильонные, то сразу на грудь, если длинно, на природе, то в бег по полю. Бросок сбивает дыхание, оправдывает судороги, которыми становятся объятия. Долгие объятия. Крупным планом — слеза.

Дядьки в их городе Туманном приходили с войны по-другому. Пацаны караулили их на пригорке, по дороге от узловой станции. Кричали оттуда: «Дядька, ты чей?». Мужики отмахивались, кто смущенно, кто зло. Они шли как с тяжелой смены, чуть пьяные, совсем нездешние, чужие. Они шли, отвыкшие от своих баб, не узнающие детей. И бабы, вышедшие навстречу, разгоняли пацанов, но сами не подходили. На людях это было нельзя. Неправильно.

Мужики, сходявшие с пригорка, не обязательно были наградой. Они пили, буянили, колотили своих баб, не соглашались с порядком, который устанавливали «тыловые крысы», замерзали в оврагах или тихо и мед-

ленно угасали от ран, которых не признавали и о которых не принято было говорить. Не сразу и не все смягчили они сердцем. Как будто несли они с собой какую-то поломку. Как будто все старое в них выгорело, а новое расти нужно было заново. А как его растить, если глаз пустой и во сне — крик?

Бабы говорили, Яша слушал. Не все понимал. Судить не умел, но был при своем: при радости.

Потом, много позже, когда уже был у Яши один сплошной асфальт, деньги на утреннее такси, когда обрел голос мучивший его всю жизнь стыд-страх, когда черное кашемировое пальто стало самым главным, чем он по-настоящему дорожил... Потом, позже, Яша не раз и не два делал ревизию всему детскому, в котором он был глупым, слепым, счастливым. Делал ревизию и ставил под сомнения слова, которыми помнилось и мысли, которые, наверное, пришли позже, но были присвоены детством, потому что в нем можно ошибаться, не видеть, можно не отвечать ни за что, но хватать за головы все фигуры и переставлять их по доске так, чтобы никому не шах и никому не мат, чтобы королева-ферзь ни в коем случае не осталась одинокой, чтобы король не лег, не покатился, задевая все клетки сразу. Не упал с доски

Яша не был вполне уверен, что не придумал себе детство: «переливчатую радугу», Левку, таскавшего со старым словарем, мать, у которой все они боялись спросить, потому что боялись узнать.

Иногда Яша разговаривал об этом с разными людьми. Подбирался к главному окольно, не в лоб. Почти у всех детство считалось не главным, не обязательным. Его непременно следовало испортить будущим или мечтой о нем. Зачеркнуть снисходительно: «Я был маленьким и не понимал...»

Яша так никогда и смог согласиться с этими прятками. Потому что не было больше такого времени, в котором он бы понимал все так ясно, правильно, в котором так просто, без специального умственного усилия, без науки не видел плохого, стыдного.

Падать — не больно, слизывать с коры черемухи сладкий застывший сироп — не вредно, ползать под столом между фильдеперсовых и хлопчатобумажных, между штанных и кальсонных ног — не стыдно. «Ой, догоню, догоню».

Яша не помнил, говорила ли ему так мать. Но он видел множество женщин, склоняющихся над годовалыми людьми... И все они, эти женщины, от имени жизни на земле и всех ее тревог и радостей обещали детям, что догонят.

2

Зина сказала: «Муж твой вернулся...». И Яша отменил в своей голове глупые глупости, отмахнулся от того, что видел. Он подпрыгнул до самого неба. Взвизгнул. Сразу подумалось о собаке. Другие мужики заводили собак. Для дела, а не для баловства. Потому что строили-чинили дома, на месте сгоревших, сожженных немцами... Разбирали фундамент, копали

глину в карьере, собирали солому, щепу, полову, для тепла замешивали в саман навоз. Это, если была корова. Дома строили быстро, кто с опалубкой — и детей тогда тоже звали месить глину, но больше ставили мазанки: рубили акации и плели их как корзины.

Как плетут корзины, Яша увидел позже, и в красоту и надежность их сразу не поверил. Дырка — место пустое, ее закрывать-замазывать надо, чтобы не дуло.

С акацией этой в голове, и вкусом цветов ее, сладких, почти сахарных, с собакой-пустобрехом (и имя ей придумалось — Тарзан), Яша побежал назад, к бараку, к дядьке, переминавшемуся на крыльце. И видно было — по нетерпеливости ног — уже обиженному и готовому идти к пьющей бабе Тане.

«Батя! Вернулся!» — крикнул Яша и прыгнул на него, повис. А дядька прямо оторопел, испугался даже. Не сразу, но поднял свои ручки, вздохнул сильно и прижал Яшу к себе. Не дядька, не дядька. Отец.

Обнимала ли его мать? Катька? Плакали ли, выли, как принято было в Туманном? Собирали ли на стол? Хлопотали ли с картошкой и чтобы всем хватило? Приносила ли баба Таня американский пудинг, целый ящик которого достался ей как самой крикливой вдове героя? Был ли Федор со второго этажа? Его жена, маленькая, узкоглазая, приставшая к Федору как вошь к кожуху где-то в эвакуации? У нее была какая-то грустная но, наверное, стыдная история. В бабе Таниной пьяной брани часто звучало: «Сдам тебя в органы, татарская морда, чувичка с вагона бричка, побирушка к алтыну двушка...». Что-то у нее было неправильно, но Яша не знал что.

Ее называли Кызыл-Орда. И всякое застолье прекращалось только тогда, когда последний мужик, чертыхаясь, ломал об ее имя язык, а после уже мирно и без сопротивления сдавался в плен бабам, превосходящим, конечно, в живой силе и технике.

Ну пели же? Пили? Взрослые всегда пьют... Так было у всех, кому отдали мужиков — хоть с войны, а хоть даже из тюрьмы. И называлось это «сидеть по-людски». Конечно было.

А Яша, в счастье дурак, просто не мог вспомнить материнского лица, с которого должен был начаться праздник. Как будто не было его во всей этой встрече-кутерье.

Зато лицо Зины, красивое, как нарисованное тушью в стенгазете, но измученное почему-то, поломанное закушенной губой, он помнил очень хорошо. И Левкин голос тоже: «Если вы точно наш, то давайте, пожалуйста, сфотографируемся. У нас ателье открылось по коммерческим ценам...»

3

Строиться начали только следующей весной. Отец пошел на стекольный завод — разнорабочим. Говорил, что вскорости пустят шахту. Там заработки: заживем.

Яша не понимал этого «заживем». А сейчас тогда что?

Сейчас, когда мать пятнает Левке и Кате картошку, чтобы они в школьной печи узнали свою? Когда, «не из последнего, Слава Богу», Зина справляют юбку и она вертится перед маленьким зеркалом, в котором отразиться можно только по поясу... Но догадливая Катка тащит табурет. Зина взбирается. И в зеркале всем видна юбка. Кроме Зины. И это очень смешно. А она, дылда, вдруг начинает плакать злыми слезами и ругаться плохими словами. Отец подходит и как-то неправильно снимает ее с табурета. Держит на руках вроде как маленькую, но по лицам понятно — как большую. Но все равно... Все равно.

Потому что Левка делится с Яшей газетами и на пожелтевших пустых местах Яша рисует-придумывает всем подарки: Левке — велосипед, Кате — кровать с периной, отцу и Зинке — колбасу и конфеты, их срисовывает из какой-то книги. А матери — платье... Яша хотел бы синее, но карандаш красный, поэтому приходится надписывать словами.

С отцом все становится лучше, но и хуже. Он учит Яшу и Левку играть набивать жошку, и пацаны уважительно завидуют, потому что жошка у них с братом своя: захотят — дадут, а нет — сами будут играть. Еще отец учит их не гордиться. Это значит — не лезть на рожон и не думать ни о чем при команде «ложись». «Перед пулей или атакой артиллерийской гордиться не надо», — говорит он. — «Героически помереть всегда успеете...»

Труднее всего даются Яше «сорок секунд на сборы». Потому что каждый солдат должен понять для себя, что ему в бою главное и нужное, а что — нет. Нужно взять с собой, все остальное — бросить. Потому что впереди обязательно передислокация или марш-бросок. Или переход государственной границы и ведение боев на территории противника. «И как ты, Яша, малюнки свои потащишь для победы над врагом?»

«В наволке!» — отвечает Яша.

Отец смеется. Это Яша помнит.

Потому что вообще отец смеялся редко. Он был отдельный от них человек. Особо не пил, не буянил, не занимал много места даже. Спал не с матерью, а на раскладушке, сдвигая стол к стене. А мать спала на полу — у шкафа. А с той стороны шкафа — Катя и Зина, у них было что-то важное, называвшееся словом «придатки», которые следовали беречь рейтузами, теплыми носками и местами, где не продует. Потому ближе к двери спали они с Левкой, не на кровати, зато на панцирной сетке.

С возвращением отца в жизни стали проявляться другие люди. Они, конечно, были и раньше. Яша знал, как их зовут, что они едят и как ругаются. Но мать говорила: «Не с-с-смей слушать! Не с-с-смей п-п-повторять!» И Яша легко соглашался. Эти другие люди, особенно баба Таня, раньше называли их с Левкой байстрюками, мать — гулящей зайдой или ведьмой, а Зинку с Катей — шалавами.

Еще другие люди, особенно пацаны, дразнили Левку жидом, а Яшу немчурой.

Но во всем этом не находилось обиды. Все эти шалавы, зайды, жиды были словами без значения. Они не были наполнены для Яши знанием, соотносимым с реальной жизнью. Интонация, да, имела значение. Да и то...

Много позже Катя расстраивалась о том, что ее дочь-первоклассницу соседка по парте назвала «сраной интеллигентницей». Не в сердцах, а вообще без задней мысли. В каком-то обыденном совершенно эпизоде. Вроде: «Пойдем уже домой, сраная интеллигенция».

Катя сразу купила дочери новое пальто. И рассказывала потом, что постоянно заглядывала ей в глаза, чтобы найти в них затаенную, невысказанную боль. Но ничего такого не было. Дочь Маша пожимала плечами. «Ее оскорбили, а она не понимает!» — сокрушалась Катя. — «Это ж какая-то социальная ненависть! Это ж родители всё!»

Яша качал головой. Улыбался. А Катя сердилась еще больше.

А чего сердиться, если жаль, а не злость? Кто взрослеет раньше, первым получает кровь, а с ней национальность и все прочие осознания принадлежности ... первым взбирается на лестницу иерархий, чтобы с верхней ступеньки завидовать всем остальным, продолжающим играть и жить просто так. Взбирается еще, чтобы оттуда, как будто бы сверху, уже осознав свои кровные границы и мнимые часто преимущества, а с ними — обязательно — и неизбежность смерти и все другие неизбежности, свои бедности, никчемности, орать от страха и одиночества, наслаждаясь унижением тех, кто по глупости своей или малости, продолжает жить как ни в чем не бывало.

Жаль только, что этот крик кажется криком силы и победы, а потому догоняет почти каждого. И вслед за обидчиком жертва лезет-сунется куда-то наверх, чтобы с верхней ступеньки тоже орать. От страха и одиночества.

С возвращением отца, с переездом, бестолковым, забывчивым, других людей и мест, которые эти люди считали своими, стало больше. Мать и отец на улице, что называлась в народе Нахаловкой, были пришлыми. Хоть и построились не на пожарище, но все равно как будто заняли чужое, раньше бесхозное, а значит, принадлежавшее всем.

Получалось, что они присвоили траву, которую ела соседская коза. И воздух, которого стало не хватать для нормального дыхания полной грудью. «Мы может здесь картошку сажали. Мы, может, сараюшку сюда думали приделать... Ишь...»

Яшу рассматривали. И Левку, и Зину с Катей. Особенно же — мать. Новые люди считали, что ей незаслуженно повезло, но долго счастье ее, гордячки (молчунья, значит, гордячка) не продлится. Укатают Сивку крутые горки. Еще запьет, забьет, скобелится еще, как пить дать. Потому что мужик ласку любит и чтобы дома все «по-людски». А ведь ясно слепому, только гляньте, нагулянные ж дети! Жидовый Левка, глаз маслянистый, нос торчком, а малец-то вообще... «Не подскажите, Анна, с какого года Яша-то ваш? Ой, дак это муж ваш, чегой-то на войну так поздно пошел? Дак, а как же это? Полицаем, что ли, где? Объясните народу поседски...»

«П-п-перестаньте говорить г-г-глупости», — тихо отвечала мать.

При отце злые бабы таких разговоров не вели. Может, боялись его, а, может, бросая свои ядовитые слова, на самом деле не ждали урожая. Простое любопытство, без последствий: глядели в их жизнь как в кино, забывая сюжеты, героев сразу после слова «конец», чтобы назавтра посмотреть снова, зная, чем кончиться, но надеясь, что пленка порвется, механик запьет, случится чудо чудное и они сами мелькнут на экране, и сделают уж там все правильному, по-людски. И об этом снова можно будет говорить, наслаждаясь своей прозорливостью и пониманием жизни. Чужая жизнь — всегда кино. Но злые бабы не собирались брать на себя лишнего и растить из подлости или глупости своей беду. Задираясь, они пытались задружить. Выставляя друг перед другом, на самом деле приглашали мать в свою компанию и требовали в залог что-нибудь тайное, до жути страшное, обещаемое быть похороненным в сердце до самой гробовой доски.

Яша тоже так задруживал с пацанами: сначала задибался, дразнился, потом, соединяясь случайно в набеге на чужие яблони, в попрошайничестве на узловой станции, требовал с них клятву... И общее молчание о всяком стыдном, казалось, скрепляло дружбу навеки. Стыд не дым, глаза не ест. Не дым, а дом. Или, скорее, фундамент. Общий стыд держит крепко, как хороший цемент. В нем идея, многопудовое молчание, постоянно прирастающее тяжестью, вина без искупления, зато — на всех.

Кажется, что на всех. И кажется, что всеобщность стыда облегчает прошлое и вообще — основа жизни. И даже всякого движения вперед.

Злые бабы болтали, но забегали за солью, «напиться водички», сами приносили матери то вишни-шпанки: «уродило, гниет аж...», то «масличка за полцены...». У баб появлялись имена — тетя Валя, тетя Катя, тетя Сима. И их дети, если пацаны, конечно, вполне годились для игры в жошки и в пуговки.

И солнце, которое было внутри Яши, еще не погасло и даже не пряталось за тучи. Его личное солнце переживало разные погоды: временно мобилизовывалось на зимние квартиры, уходило в разведку, прикрываясь дождем, сидело в засаде, ожидая удачного момента для нападения на колонну морозного противника. В пятидесятом Яша пошел в школу. И у него образовалась своя, отдельная от всех, и даже от Левки, жизнь. Первоклассников было мало, а потому в одной комнате (зато с печкой!) сидела вся их «начальная школа». А вся другая школа двигалась в сторону «средней». И Катя, которая должна была закончить семилетку («И так на три года позже!» — сокрушалась Зина), решила доучиться еще два класса, чтобы поступить в техникум. «В девятнадцать лет ты будешь школьницей?» — зло смеялась Зина. — «А мы будем на тебя все пахать? Ладно, эти — малолетние. Но ты-то? Ты же обещала...»

Зина хотела уехать: учиться или работать. Она не хотела жить в Туманном, и Яша не знал, почему. Женская жизнь была ему непонятна, потому что превращала нормальных людей в чокнутых. Катя превратилась прямо на глазах. Это было еще до Яшиной школы: Катя играла с ним и с Левкой в подкидного на щелбаны. Продулась. А дошло до дела — рас-

плакалась вдруг и сказала, что бить человека, а особенно женщину — подло и почему-то грязно. Руки, между тем, у Яши были чистые. И он точно это помнит.

Они с Левкой пытались догнать Катю и привести приговор в исполнение, а она убежала в Дурную Балку, куда детям ходить было строго запрещено, и сидела там, пока мать не нашла и не привела домой.

Катя и Зина должны были уезжать вместе. Такой был план. Мать, наверное, не знала. А, может, знала, и была против. Однажды Яша увидел, как Зина стоит на коленях перед матерью, сидящей на табурете, плачет ей в юбку, приговаривает, бьет себя зачем-то кулаком по голове, слюнит материн подол. Яша зашел тихонько и услышал только, как мать сказала: «Ж-ж-живите... Н-н-ничего... А н-н-нет, т-т-так уезжайте...»

Было непонятно: чего плакать-то?

Яша спросил у Кати. Несмотря на вступление в заповоленную женскую, она была безопаснее Зины: не дралась, не отмахивалась и никогда не обещала рассказать все матери. В Кате было много от школы: правила, уставы, слова. Она говорила, что в ней, во всем теле и в каждой клеточке звенит комсомол. Зовет и ставит в ряды. Яша не совсем понимал, как можно поставить в ряды одного человека, даже такого красивого и наполненного, как Катя. К семнадцати годам, к окончанию семилетки, Катя неожиданно стала большой в тех местах, на которые смотреть было стыдно. И Яша старался не смотреть, пытаюсь честно сосредоточиться на веснушках и привычном Катиним губошлепстве. И на глазах, которые, Яша знал, являются зеркалом всякой души, которой на самом деле у человека нет. Стало быть, глаза должны были отражать ничего, пустое место. Но Катини отражали жизнь и огонь.

«Зинка сказала, что вы уезжать будете, да?» — спросил Яша.

«Я буду учиться еще два года», — отрезала Катя.

«А кто тогда будет уезжать?»

«Никто», — Катя покраснела и ее уши загорелись, как лампочки на паровозе.

«Зачем ты врешь?» — рассердился Яша, топнул ногой. Это было убедительно. Когда учительница Серафима Георгиевна топала ногой, Яше всегда хотелось в чем-нибудь признаться.

«Я не вру. Я слово дала под всеми салютами: не врать. У меня свершения жизни, а не ваш дурацкий быт. А из-за вас меня затягивает в мещанское болото...»

«А где это болото?» — оживился Яша. — «Ты туда ходила? С Зинкой?»

«Не спрашивай меня, Яша! НЕ спрашивай!» — закричала Катя. — «Так нельзя поступать с человеком!»

В глазах у нее уже стояли слезы. Женская жизнь с постоянной путаницей между бабами и людьми (но всегда почему-то в пользу баб, женщин) давала о себе знать. Яша не хотел больше сердиться на Катю и играть в пустые непонятные слова. Ясное дело: правильных слов Катя знала больше. Но чем больше она их говорила, тем более глупой почему-то казалась.

«Ну, не уезжаете, и ладно!»

Своя тайна — кромка льда, последнее, что чувствуют ноги, прежде чем провалиться в полынью, нахлебаться там, в один момент замерзнуть, оставить мысли о сопротивлении. Утонуть.

Кромка льда... И каждый следующий, маленький шаг, делается уже от бесшабашности и отчаяния, от веры в то, что выплыть можно, что хуже точно не будет. И можно даже стать примером. Пусть и отрицательным, но знаменитым.

У Кати была своя тайна. Но раскрыла она ее не Яше, а комиссии райкома партии, глава которой для личного пользования и всякого пищеварения уважал тишину.

Это случилось через два года после Зининых слез и Катиного отказа говорить правду. В пятьдесят втором. Осенью...

В школу пришла разнарядка: старшие классы должны были написать сочинение на тему «Годы оккупации в нашем городе». Лучшие сочинения обещали опубликовать в местной газете и послать на большой конкурс в Москву. Писать нужно было правдиво и грамотно, не утаивая никаких фактов о зверствах немецко-фашистских захватчиков и тем забить последний гвоздь в крышку гроба Гитлера и его приспешников.

Целую неделю Катины глаза горели так, что можно было не включать электричество. Или даже выбросить коптилку. Не просто выбросить, а выбросить навсегда как символ нашего преодоленного прошлого.

В глазах у Кати была решительность. Железная воля к победе. Яша видел потом много таких глаз и после Кати научился их бояться. Сквозь мертвое стекло, в котором не отражалось ничего из жизни, был виден огонь. Не для тепла, для пожара. И желание, чтобы сгорели все. И люди, и сарай, и хата. И щенок-дворняга, которого отец запретил называть Тарзаном.

Катя говорила Яше: «Мы все обязаны внести свой вклад!». И Яша, все еще дурак, и все еще в счастье, соглашался. Он бы тоже хотел, но третьеклассников не брали, потому что — разве они могли помнить так, чтобы внести?

На торжественное собрание (а после него — концерт!) по случаю девятой годовщины освобождения Туманного от фашистских захватчиков приехал райкомовский муж. Серафима Георгиевна предложила Кате зачитать свое сочинение вслух. Как лучшее. Прямо со сцены. Но перед самым началом личную читку отменила. Сказала: «Это будет нескромно...». Катя переминалась с ноги на ногу. Волновалась. Обижалась. Едва уселась на лавку, в первый ряд. Ерзала все... Ждала, что ее выделят и дадут путевку в жизнь. Так и вышло. Райкомовский муж сказал, что сочинение Екатерины Орловой как нельзя лучше показало весь звериный оскал мирового империализма в его окончательно бесчеловечном — фашистском — облики. Но конкурс пока отложен, потому что поднимает голову новый враг — сионизм. И этому врагу будет на руку узнать, как пострадали от фашизма до самой страшной смерти некоторые евреи, часть из которых была, конечно, коммунистами, но другая часть была все-таки несознательными гражданами, не оказавшими противнику должного сопротивления.

«Мы, — сказал райкомовский муж, — ничего не скрываем от общест-венности. Но и общественность должна быть начеку и не терять бдительности. Русский народ пригрел на своей груди еврейских детей, и как правильно сказано в сочинении Екатерины Орловой, дал им свое имя, кров и тепло. Но дети эти, как например, Лев и другие тоже, должны понимать, кто их настоящая мать-родина, а кто — космополитка приبلудная...»

Он хотел сказать что-то еще, набрал в грудь воздуха, умилился, бы-ло видно, тишине, которая сама по себе образовалась после его слов. За-писал ее себе в заслуги, решил отметить в отчете как убедительное под-тверждение правильно организованной идеологической работы с масса-ми. Но среди масс этих вдруг заметил шевеление-движение. К самой сце-не подошла тетка в низко повязанном платке, повернулась к нему задом, к публике передом и громким чистым голосом запела: «Вставай, про-клятьем заклеянный, весь мир голодных и рабов...»

«Во дает, Кызыл-Орда», — громко сказал кто-то из старших классов. И бедный райкомовский муж стушевался, замешкался: петь или не петь? Или гнать эту уборщицу в три шеи? Или что, люди добрые?

Но добрые люди, большие и маленькие, уже повскакивали с мест и подхватили: сначала нестройно, а потом все более сильно и даже угро-жающе: «Кипит наш разум возмущенный и смертный бой вести готов!»

Яша увидел, как Левка, прячась за спинами и опустив голову до са-мого пола, выходит из зала. Яша увидел и побежал вслед. Хотел крик-нуть, позвать, но горло перехватилось тревогой, с которой он не был еще знаком. И Яше казалось: открой он рот, на землю выпрыгнет сердце, по-катится-потеряется в палой листве. Яша старался сопротивляться: мычал. Получалось даже как будто стонал. А губы все сильнее сжимала какая-то неведомая сила. Трусливая, проросшая потом привычной осторожностью и заплодоносившая подлостью, сила.

В начале улицы Левка прибавил, и Яша прибавил тоже. Сердце прыгнуло последний раз и ушло на место. В ушах звенело: ура, домой, домой, домой...

Мать стояла на крыльце и убирала Зине волосы под косынку. Отец курил. Правой рукой он держал папиросу, а левой Зинино плечо. У его ног лежала скатка, чемодан с металлическими уголками, какого в хате Яша не помнил, и два узла... Из одного торчал кусочек простыни, которую мать сшила из двух чужих, старых, забракованных заказчицей.

«Мамка!» — Яша рванул вперед, чтобы Левке не мучиться, не гово-рить первому, самому... Обогнал легко, крикнул снова — «Мамка! Они там, в школе, так наврала, так наврала, что теперь у Левки кишки нару-жу...Ты скажи ему, мамка, что он наш...Прямо сейчас скажи. И ты, батя, подтверди ему... и хай они все повыздыхают»

«Поезд же...», — в застывшем, неправильно каком-то молчании уны-ло протянула, почти подвыла Зина. — «Поезд...»

«Езжай сама. Я после... Я после приеду. Никуда не денусь. Не дрейфь», — отчетливо, строго даже, сказал отец и прижал Зину к себе. — «Яшка проводит. Бери вон узелок поменьше... Не надрывайся. А ты, сына, другой... Ага...»

«С-с-справимся», — покачала головой мать. — «Езжайте оба».

Отец криво усмехнулся. Левка уже стоял рядом. Пинал ногой скатку. Молчал.

«Эх ты, Левка-коровка!», — вдруг всхлипнула Зина.

«Эх ты, Зина-дрезина», — улыбнулся Левка, подхватил узел, из которого торчал краешек простыни. А Яша взял другой.

Опоздать на поезд по тем временам означало почти умереть. И не в билете было дело, а в самом решении ехать. Его принимали не быстро, но обязательно навсегда. Возвращение, конечно, предполагалось. Победительное, кратковременное, с подарками и обещаниями в следующий раз приехать «на подольше». Пропустить свой поезд означало отказаться от другой жизни. Сначала вымаливать ее, выпрашивать у семьи, твердо стоять на своем, даже если стоять на коленях... А потом опоздать, отложиться, отказаться.

Яша бежал впереди, оглядываясь на Зину и Левку. Они шли молча, думая о плохом. Думки эти делали лицо Зины старушечьим, похожим на выкрученное белье, а Леве давили на ноги. Шаг его был неровным, спотыкающимся, как будто пьяным.

Яша показывал им язык, приседал и выпрыгивал вверх, как учил военрук, один раз даже специально упал. А им — хоть бы хны. Они не видели Яшу, зачеркнули его как «ы» после «ш» — красным учительским карандашом.

«Мы плохие, Зина?» — спросил Левка у самого вагона.

«Я — плохая. Ты — нет», — сказала Зина. — «Как устроюся, куплю тебе часы. Жди!»

Лева кивнул. Яша обиженно фыркнул. Хотел вообще убежать, не прощаясь, но подумал, что часы могут быть общими. День через день носить. Или, если будет Левкина ласка, то по праздникам хоть... Яша пристал на цыпочки и клюнул Зину в щеку. Она обняла-прижала его к себе. Так сильно, что Зинино сердце толкнуло Яшу в самую грудь. Несколько раз толкнуло. Яша удивился и сказал: «Ой».

Левка дернул его за руку. Зина тяжело забралась на подножку. Яша обрадовался и крикнул: «Ты теперь толстая, Зина! Тебя теперь обязательно возьмут замуж!»

5

Многие люди, повстречавшиеся Яше в жизни, легко умели из хорошего делать плохое. Они перелицовывали радость, выдергивали ее нитки, выворачивали все наизнанку, чтобы были видны торопливые швы, унылые латки, серые потертости. Это даже считалось мастерством. Не великим, но все же умением. Почему-то считалось, что ходить швами наружу, демонстрируя бедность и убогость, означает быть своим, правильным. Яша так никогда и не смог этому научиться. Его умение, почти дар, имели обратный знак, а потому назывались глупостью. Или необоснованным оптимизмом. Кое-как собранное Яша чувствовал целым, небрежно

сказанное — смешным, необходимым. Одного цветного штриха ему было достаточно, чтобы решить: плохое кончилось и надо просто закрыть глаза, заснуть, забыть....

Толстая, наконец-то толстая Зина была радостью, которую Левка должен был принять как утешение, отрезать себе кусочек и намазать на рану. Да и какая рана, если глупость? Райкомовский муж — глупый же человек. Вон книжек у него сколько, а читал их кто? Только Левка с хозяйкиного разрешения. Книжки почему-то держали они в подвале, в холоде-сырости, рядом с бочкой квашеной капусты. Капуста родила всегда хорошо, а книги — нет. Это Левка так говорил-возмущался.

Но по дороге домой молчал, поглядывая на Яшу с сожалением. Жданная полнота Зины, выходило, не зачеркивала его плохое...

Перед самым домом Яша зашел с козыря: «А меня в пионеры на тот год примут, а тебя — в комсомол!», и Левка едва выдавил из себя глухое, чужое совсем: «да».

Дома былолюдно и громко. Зачем-то играл полученный отцом премиальный патефон, плакала навзрыд Катька, стучал по столу барачный сосед дядька Федор, сам отец шумно дышал и краснел шеей, а тихая, незаметная Кызыл-Орда гладила мать по руке.

«Я хотела, чтобы матери орден, чтобы все знали, чтобы....», — надрывалась Катька.

«Надо сказать, как было, надо сказать, как было, надо-надо сказать, как было», — бубнил дядька Федор.

«И были три свидетеля: река голубоглазая, берёзонька пушистая, да звонкий соловей», — задушевно, но приторно вмешивался-вплетался голос Леокадии Масленниковой.

«Иди, Яша, погуляй», — сказал отец, заметив, что они с Левкой стоят в дверях. — «Иди, кому говорят. Не стой. Допросисься, шо жаба цицьку дасть. Мы тут сами...»

Сами так сами. Вместе с обидой Яша почувствовал облегчение. Если уж дядька Федор на подмогу пришел, не только дом, но и жизнь целую можно строить. Дядька Федор был инженером, а потому не воевал, а укреплял хозяйственный фронт в эвакуации. Имел за это орден, деревянную ногу (говорил, что старую отбросил в Сибири как ящерка шкуру) и злые слезы в день Победы. Дядька Федор был ого-го-го. Поэтому Яша смело дунул к райкомовскому мужу и кинул им в окно камень. Не булыжник — оружие пролетариата, но тоже ничего. Стекло разлетелось со звоном. И окрыленный успехом Яша побежал к школе, где вечерами взрослые робя и даже дядьки играли в пристенок: те же пуговики, только на деньги. Ощущая себя настоящей бандитской рожей, Яша сторожил папиросу почти до окурка и даже крикнул: «Не туши, дай потянуть...». Потянул смело, невкусно, но все равно... Быть дурным примером для товарищей оказалось делом веселым. И весь октябрь Яша входил во вкус, подумывая о том, как завести маруху, а, главное, где ее взять, как выпить водки и «нахристарадничать» денег, чтобы старшие пустили в игру.

Ни мать, ни отец ничего не замечали. Раньше отделенные только друг от друга, теперь они отделились и от Яши. Тревожным, но не общим,

взглядом они следили за Левкой и Катей. Старались, чтобы не загорелось между ними, чтобы не разорвалось. Страшились глупостей: Левкиного убёга и каких-то Катиных «всех тяжких».

Яша сердился. Наверное, ревновал, что не ему вся эта родительская хворь. Злился на всех. Из простого и теплого они умудрились сварганить бракованное мутное стекло, годное только для того, чтобы наступить на него и больно порезать пятку. Прямо отчетливо представлялось Яше, как хлыщет из всех их ног кровяца, лужами расплываясь по огороду, заляпывая даже материны заказные стирки.

А Катя и Левка вели себя хорошо: не ссорились, носили воду, стояли в очереди, если надо было купить керосин, соль или мыло... Они даже ходили в кино: вдвоем, без Яши. Фильм был немецкий, с музыкой и танцами. Яша такие не любил.

История с Катиной «всей правдой» постепенно рассасывалась, размывалась быстрыми, как девичьи слезы, дождями, отодвигалась хорошим урожаем картошки, для которой — такой красавицы — вырыл отец погреб. Она залистывалась книгами: Левка брал их теперь в школьной библиотеке, и Зиниными письмами, в которых она сообщала, что живет хорошо и посылала всем пламенный комсомольский привет.

6

К ноябрю с бандитизмом Яша решил завязать. Испугался. Старшие предложили постоять на шухере. Хотели взять кассу шахтного ларька «пиво-воды», в котором никакой воды отродясь не было. Потому что глупо продавать то, что бесплатно течет из каждой колонки. Яша не знал, как сказать им, что он не будет. Было одинаково страшно и говорить, и стоять. Две ночи он не спал: готовил речь. Из всего придуманного ему удалось лишь сказать: «Я продавщицу знаю...». «Стукнешь — уьем, ссыкля!» — пообещали пацаны. Самый старший, Феликс, обидно толкнул его ладонью в лоб. Яша не удержал равновесия и сел на угольную кучу у забора. Плакать было совершенно нельзя. Слезы были хуже, чем кровь. И Яша, точно зная, что нарывается, заорал во всю глотку: «Нельзя брать у своих. Она — своя. Мы ж имя ее знаем!».

Феликс вернулся и зарядил Яше кулаком в нос. Из глаз посыпались искры. Но Яша остался при личном мнении. И всю жизнь был уверен, что пределы воровства определяются пределами близости. Через имя нельзя переступать ни в грабежах, ни в стукачестве, ни в предательстве. А общее — ничье. И с ним можно поступать по-всякому. И даже хорошо поступать с ним для собственной пользы.

Ничьими для него всегда были потом цветы на клумбах, хлеб и горчица в столовой и слова, сказанные и написанные разными вождями с разных трибун и передовиц центральных газет. Иногда женщины.

Яша вернулся в семью, где никто, казалось, не заметил ни ухода его, ни долгого отсутствия. Чтобы искупить свою невидимую, а потому не искупленную, вину, Яша записался в рисовальный кружок. Там было много девочек. И из любой могла бы вырасти настоящая маруха.

...Левка повесился у Дурной балки, на старом ясене, «самолетики» которого считались лучшими для воздушного боя, особенно, если запускать их с подветренной стороны. Но ходить к ясеню и, конечно, к балке было строго-настрого запрещено. Потому что — могила. Наша, самая большая, братская, с войны, но до памятника, до оградки, цветов каких-нибудь не доходили ни у кого руки. Место ощущалось тяжелым, гибельным. Считалось, что мертвецы, сброшенные фашистами в общую яму, встают по ночам и бродят среди деревьев, ищут родных и забирают их с собой. Самые отчаянные тренировали у балки или даже в ней самой волю.

Яша прицепился к Левке как репях. Репейник. Бежал за ним. Присил. И плевать ему было на тренировку воли, просто хотелось, чтобы как раньше... Чтобы Левка нудил, а Яша смеялся и не брал в голову, чтобы в кино, в жожку... Чтобы рассказать о своем страшном бандитском прошлом. И чтобы Левка не думал, будто прошлое есть у него одного.

Но Левка сказал Яше грубо: «Иди отсюда, вдвоем каждый дурак может. Надо поодиночке».

Был холодный, снежный уже, послепраздничный ноябрь, в котором Кате не доверили выносить флаг комсомольской организации школы, а Левка не прочитал, как делал это обычно, на всех праздниках и линейках, свой Маяковский «Паспорт»...

Темнело рано. И мать, скорее всего, уже искала их с мокрым полотенцем. Оно никогда не шло в ход, и вряд ли вообще было мокрым, но руках матери обозначало последнюю меру сердитости. Хитрый Яша не собирался бежать через рощу один. Он решил тоже потренировать волю отдельно от Левки, в зарослях кустарника, на котором летом росли ядовитые, предательские, потому что вполне съедобные на вид, волчьи ягоды.

Яша поглядывал на Левку и посмеивался в кулак. Тому, видать, от страха было то холодно, то жарко. Он неуверенно как-то подпрыгивал у ветки, а потом снял с себя ватник, аккуратно вывернул и сложил, как в скрыню, на холщовый мешок, с которым ходил в школу. Еще Левка зачем-то снял их с Каткой общие валенки, недавно купленные отцом... И остался босиком, что было совсем неправильно. Потому что закаляться никто не договаривался. И катать снеговика — тоже. Тем более, вскакивать на скатанное уже тулово босыми ногами.

Яша хотел выбежать из укрытия и крикнуть: «Ты зачем без меня? Не честно!», но увидел, что мать движется в их сторону, быстрыми, летящими даже шагами, почти бежит, без платка, расхристанная, ненаглядная. Сердце Яши привычно зашлось от радости.

Он пропустил, что там Левка... Он не видел.

Услышал только, как мать закричала: «Сынок!» и бросилась к ясеню. К Левкиным ногам, которые схватила и подняла вверх как красный флаг революции. Яша выскочил из кустов, не зная, что делать. Ему было страшно, потому что мать ревела как буря. Это мать, а не буря, крыла небо мглою. И крутила снежные вихри. Не в игру она проклинала небо, а как будто навсегда, разрывая его на части без слов, воем-ревом, в котором точно не было ничего человеческого.

От рева этого была ее сила. И она продолжала держать Левку, при этом пыталась навалиться плечами на ветку. И Яша понял: поломать. Мать хочет поломать.

И Яша зажмурился и подумал, что должен непременно помочь: залезть на дерево, зацепиться руками и что есть силы потянуть сухую, битую молнией, ветку вниз.

Хруст, хруст, хруст. Надо только открыть глаза и сдвинуться с места.

Шел снег. На снегу лежал Левка, на нем мать. Она пела. Спокойным, тонким, нездешним голосом, каким, Яша знал, поют русалки в реке. Не поют, а заывают на смерть.

«Баю-баю, баю-бай, спи, мой Лева, засыпай, — снова и снова зачинала мать, — Гуленьки-гуленьки, сели к Лева в люленьку, стали люленьку качать, стали Лева величать».

Яша подбежал на цыпочках, чтобы не разбудить, развернул ватник, осторожно укрыл им мать и Левку, но, понимая, что тепла им не будет, лег сверху, валетом, как будто куча мала. Как будто игра, но и грелка. Яша взял Левку за пятки. Мать не шелохнулась, не отозвалась. Она величала Левку. Яша подумал, что с ними он хочет быть больше всего на свете. Больше велосипеда и больше пионерского галстука. Он решил, что будет спать, потому что сон — это еще не конец, хотя и очень похоже. Некоторые, особенно женщины из сказок, спали по сто лет, а потом ничего — даже замуж выходили.

Долго ли коротко ли...

Ничего.

Все пропустил Яша. Ничего не услышал и не увидел тоже. Жизнь ушла за горизонт. Упала за него, как падает солнце.

Но там, в темноте и невидимости, конечно, не кончалась. Была. Сплеталась в биографии, вносилась в справки. Обрастала словами, потому что больше ей, жизни, обрастать, если разобратся, нечем.

Отец ворвался к райкомовскому мужу, схватил его за загривок, тащил по двору, мимо сливы, потом по улице к их старому бараку. Баба Таня держала дверь туалета, а отец возил райкомовского мужа по дощатому настилу, на котором было много вонючего, всеобщего говняного, подмерзшего уже, а потому не цепкого и не едкого. Отец, как многие другие мужики Туманного, кричал: «Тыловая крыса. Сдохни, сдохни здесь...», а баба Таня бросалась под ноги всем, кто хотел райкомовского мужа спасти. Говорили, что таких было немного. Если честно, то один только дядька Федор и пытался. Но куда ему с деревянной ногой против бабы Тани, привычно и ловко падающей на каждый дядьки Федора шаг?

Потом еще был суд. Баба Таня, трезвая, нарядная. Всем баракком собирали ей одежду — юбку черную, ботики, маркизетовую кофточку, а под нее трофейную, невиданной красоты комбинацию, а еще пальто. Но в пальто в зал суда бабу Таню не пустили. Обиженная этим обстоятельством, она, как свидетель, заявила, что райкомовский муж, извините, конечно, спускал в свой личный нужник газеты, которыми привык подтирать зад. Дак он и забился. Канализация — не яма, много глупостей не накидаешь. А потому пришел человек справить нужду большую к ним, по-соседски. А поскоку дерьма народного в их отхожем месте собралось

немало, поскользнулся. Упал. «Всем баракком его спасали, — сказала баба Таня. — А тут Никифор мимо шел. Не растерялся и у самой бездны остановил райкомовское падение».

За такие слова бабе Тане пообещали срок. Она, говорили, ругнулась грязно, как любила и умела, и сообщила собравшимся, что ежа голой жопой напугать трудно. Практически невозможно, что, собственно, и доказал пострадавший товарищ.

Дядька Федор, как свидетель, оказался пожиже. Он согласился, что дело это политическое, хотя и личное. Но личное от политического отделить нельзя, потому что нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Федора в Туманном не осуждали, потому что у него была своя рубашка и своя погрешка. Следователь на допросе так и сказал: выбирай, кто тебе дороже. Татарка, предавшая вместе с другими членами своего несознательного народа советскую власть, или этот Никифор, вставший на службу мирового сионизма?

Татарка была дороже. У нее, тем более, пузо лезло на нос. И на ее стороне складывалось не только моральное, но и численное превосходство.

Отца судили в областном центре. Это было удобно для Зины, которая пришла на заседание с крупным, туго запеленатым в клетчатое одеяло младенцем. По причине недавнего рождения, его еще не брали в ясли. При других обстоятельствах безмужняя, но с ребенком Зина, никогда бы не решилась выйти в люди и сгорела бы от стыда. В сравнении же... В сравнении ее стыд был маленьким и честным. Он не перевешивал. Даже если бы Зина с ребенком подпрыгивали на своей чаше, то им бы не удалось оказаться ниже, чем оказался в глазах Туманной общественности бесстыжий райкомовский муж и жалкий, понятный, но что с того, дядька Федор.

Говорили, что на суде Зина все норовила показать младенца отцу. Конвоиры отталкивали ее грубо, но она, как кобчик («как кибэць!» — настаивала баба Таня), налетала, билась о них грудью до тех пор, пока судья не прекратил все это «светопредставление» и не велел вывести Зину из зала суда окончательно и без права пересмотра.

Отцу дали семь лет. Учили прошлые, фронтовые и трудовые, заслуги, которые, хоть и не оправдывали, но были.

Зинин младенец оказался девочкой. Из-за одеялка это не сразу все поняли. А спросить не решались. Выдумали, что мальчик, потому что пацаны — они надежнее и ценнее. И конвоиры тоже должны были это понять.

Девочку Зина назвала Анной.

К настоящему прошлому

7

Из того, что потерял старый Яша, отчества было меньше всего жалко. Без него было даже легче. Легче отзываться, двигаться, чувствовать себя уместно. Шуршащее имя для шепотной, невнятной и нездоровой речи казалось вполне годным в больнице, где умерла жена. Ульяна. Яна.

Машина Яны остановилась на светофоре. Она называлась «Нота». Машина того, кто убил Яну, светофоры презирала. Потому что ее звали «Бентли». Она неслась по встречной, обгоняла... «Нота» для «Бентли» — муха. Когда на муху машешь, она должна испугаться и улететь. «Нота» не улетела. И «Бентли» прихлопнула ее, повредив свою красоту и оригинальный дизайн. Яна была жива три недели. Множество иностранных аппаратов, большей частью немецких, которые она выбивала для клиники, растягивали во времени не надежду, нет. Они растягивали привыкание к мысли о том, что ее больше не будет. Это было гуманно для Яши. Он жил в больнице. Он жил тогда только потому, что у Яны были теплые руки.

«Слушай, ко мне приходит пациент. Я смотрю и думаю, какой взрослый. Я думаю о нем: «Дядька». А дядька мой ровесник. Совсем не понимаю, сколько мне лет. Я, наверное, остановилась в развитии. Я принимаюсь уважать дядек и теток за возраст. И зачем-то спешу им понравиться... А они меня видят и думают: «Тетка», да?»

«Надо не отставать? Надо как-то разбираться в названиях коктейлей, сумок. Вино тоже, оказывается, бывает не только белое и красное. Или пусть они бегут, а мы подождем? Пусть устанут, а тут мы — с бутербродами и жареной картошкой? Иногда я очень жалею о том, что у нас нет детей. А иногда думаю об этом с радостью...»

«Города я люблю больше, чем море. А реки — меньше. А еще, оказывается, можно было многого хотеть. Например, не быть врачом и учительницей, а делать духи или пирожные. Можно было, оказывается, мечтать о садах и ландшафтах. Или разводить собак. А лучше лошадей. Можно было делать мебель. Или работать осветителем на съемках. Почему никто не рассказывал нам об этом? А ты хотел быть космонавтом?»

Яша держал жену за руку и разговаривал сам с собой. Сам спрашивал. Сам отвечал.

Нет, он не хотел быть космонавтом. Ему не рассказывали. Нет. Когда он выбирал, Гагарин еще не взлетел. Совсем чуть-чуть не взлетел. Наверное поэтому его, Яшин, выбор лежал вдоль дороги к узловой станции. Все как у всех — уехать или остаться. Если остаться, то дальше ясно — стекольный завод или шахта. Если уехать, то как повезет. Мать хотела, чтобы Яше повезло. Мать хотела, чтобы Яша учился. Учился — это все. Конечная станция. Тупик фантазии. Понимаешь? Учился — это уже само по себе билет в другую жизнь...

И — да, пусть бегут. Но сыр с плесенью — неожиданно вкусный. И зеленые травы с причудливыми (как запомнить?) именами — тоже. Каша, конечно, надежнее. И пареный буряк. Пусть свекла. Без траты времени и ешь, сколько хочешь. И жареная картошка.

Дети быгодились, наверное. Я бы жаловался им: «Совсем старый стал. Старый дед...». А они бы возражали горячо: «Что ты, папа, что ты... Это только рассвет. Самое начало...». Но их было бы очень жалко. До полной невозможности радоваться. Как дышать, если им, нашим детям, когда-то пришлось бы умереть?

Пока Яна была жива, Яша приловчился делать ей клизмы. Ей и другим тоже. Мыть полы еще. Двери. Перекладывать больных. Хромал, но

силы были. Вполне хватало. Иван Николаевич, завотделением, сначала закрывал на это глаза. Младшего медицинского персонала катастрофически не хватало. Яша рассчитался с работы и пристроился санитаром. Это было нарушение трудового кодекса, здравого смысла и всего, на чем вроде бы стоит мир. Но в провалах логики, там, где мир лежит-отдыхает, у Яши формировалось место, с которого сдвинуть его было невозможно. Пока Яна была жива...

Происшествие расследовали быстро. И быстро передали дело в суд. «Бентли» подал иск на «Ноту». «Нота» и была признана виновной. Яна и Яша оказались должны: за починку, восстановление оригинального дизайна и моральный ущерб, оцененный в стоимость нового «Бентли». Наверное, хозяйева хотели, чтобы у них была пара.

Имуществом Яны был дом. Она шутила: «Дом, который построил Джек». Искала Яшиных тезок по всему миру. Джек, Джейкоб, Якоб, Джакомо, Иаков. «Ты, Яша, пята. Или следующий по пятам. Тебя называли по святым. Знаешь?» «Можно я лучше буду Казановой?» — смиренно спрашивал он, внутренне ужасаясь тому, что когда-нибудь тело его откажет. И тепло его с Яной будет ровным, отеческим. Чем больше он думал об этом, тем яростнее искал губами ложбинку на спине, тем настойчивее утыкался в круглое («Я никогда не смогу из-за тебя похудеть!») Янино плечо. Тем больше радовался ее тихому всхлипу, в котором было столько непристойной радости и легкости, что мечталось даже в них умереть.

Он построил дом. Потому что его отец построил дом. Потому что в словах «дали квартиру» он всегда слышал унижение, сухую констатацию своей (и всякой) неспособности быть мужчиной. Хотя...

Хотя, когда в шестьдесят восьмом квартиру давали, был счастлив и придирчив: отверг и первый этаж, и северную сторону на втором. Взял на третьем: окна на восток. Утром солнце, с полудня — тень. В жаркие летние месяцы южного, горячего, зараставшего асфальтом, а не травой, города это было большое дело. Для той, другой, трусливой жизни. Для жизни без кондиционера, но с отчеством.

8

Левка не умер. Шевельнул пяткой. Открыл глаза. Закашлялся. Мать, продолжая петь свою колыбельную, только теперь уже не горлом-сердцем, а как будто сквозь зубы, как революционный марш, попробовала взять его на руки. Не удержала и не удержалась. Рухнула под ясень. Яша сказал: «Давай я за ноги, а ты за плечи...». Дотащили...

Кашлял Левка долго — почти полгода. И столько же молчал. То горел, то лежал тихо, без памяти и желаний. Мать пристроилась сторожихой на склад стекольного завода. Без записи, потому что — мало ли как? Муж — политический уголовный элемент, а, значит, и к семье доверия нет. «Скажи спасибо, что за тобой пока не пришли!» — сказал дядька Федор. Это он договорился на складе: за ползарплаты начальник закрыл глаза на возможную вражескую вылазку.

Мать не жалели, считали дурой. Про Левку говорили: «А кабы и сдох, то и шо? Только бы облегчение всем сделал». Еще говорили, что чужой крест нести, когда свой есть — это блажь, припарка сердечная. Это, если в сытости, то можно думать, а в бедности играть в благородных ни к чему.

Не жалели, но звали стирать и давали стирать домой. От простыней и чужих сранок в доме было сыро, но пахло всегда раскаленным чугуном утюгом, который грелся на печи.

По ночам Яша оставлял Левку на Катю и ходил на узловую станцию. Пять минут стоял московский поезд, целых семь киевский. Яша подходил к проводникам, просил уголька для печки. Хмуро говорил: «Брат болеет. Холодно...Хоть жменю дайте». Вместо угля иногда удавалось получить печенье и даже колбасу или сало. Яша не нагел. Старался не примелькаться, не надоесть. Не попасть еще в милицию, а оттуда в детдом, потому что опасность такая была. Исходила не от милиции, а от своих: соседки уговаривали мать сдать Яшу туда на время, чтобы не исхулиганился и чтобы ел. Мать не слушала. Она вообще никого не слушала, кроме Левки. И ни с кем, кроме него, не разговаривала. Яша злился. Ревновал. Почти добирался в злости своей до общей мысли «кабы сдох», но останавливался материнной радостью: «Не температурит! И день весь не кашлял!». Проникался ею. Смеялся и громко читал стихи, особенно Пушкина. Они ложились в голову без всяких усилий, как будто были написаны специально для Яши. Для радости.

В марте мать взяли уборщицей в цех. Обещали через время сделать учетчицей.

Снег в том году сошел быстро, солнце быстро наковыряло в нем дырок, а потом и высушило, выпарило как утюгом. Прибавились заботы: на Яше и Кате было почти все — огород, готовка, Левкина гимнастика, разнос белья... Перед Пасхой они с Катей даже побелили потолок.

Много раз Яша хотел спросить у матери про Левку и про правду. Не знал, как начать.

Чей Левка? Где ты его взяла? А мамка его настоящая в овраге? А папка где? А он еврей?

Каждый из этих вопросов был сразу неправильным и сразу противным, предательским.

Другой, безлевкиной, жизни Яша не знал и знать не хотел. Получалось тогда, что для Яшиного счастья какую-то женщину нужно было выбросить в овраг, а мужа ее — забыть, как не было? Зажмуриться на все это? Не открывать глаз, пока не кончится любопытство? А оно не кончалось, было острым, опасным. Оно было похожим на нечаянное подглядывание за Катей, после которого наступал то стыд, то желание завести себе маруху, чтобы рассматривать ее, сколько хочешь.

Контуры Левкиной истории прояснялись постепенно, как будто сами собой. Собирались отголосками бабьих разговоров, беседами врачихи, что приходила к ним раз в неделю и Левкиной решительностью найти синого и отрезать себе писюн.

С этим «заявлением ТАСС» он и вернулся. Сел на кровати, глянул косо на Яшу, поискал глазами мать, вздохнул и сказал: «Я еврей. Я должен быть обрезанным. Я об этом читал».

«Ура! — закричал Яша, схватил нож и выбежал на двор. Как только наступило тепло, мать стирала на улице. Не стыдилась. Любила потому что... «Ура!» — закричал Яша. — «Левка сказал, что хочет зарезаться!»

«Сказал» — это было главное слово. Сам сказал. Сел и сказал. Мать нехорошо охнула и рухнула на землю. «Да нечем ему, мамка. Я ж вот... Я ж взял...»

Яша размахивал ножом. Мать поднялась, отряхнула юбку, отвесила Яше затрещину и зашла в дом. Наверное, они там с Левкой обнимались и миловались. А Яша сидел у сарая и плакал. Там и уснул.

Если разобраться, то Левка после возвращения только и делал, что ломал Яше жизнь. Взаялся за дело с огоньком. Так взялся, будто испортить Яше, Якову Никифоровичу, биографию, анкету, карьеру и целое будущее, было его трудовым почином.

Нудный, хлипкий, постоянно читающий Левка превратился в чудюдо. Все бока его были изрыты идеями, в ребрах торчали частоколы-зарубки из резких, неожиданных перемен, а на спине стояло не село, а целое человечество, потому что другого масштаба для поиска смысла жизни Левка больше не признавал.

Летом, в каникулы, мать отвезла его Киев, в синагогу. Он сделал там то, что хотел. Яков не вполне точно понимал, что. Новая Левкина тайна была жгучей и стыдной, потому что содержалась в штанах и называлась принципиальной позицией.

«Когда они придут снова, я вытащу свой хуй, чтобы не было сомнений. Пусть убивают...».

«Зачем ругаешься при малом?» — рассердилась Катя. — «Он за тобой повторять станет. И вообще...»

«Я все слышу, я не сплю», — сказал Яков. — «Слово это давно знаю, повторять при мамке не буду. А они не придут, потому что мы победили их навсегда».

«Как же...», — хмыкнул Левка. — «Их нельзя победить. А матери скажешь — убью».

«Защитничек», — прошептал Яков. Хотел обидеться навеки, но не смог.

9

Летом пятьдесят третьего в областной центр, к Зине, уехала Катя. А в пятьдесят шестом — Левка. И не куда-нибудь, а в самый город Ленинград. Поступил в Горный институт, присылал открытки с красотой, которую Яков приспособлял к местности города Туманного. Вполне хорошо здесь ставились мосты. Если подвинуть рынок, помещалась бы площадь с колонной. Столб нужно было бы укорачивать и называть именем Ленина. И было бы хорошо. А если начать строить и стеклить, могли бы быть даже дворцы, но зачем трудящемуся человеку дворцы? Какой-то ответ на этот

вопрос был, он совмещался с тем, о чем Яков знал точно: если закрыть глаза, ничто и никуда не исчезает. Все остается и продолжает иметь смысл для тех, кто смотрит и тех, кто не смотрит тоже. Лично Яков не был против дворцов

Он был против книг, которые читал Левка. Яков брал их не для себя, а вслед. Это было сродни подглядыванию. Не подлому, в щелку, а разрешенному — как в кино.

Всю жизнь потом Яков Никифорович читал вслед. Вслед смотрел и даже слушал. Ему никогда не было жалко, что собственный вкус не складывался и не проявлялся. Другие, вторые, глаза были важнее. Другие глаза, чужие руки, что держали книгу или билет в оперу, добавляли всем сюжетам настоящего человеческого. Живого. Он видел не только госпожу де Реналь, но и Левкины брови, смыкающиеся на носу, ноготь безымянного пальца, постукивающий по столу. Левка являлся весь и никуда не исчезал. И Яна тоже.

Вслед за ней Яков Никифорович слушал оперу. Знал места, в которых она, Яна, привычно замирает, напрягается, вытягивает рот в куриную гузку и без всяких лишних прикосновений проникает в Якова Никифоровича, как проникает в него воздух, музыка и неудобство театрального кресла.

Способность идти вслед хорошо помогала не только в жизни, но и в работе. Яков Никифорович всегда легко вписывался в чужие вкусы. Это было не трудно и интересно. Чужие вкусы делали его своим. Сначала своим парнем, позже своим человеком. А потом всё это кончилось. Яков Никифорович не мог точно сказать, что ушло раньше: вкусы или люди, которые были ему важны. Яна говорила, что он просто вырос. Но признать взрослость, наступившую к пятидесяти годам, Яков Никифорович не был готов. Проще было признать избыточную насыщенность необязательным, но плотным, тяжелым, знанием, которое вообще не пригодилось для жизни после.

Читать Яша начал у райкомовской жены. Муж ее отбыл на учебу в Москву, в Высшую партийную школу. И было не вполне понятно, вернется ли он за ней или бросит. Бабы говорили, что скорее бросит. Потому что мужик — он везде в дефиците, а вертихвостками такими — хоть грэблю гаты. Злорадствовали, что придется ей стирать самой, а лак-то с пальцев и пооблезет, и перманент весь соплей пойдет, а как пудра кончится, то возьмет свое веснушка. «Пришла курочка в аптеку и сказала: «Кукареку! Дайте пудры и духов для приманки петухов», — кричали ей вслед дети. Бабы дружно смеялись. Мужики хмыкали.

Она — ничего, пожимала плечами только. Привселюдно давала Яше ключ от погреба, где по-прежнему сырели книги. И тайно забирала в дом Левку, потихоньку закрывая на окнах белые, крашенные масляной краской, ставни...

Из книги «Мужчина и женщина» Яша узнал все про обрезание и про то, что делает Левка у райкомовской жены.

О любви, понятное дело, речь не шла. Ответы, предложенные Мопассаном и Стендалем, были немножко нездешними, слишком нарядными,

пышными, но все равно стыдными. От них лицо Яши покраснело в цвет галстука. Другие ответы — из случайно найденной Библии или из Лермонтова, вообще проходили по иному разряду, наказывая Яшино любопытство обещанием плача, ужаса или изгнания.

Мать узнала быстро. Но к полотенцу не потянулась и пральником не пригрозила. Сказала Левке: «Б-бу-будет ребенок, б-б-будешь ж-ж-жениться...»

«Я не к ней хожу. Я там раньше жил... Там мое. Мой дом...», — ответил Левка.

Яша не удивился: уже знал, собрал по кусочкам. И про ту квартиру, что раньше была Левкиной, и про книги, которые лежали в погребе, наверное, еще с революции, но потихоньку читались старыми (или бывшими, Яша не знал, как правильно об этом думать) Левкиными родителями. И про то, как Левкин настоящий отец, доктор, умер от дифтерии, заразившись от больного ребенка. И считалось даже, что ему и всей семье очень повезло. Потому что больницу как раз чистили на предмет разоблачения врагов и их пособников, а Левкин родитель и по виду был чужой и по умности своей лишней — пособник.

Левкиной матери... (Это Яшей даже в уме произносилось туго. Он искал слова, чтобы разделить, разграничить, но путался и сбивался. Левкина другая мать все равно оставалась матерью, только имя ее было нездешним, для местности редким. Ее звали Руфь Моисеевна. По-соседски Руфа)... Руфе, тоже докторице, советовали записать ребенка русским и на всякий случай крестить. Но какое там. «В память», — твердила она. — «В память о моем дорогом муже... Только Лев, только Кацман...». Была уверена, что мальчик. Две девочки уже были — Берта и Мирра. Только мальчик. Женщина восходит к Богу через мужа. Мужчина — это такое счастье. Через полгода после смерти доктора он и родился. В тридцать девятом.

Мать приходила к Руфе стирать. На улицу, под сливу. Носила Левке хлебушка. Он видел ее и говорил: «Ам-ам-ам...». Улыбался.

Когда всех евреев вели к Дурной балке, чтобы убить, бабы высыпали на улицу, стояли вдоль заборов. Любопытствовали, но и выли тихонько. Одно другому не мешало. Смерть — зрелище. Но все-таки бросали в колонну вареную картошку и теплые вещи. Кто посмелее — отдавал в руки. Было еще не холодно, солнце светило ярко, как будто нарисованное в детской книжке. Надеялись даже собрать еще овощей. Картошки поэтому было не жалко. И вещей. Знали, конечно, что бесполезно все. Без всякой надежды на жизнь. Убыток один, если разобраться, дурь, убыток и пропая. Но люди, покорно идущие туда, куда их гнали фрицы, благодарно улыбались: наверное, думали, что если есть теплые вещи, значит, обязательно будет зима. Минут несколько, но думали...

Берта и Мирра держались за руки. А Левка вырывался от Руфы и требовал идти ножками. У забора увидел мать. Узнал. Закричал радостно: «Ам-ам-ам! Ам-ам-ам...».

И все услышали: и полицаи, и фашисты, и бабы... Все услышали. Мать тогда бросилась к колонне и закричала: «С-с-сынок, с-с-сыночек. Т-т-ты к-а-а-к сюда попал?». Еще люди говорили, сказала что-то по-немецки... Что-то про зонты... Майн зон, майн зон. Кам цу мир. Кам цу мутер.

Ну кам цу мир — это все уже знали. Быстро выучили. Мутер, млеко, йяка, ахтунг, швайн... Словарный запас очень пополнился. Очень.

А Руфа толкнула Левку к матери.

Другие женщины тоже брали-прятали еврейских детей. Но их выдали потом: по-родственному или по-соседски. Желая добра и справедливости, многие люди выдавали фашистам на растерзание детей и взрослых — чужие кресты, потому что их нести никто не может и не должен.

Левке повезло. Почему-то повезло. Конец истории. Край. Обрыв.

10

Дом как единственное имущество стороны, виновной в ДТП, был опечатан и выставлен на продажу. Яше милостиво разрешили забрать носильные вещи и документы. Пригодилось отцовское: быстро собирать все, что нужно для жизни. Сорок секунд.

Спальный мешок, черное кашемировое пальто, смена белья, паспорт, пенсионное, письма, фотографии, наволочку, мыльно-рыльные... Они были лишними, Яша знал. Мыться и бриться не придется. Из милости или из жалости кормят, моют из любви. Взял еще лекарства, какие нашел. Термос на поллитра, старинный, китайский с цветами. Зарядное устройство для телефона. Ему еще было, кому звонить.

И зла хватало. Зла хватало на то, чтобы пообещать вернуться, подать апелляцию, попросить помощи у старых друзей.

Несправедливость была вопиющей и выпуклой. Гневными статьями разразились журналисты. Торжественно обещали взять дело на контроль.

Но Яшина беда превратилась в старую новость, едва краска коснулась газетной бумаги. А апелляция была не надеждой, а зарубкой, меткой, до которой нужно было дотерпеть и добраться, чтобы поставить потом какую-то другую метку.

У Яши теперь были дни и ночи. Он старался не упасть осознание бездомности, отгонял не ужас, а его предчувствие, суднами, которые потихоньку, шаркая, носил выливать в туалет. Не брезговал вообще. Говном не брезговал никогда — ни личным, ни общественным. Только думал теперь не о кирзовых сапогах, а о том, чтобы не узнали Катя и Левка. Он звонил им и писал эсэмэски: телефон держал в левой руке, а указательным пальцем правой выбирал буквы. Старался не ошибаться. Хорошенько протирал очки. Запретил себе думать о том, что может свалиться им на голову, потревожить, лишит куска, который и так отрезался не слишком щедро. Катя жила в Норильске, а Левка в Ашдоде. «Только самолетом можно долететь».

Годы и небогатство были достаточной причиной, чтобы не ездить друг к другу на юбилеи (Кате в следующем году восемьдесят, Яша помнил) и на похороны. Эти причины были для Яши теперь большим утешением, потому что позволяли сохранить мнимое благополучие. Оно всегда считалось источником силы и превосходства для людей, с которыми Яша жил рядом. Не для Левки, не для Кати, но для самого Яши благополучие имело значение.

Нейлоновая рубашка, например.

Он хотел ее так, как будто это была женщина, с которой можно спать, но не нужно жениться. Высматривал ее, беленькую, легкую, с воротничком, на своих однокурсниках и преподавателях. Прикидывал размер, цену, вздыхал. Снился себе ночью — в ней по самую шею. Ради нее и согрешил, заплатив конспектом по истмату за возможность «неделю поносить».

В ней приехал на каникулы. «Як нова копейка!» — сказал отец. Но мать одобрила. У нее был тогда свой восторг: Левка привез пододеяльники. Три штуки: белые, льняные, с мережкой. Это были первые ее пододеяльники, и мать долго прижимала их к щеке — по очереди. Еще нюхала украдкой и зарывалась в них лицом. Если бы можно было, мать пошла бы с ними гулять — на рынок или в магазин, над которым повесили большое столичное слово «гастроном».

Левка уже работал разведчиком. Геологом-разведчиком. Легко говорил слова: «Экспедиция, залежи, фронтальный погрузчик, достоверность изысканий...». Не кичился, шутил, что сам сослал себя в Сибирь и нужна теперь только жена-декабристка. Яков еще учился, но три года армии дали ему кандидатский стаж, несмотря даже на некоторые нелицеприятные вопросы к анкете. Яков был почти член партии, а Левка — белобилетник. Но жена-декабристка досталась Левке. Он привез ее с собой, что само по себе считалось неприличным. Как стелить? Где спать? Мать краснела, прятала глаза, но разминала подушки и тачила две перины в летнюю кухню. На вкус Якова декабристка Мария («не Маша и не Маруся, запомни!») была хлипковата, без принадлежности, без явного присутствия здесь и сейчас. «В лесу ее, что ли, нашел?» — спросил Яков. «Она сама...», — гордо улыбнулся Левка. Яков посмотрел на нее еще раз.

Глаза Марии были черными как уголь. И ничего другого Яков в ней больше уже не видел. Не было сил отвести взгляд. Похоть очей и гордость житейская. Зависть тоже. Все, что от мира сего. Слово грех Яков знал тогда, но применял редко. На политинформациях и на занятиях по научному атеизму. Но лезло в голову именно это, сырые, вытащенные из погреба страницы старых книг, где сказано странное: «Не быть виновным во грехе — не то же, что не иметь греха».

Яков глядел на нее и знал, что уже все есть, все случилось и будет еще случаться каждый раз, когда она будет вставать, садиться, мыть тарелки, улыбаться. Все будет случаться, пока взлетают вверх, как реактивные самолеты, ее ресницы, пока плавится подмышками его нейлоновая рубашка, пока сушит в горле, будто пили всю ночь портвейн — сладкий и крепкий.

Летела в тартарары будущая жизнь, распланированная в клетчатой тетради с коленкоровым переплетом: сыпалась идея-мечта — стать во главе комсомольской организации факультета, двинуть дальше — по партийной линии, со спутницей-единомышленницей Волоковой Наташей, включиться в стройку века на возведении флюсодоломитного комбината, повести за собой массы на новые рекорды.

Старая жизнь тоже перечеркивалась. Та, где мать, сестры, отец с Левкой. Туда тоже не будет возврата и прощения. Плевать, плевать, плевать.

Три ночи кряду Яков готовился к разговору с Левкой. Перебирал варианты: упасть в ноги, взять ее да сбежать молча. Дуэль — честный поединок со смертельным исходом — тоже рассматривал. А в четверг утром Левка и Мария уехали. Отец сказал, что Левку срочной телеграммой вызвали в экспедицию. И еще сказал: «Яков ты дурАков».

Они не поженились. То ли Левка не понравился ее родителям, то ли сама Мария (не Маша и не Маруся) сказала ему решительное «нет». Следующим летом Левка приехал один. А через лето с беременной женой с рискованным именем Бэла. Яша тоже был с женой — Наташей Волоковой. Жизнь у него пошла по плану, в который Мария не вписывалась никак. Хотя думал о ней Яков Никифорович много. Иногда твердо обещал себе: «Найду, из-под земли достану. Все брошу, на край света поеду, лишь бы с ней». Слова эти были вкусными, аппетитными, во рту даже собиралась слюна, воздух в легкие поступал с перебойями, запах героического, хотя и личного, конечно, подвига щекотал ноздри. Марии как возможности начать все сначала хватило на четверть века. Сладко и горько еще было думать о том, что он принес себя в жертву Левке.

11

Иван Николаевич предложил старому Яше оформиться в агентство по найму прислуги. Держать его в клинике без основания, которым три недели была Янина затухающая жизнь, он не имел права. «Первая проверка, и я пойду под суд...».

«Да», — сказал Яша. Потому что уже собиралась зима. В ординаторский и сестринской, где Яше разрешали ночевать, было холодно. Больница имела автономное отопление, но решено было пока подождать. Сэкономить. За окном уже вовсю шли дожди. Шли и задерживались: оставались лужами, подмерзшей грязью, унылым, сдавшимся без боя, цветом улиц.

«Я буду вашим продюсером, не бойтесь», — сказал Иван Николаевич.

«Если придется петь, я много не заработаю», — ответил Яша.

Антрепренерский проект Ивана Николаевича предусматривал пение только в самом крайнем случае. Сущность плана заключалась в том, что не всем старикам приятно, когда за ними ухаживают молодые и здоровые. Молодость и здоровье сразу считаются ими как неуважение и всякая хабалистость. Иногда в сиделке («В сидельце», — поправил про себя Яша) не сила бывает важной, не выносливость и даже не медицинская подготовка, а общий бэкграунд. Вместе прожитая жизнь. Демонстрации на 7 ноября, очереди за колбасой, покупка стенки, шесть соток, Штирлиц... Что там еще? Понимаете?

Яша понимал. Широкое, как ему казалось, полотно жизни, где было все, и многое закончилось, теперь часто сводили к цене колбасы или длине очереди за ней. Но какая разница, что было там еще? Какая разница молодым? Тем более что время вскоре тоже помножит их на ноль и

сведет к общему бэкграунду, из которого будет смешно торчать сага об ипотечном кредите и какая-нибудь еще ерунда, назначенная их потомками главной краской унылой и неправильно прожитой жизни

«Некоторые дети готовы платить за то, чтобы их родителям не только мыли зады, но и полоскали мозги. Вы у нас уникальный вариант: два в одном флаконе... Уже сейчас я готов предоставить вам пару клиентов в палате для условно выздоравливающих... Можно брать работу с проживанием. Можно отказываться от умирающих. Можно капризничать. Мне кажется, что это шанс... А я, со своей стороны, обещаю следить за вашим здоровьем и чтобы вас не обманули заказчики...»

«А можно я буду работать «в черную»? Без оформления?» — спросил Яша. — «Я не смогу... По кабинетам уже не смогу...»

Заведующий отделением кивнул.

Новая жизнь захромала-зашаркала. Бездомность ощущалась только как бесконечная чужая кровать. Но тоска легко унималась наволочкой. Яша надевал на чужие подушки свою наволочку, обозначая ею границы безопасной территории. Однако страх был. Как будто кто-то монотонно, но тихо, без надрыва и таланта, играл на одной струне домбры незнакомого тоскливого мелодию. Страх провалиться еще глубже, обнаружить себя попрошайкой или обоссанным, но живым, жителем теплоцентрали, страх заболеть тяжело и надолго: сломать шейку бедра, нырнуть в инсульт или болезнь Паркинсона. Это был страх мертвый. Но был еще и живой: Яша боялся плохого запаха. Не от клиентов, от себя. От зубов, от подмышек, от ног, от волос. Он боялся носить на себе разложение, но знал-утешался, что запах старости — это не только тело, но и дом. В его случае — минус (в целых пятьдесят процентов) становился плюсом.

В бегстве от живого страха, как ни странно, обнаруживалась и другая радость. Яша искал воду — ванную, бассейн, душ, раковину. Искал, находил и всегда умудрялся помыться: с разрешения хозяев или без. Бодро вскрикивая, вытирался. Побеждал обстоятельства.

Его клиенты были разными. Чаще беспокойными, тревожными и недовольными. Все или почти все выносили приговоры — детям, внукам, стране и человечеству в целом. В таком преступном и неисправимом виде мир было оставить легче. Прошлая, прожитая жизнь вспоминалась лишениями и молодостью, за которой плохого не видно. Когда клиенты умирали, Яша горевал, но ловил себя на мысли, что расставание это — ненадолго. Думал о том, что быть старым провожающим в последний путь легче, чем быть няней младенца. Няни и гувернантки вычеркиваются из памяти первыми, их любовь сама выбрасывается на берег, чтобы задохнуться без сожалений. Другое дело Яша: его привязанность или, напротив, раздражение, нужны до самого конца, до последнего вдоха. Яша не стремился выбросить себя на берег, потому что уже был там и ждал лодку.

Знавая их имена, привычки, прозвища их любовей, срамные и смешные секреты, Яша называл их для себя только клиентами. Это был специальный охранительный механизм, который позволял сожалеть о недоигранной партии в шахматы или неоконченном споре о Сталине больше, чем о том, что снова придется перерождаться на чужой кровати, при-

выкать к новому человеку и замирать при мысли о том, что странные вкусы стариков когда-нибудь станут не по карману и не по настроению их щедрым, но занятым детям.

Апелляцию в первой инстанции, конечно, отклонили. Газеты об это больше не писали. Судья быстро зачитала решение. И ни разу не подняла глаз на Яшу. Иван Николаевич предложил — в качестве эксперимента и чтобы развеяться — пожить с женщиной. Практически здоровой, восьмидесятидвухлетней женщиной, сын которой — большой прокурор, при хорошем раскладе мог бы поспособствовать. Вмешаться в безнадежную историю всей силой государева гнева, который только в особых случаях превращался в закон со всеми своими буквами, процедурами и изначальным (невероятным, да) равенством между всеми «бентли» и «нотами».

«Она кокетка», — предупредил Иван Николаевич.

Яша посмотрел на себя в зеркало, которое висело у двери ординаторской. Не в полный рост, но вполне достаточно. Яша был сух, невысок, седые волосы модно стояли «ежиком». В целях гигиены и чтобы спрятать небольшую лысину Яша раз в десять дней брил себе голову. Приловчился, делал это быстро и умело. В зеркале хорошо отражались лицо, к которому Яша за жизнь привык. Привык так, что не видел, как оно менялось и потихоньку лишалось красок. Не видел, как выцвели глаза — почти до белого, как уменьшился рот, как безвольно обмяк острый, с ямочкой, подбородок. В силе и величии зачем-то остались только брови: густые, с трехцветным, кошачьим каким-то, окрасом.

«Боюсь, что я не подойду на эту роль...»

«Нет никакой роли... Все, как обычно»

Но было как раз не обычно, потому что кокетку Яша узнал сразу.

Узнал, несмотря на то, что веснушки сошли, как не было, а перманент был заменен короткой, удобной под парик, стрижкой. Маникюр, большие перстни на узловатых пальцах, лишний вес, одышка, но и осанка, оценивающий взгляд, низкий голос. Низкий командный голос для приходящей прислуги. Райкомовская жена. Теперь прокурорская мать.

«Помнишь меня?» — спросила с вызовом.

«Странно, что ты помнишь».

«Склероз, Яша, это когда в голове есть детство, но нет никакого вчера...»

«Стираться будем или книжки читать?» — спросил Яша.

Она захохотала оглушительным басом.

«Будем жить теперь вместе... В который раз вас выручаю. Другой бы руки целовал, а этот сидит — волком смотрит! Сученок...»

«Мне шестьдесят девять лет... Я... Я, между прочим...»

«Ну? Кто ты? Лишенец? Бомж? Давай-рассказывай. Голью перекаточной вы, Орловы, были, голью и помрете... А сыну прикажу, так закроет за бродяжничество. Сгниешь в тюрьме по-тихому. Ну? Как там Левка? Где побирается? Вы на пару шабашите? Тюк по башке и уселся в чужом горшке. А потому тебе это говорю, что любила я Левку, аж сердце краялось. Чтоб дети были, мечтала, чтоб записаться в загсе и сбежать с ним... Ищи нас, свищи...».

И все это — в одну фразу, без паузы, с интонацией нарастающей базарной перебранки...

Если бы она открыла рот тогда же, когда открыла дверь, если бы Яша остался там, за порогом, если бы не было «проходите, вот комната... вот кухня. Всю коммуналку выкупили, не мелочились...», если бы он не задумался об исчезнувших веснушках, не замешкался, зацепившись взглядом за тяжелые бархатные, как в театре, шторы, если бы не сел в кресло, где спине было удобно, и шее тоже... Мог бы сбежать.

Мог бы обидеться и сбежать. Уйти в бандиты, играть в пристенок, стоять на шухере, сидеть на угольной куче. Если бы он был маленьким и при матери, то легко бы сбежал. Но он был большим. Большим, напуганным и никому не нужным. Двери для него теперь открывались из милости, из милости лилась на тело горячая вода... Он был нищим. Но тоже любил Левку. А потому трусливо хотел, чтобы этого совпадения оказалось достаточно. Яша втянул голову в плечи. Она увидела это: как втянул, как покорился... Сказала с хитрым смешком:

«Ну, не гордись, слова вперед мозгов бегут... Таблетки приму и утихну... Не гордись...»

Яша выдохнул и улыбнулся. Сколько бы ни было человеку лет, всегда есть тот, кто с полным правом может назвать его сученком и сказать утешительно: «Не гордись...»

С полным правом.

Или без права.

12

Муж ее, товарищ Кравченко, тоже так всегда говорил. «Не гордись, сынок. Перед партией разоблачиться — это как перед матерью. Голым партия тебя принимает, голым и в гроб кладет... Потому что у тебя есть только твоя жизнь, а у партии нашей — вечность...»

Разговоры с ним были всегда тяжелыми, липкими, похожими на варенье, случайно попавшее в волосы и застывшее там: вроде сладко, но стыдно и больно.

После высшей партийной школы товарищ Кравченко сел в области, в кадровом отделе обкома. Оттуда вершил судьбы. Не мелкие, для общества не интересные, а те, которые окрылялись решениями съездов и претендовали на то, чтобы носить за собой переходящее красное знамя всюду, куда бы ни послала бы их страна.

Перспектива к Якову пришла по случаю. После школы он поступил в экономический техникум, ушел в армию, вернулся, а техникум — бац — и институт, целый даже университет. Будущая профессия оказалась скучной и необязательной. Эта мысль была плохая, Яков гнал ее, чтобы не засиживалась. А, если гнать не удавалось, переодевал в правильные слова и радовался тому, что вместе с молодыми специалистами всегда и всюду будут работать Маркс и Ленин. Основоположники экономики и всего самого главного.

Чтобы плохое не ныло, не высказывало вражеским голосом, Яков отдался комсомолу. Вышел с инициативой — помочь разнорабочими флюсодоломитному комбинату. Но не воскресником — один раз и в дамки, а дежурными студенческими бригадами. Наташа Волокова, секретарь, инициативу согласовала и вместе с Яковым возглавила. Они с Наташей были как серп и молот — пылали идеей до полного иногда сгорания рукояток. Такая была у них общая шутка. Про рукоятки. Про свадьбу сначала тоже шутили. Наташа Волокова говорила, что есть у нее кандидат — человек взрослый, с положением. Но Яков есть тоже. И это не соцсоревнование, а проверка единства взглядов и истинности чувств. Рукоятка Якова проходила проверку по понедельникам и четвергам, в женском общежитии, где Наташа Волокова жила с одной только деликатной соседкой. Потому что была Наташа в университете на особом счету. А на вторник приходились посещения взрослого человека. Счет был два один в пользу Якова на этом фронте. И миллион миллиардов до неба — ноль на фронте активной жизненной позиции. Взрослый ухажер метался между женой и Наташей, и двигатель его приходил в негодность, глох где-то на середине пути. Зато у них с Наташей был аборт и нарушение детородной функции как его следствие. Яков не должен был расплачиваться за чужую халатность. «Честность, принципиальность и культурность — вот чего должна хотеть каждая советская девушка от своего спутника жизни».

Наташа Волокова была похожа на гвоздь. Гвоздик. И некоторое время Яков был уверен, что таких девушек производят на особых, секретных фабриках. Но не было никакой тайны. Был детдом, в который Наташа попала во время эвакуации, в сентябре сорок первого, будучи несознательным полуторогодовалым младенцем. Все, что у нее было, ей дало государство. И она имела четкий жизненный ориентир: отслужить и отработать. Вслед за ней Яков читал передовицы газеты «Правда», научился подчеркивать важное в них карандашом и ставить на полях аккуратный восклицательный знак. Брал в библиотеке «Справочник пропагандиста и агитатора». Им тоже хорошо подковывался и вооружался. Строго одергивал-поправлял Наташу, которая усваивала материал больше на слух, а читала как раз невнимательно. «Фашиствующие молочники», — говорила она на политинформациях. Хорошо, что никто не смеялся. Потому что в капиталистическом мире вполне такое могло быть: молочники со свастикой, прочие торговцы и спекулянты — с портретом Гитлера. Компрадорская торговая буржуазия. Картинка складывалась, но Яков... Товарищ Орлов или даже Яков Никифорович тихонько шептал: «Молодчики... Молодчики...». И все понимали, за кем перевес и четкая линия партии.

Самой собой складывалась у Якова Никифоровича биография. И в тоскливых, упаднических мыслях о Марии, о живой, а потому возможной Марии, он находил горькое удовольствие отречения. Получалось думать, что не по слабости или трусости и не из-за Левки даже Яков Никифорович потерял ее, а ведомый вперед идеей.

В райкоме комсомола Наташе Волоковой предложили укрепить собой ряды нарождающейся кафедры научного коммунизма. Этот ответственный участок работы требовал дальнейшего обучения в аспирантуре и

подготовку диссертации. Наташа откликнулась на призыв. Не радостно, потому что учиться не любила, но ответственно. В своей научной работе Наташа Волокова хотела сразиться с Гегелем, Кантом и другими мертвецами-идеалистами, которые ушли из жизни, так и не поняв, что будущее человечество — за коммунизмом.

«Находится за коммунизмом?» — спрашивал у Наташи Левка. — «То есть, наступит сразу после него?»

«Дывы, знову зцепылысь», — ухмылялся отец.

В тягучих, ленивых перебранках, которыми сопровождался каждый приезд к родителям, батя почему-то поддерживал Левку. Наташа объясняла это обидой за несправедливый приговор. И обиду эту осуждала, потому что государство и партия нашли в себе силы признать ошибку, извиниться перед своими гражданами и, полностью реабилитировав, восстановить в правах и отправить в забой. Это ли не торжество гуманизма?

«Это, это...», — ухмылялся Левка. — «Тока бате не говори...»

Наташу Волокову дома приняли, но не полюбили. «Не нашего она с-с-сословия», — однажды сказала мать. Отец же считал ее дурой, но дурой не простой, а опасной: «Такэ вже воно прынципиальнэ, шо и себе за жопу вкусыть, з ноги мьясо вырвэ».

Бэла и Катя в обсуждении Наташи Волоковой не участвовали. Три недели отпуска, если он у всех совпадал, Катя и Бэла возились в огороде, варили варенье, закручивали банки с помидорами и огурцами. А еще, обнаруживая в промтоварном неинтересный для Туманного креп-жоржет, а иногда и кримплен, они вздохнули кроились-шились, наматывали сами, а сточить бегали на другой конец Нахаловки, к тетке Вальке.

Наташа Волокова называла это скучными бытательскими интересами. Запасы на зиму — закрутку, варенья, сушеные яблоки, свою картошку-красавицу — она считала проявлением продовольственной паники, а платья и юбки просто сурово не одобряла как отвлекающие от главного дела жизни.

С главным делом жизни у Якова были трудные отношения. Ему никак не удавалось понять его так, чтобы описать простыми словами, чтобы вложить в очевидную, как даже головной молоток или фронтальный погрузчик, форму. В шестьдесят шестом они с Наташей Волоковой были избраны делегатами двадцатого съезда комсомола Украины. В первом ряду сидел Юрий Гагарин. О нем всегда легко рассказывалось. Такая тема, такой человецище.. Но запомнилось остро другое. Запомнилось метро и самодущая лестница. Эскалатор. Помощник человека для спуска и подъема. Становишь на ступеньку, соблюдаешь правила, едешь вверх или вниз.

Ни ноги, ни руки, ни голова для этого не нужны. Ничего не нужно, кроме желания проехаться быстро и выбраться на поверхность. И если такое желание есть, то усилия и всякая борьба — дело пустое. Потому что, кроме эскалатора, нет никаких других вариантов. Ни лестниц, ни веревок, ни уступов каких-нибудь для передыха.

В метро Яков понял, что главное дело его жизни — проехаться быстро и выбраться на поверхность. Вместе с другими пассажирами, потому что такой он, наверное, и есть прогресс, ведущий к уравниванию всех в правах

и возможностях. Мысль эту он так и не додумал, считая несвоевременной и не отвечающей уровню своего развития. Но потом, позже, в другой жизни, в аэропортах чужих стран, его нога никогда не ступала на самодвижущуюся ленту. Яна становилась на нее и ехала спокойно, улыбалась, а он шел рядом, догонял, вез за собой чемодан на колесиках, пыхтел как паровоз. Но ленту все равно игнорировал. Яна говорила, что это таракан у него в голове. А размер у таракана такой, что его нельзя не уважать.

13

По рекомендации райкома Якова Никифоровича распределили на флюсодоломитный комбинат с тем, чтобы через год он возглавил там комсомольскую организацию, а через два пришел в райком с хорошей трудовой анкетой. Старшие товарищи увидели в Якове своего, но биография его была не очень. Вызывала...

Были у товарищей сомнения по части правильности его происхождения и взглядов, впитанных с молоком матери. Порченость Якова, неуверенность в нем определялась неудачным появлением на свет. Не то время, не то место. Не явное, но все равно — предательство проступало через июльский день сорок третьего года, через немецкую речь на улицах оккупированного Туманного, через аусвайс, небось же выписанный (да? нет?) в немецкой комендатуре. Когда вся страна сражалась с фашизмом, твои батькы о чем думали, чем занимались?

Старшие товарищи укоризненно качали головой. У Якова замирало сердце. Он не думал с этой стороны. Не глядел, не считал, не складывал. Легкомысленно отнесся к факту своего рождения и своевременно не поставил об этом вопрос. Утратил бдительность. И на месте утраты стал расти позор. Все героические и страшные смерти на фронтах и в концлагерях ложились ответственностью на него лично.

Ночами Яков не мог заснуть, сжимал голову руками так, что на висках оставались следы-синяки. Он не понимал, как? Когда нельзя было дышать, когда от верности стране другие шли на подвиг, подрывая собой, своим телом дороги, мосты и штабы... Когда от скорби и стыда не лез в горло кусок, когда кровь лилась, но, смешиваясь с дорожной пылью, вела вперед, на Берлин...

А они, а особенно отец, отсиживались-прятались. И дрожали не от страха и унижения, а от другого... От которого дети. И яд свой предательский и сладострастный передали в наследство ему, Якову.

Потому кроме высокого отчаяния было и мелкое. Хотелось квартиру, чтобы свой унитаз и чтобы купить телевизор. Хотелось еще вставить под звуки гимна и из рук секретаря обкома получать переходящее красное знамя, а с ним мандат республиканского или даже союзного делегата. И чтобы увидеть таких людей, которым звезды поют свою песню и Ленина, который, хоть и лежа, но держит на себе весь мир. И купить еще югославские туфли.

Если бы не июльское время и не туманное место, он бы всего этого заслужил-добился по справедливости и за ударный труд. А так получа-

лось, что дается ему в долг, под оправдание высокого доверия, под пристальное внимание-ожидание от него, от Якова, большой, сверхчеловеческой даже отдачи.

И никаких сил было не жалко, чтобы снять этот «особый счет», чтобы смотреть людям в глаза честно. Яков Никифорович бросался в бой на любом участке трудового фронта: выбивал разрешение на разработку известняков, уговаривал стекольщиков, химиков, металлургов, всех, кому отгружал свою продукцию комбинат, шире включаться в соревнование, увеличивать встречные планы. «Мы не подведем, выходим на новые мощности! Поддержите...». Он организовывал слеты трудового мастерства, шефство над школами, досрочные встречи Нового Года и гневные письма разным империалистическим правительствам, то и дело разжигающим войну. Вертелся как уж на сковородке. Горел работой, а потому квартиру уже получал как должное. И делал даже специальное, слегка недовольное лицо, замечая неубранный строительный мусор и на «тяп-ляп» покрашенные стены лестничной клетки. Сердитость свою выказывал среди товарищей по работе и родственников.

Левке сказал на входинках-новоселье: «Халатное отношение к труду у нас в первом строительном управлении».

Левка глядел на него без зависти, хотя сам жил в коммуналке и должен был понять всю радость, до икоты и потери личности, всю радость от собственной тишины, дверей, личной — не надо носить ни ведром, ни чайником — воды из-под крана. Глядел без зависти, но гадость из него поперла. «Знаешь, Яша, вот, если на хлеб бахнуть варенья, а потом размазывать, то края намажутся самыми последними и будут самыми несладкими. Говно края получаются. И хлеб не чистый, и радости на языке никакой...»

«Не хочешь, не ешь. Кто заставляет?» — возмутился Яков. Не хватало еще начать разговор о продовольственном дефиците!

«Так я не ем. Я рассуждаю, Яша. Потому что вы с Наташей как края эти. Давно уже бахнули варенья. Сладкое, на кровь похожее. Плохой, но вкус. Однако испортили хлеб. Только к настоящему времени — подсохло. Засахарилось, замавзолеилось, можно сказать. А вы все размазываете, оживляете покойничка... Я вас слушаю — как кино про гражданскую войну смотрю... Никогда не знал, чтобы люди в жизни, когда их никто не видит, не на собрании, могут так разговаривать...»

Зашелся Яков от обиды. Не сдержался, кулаки зачесались, но ответил спокойно: «Если я тебе «говно-края», то чтобы ноги твоей больше в доме моем не было». И указал на дверь.

Левка усмехнулся: «Ага. Отрекись от меня еще через печать...»

Попал в точку.

Была у Наташи Волоковой такая идея. Не раз и не два говорила она Якову, что лучше бы было все связи с отсталой семьей порвать и партию об этом в известность поставить. Она даже узнавала, как это теперь делается. Но процесс этого справедливого отречения был прекращен в связи с полной и окончательной естественной убылью дореволюционных родителей.

От семьи советской, сформировавшейся в условиях социалистических побед, отказываться было нельзя. Это называлось теперь не отказаться, а бросить. Безвыходная ситуация.

Когда гости ушли, Наташа Волокова мыла посуду, а Яков Никифорович подметал полы (отец увидел бы, убил). «Жиды — они и есть жиды. А мы и дальше будем поддерживать арабский народ в его войне против Израиля», — сказала Наташа Волокова устало.

Яков Никифорович ударил ее кулаком в нос. Без плана ударил, без ума. Сам от себя не ожидал. Наташа Волокова стала выбрасывать из себя слова и выражения, которых Яков Никифорович не слышал даже от бабки Тани, известной мастерицы...

Хлопнул дверью, поехал на вокзал. Там, в ресторане, напился. На мгновение влюбился в официантку, глазами похожую на Марию. Проснулся утром в ее постели, с головной болью и ощущением полного морального разложения. Сказал: «Я женат». Она ответила: «Так и я замужем. Вчера еще все обсудили...»

С Наташей Волоковой инцидент не обсуждали. Сделали вид, что ничего не было. Общее дело для них было главнее. «Не буду портить тебе анкету еще и разводом», — сказала Наташа Волокова. «И себе тоже», — ответил Яков.

Семейная жизнь дала трещину. Но работа шла в гору. В семидесятом Якова Никифоровича избрали секретарем райкома комсомола, не первым, конечно. Однако объема, чтобы погрузиться, было достаточно. Кроме комсомольских бригад в охвате не только района, но и всей области, Якову Никифоровичу поручили выявлять несоветские явления и давать им отпор. Список несоветских явлений был плавающим. Пьянство, например, приходилось то вписывать, а то вычеркивать, понимая его как отдых рабочего человека. С бытовым разложением было также: дочерям ответственных работников разрешалось разлагаться в каракулевых шубах, а женщинам из сферы торговли и обслуживания — нет. Такое разложение считалось фактическим воровством. Совсем сложно было с управлением культурой и инакомыслием. Вот это последнее, как говорили на секретных совещаниях, поднимало голову и маскировалось под невинные вещи: импортную музыку, прослушивание «вражеских голосов», чтение подрывной литературы. Смех еще считался подозрительным, особенно в виде политических анекдотов. А также борода и свитер. Они вполне могли прятать под собой диссидента. В задачу Якова Никифоровича входило распознать, найти и обезвредить. Но у него никак не получалось. Старшие товарищи советовали в таком случае «назначить»: «Не в столице живем, где ж их взять-то?». Художника одного, пьющего, бородатого, пропесочили на конференции за формализм. Он покаялся и сказал, что остановили его вовремя, на самом конце пропасти, куда он уже летел со всеми своими красками не сданной тарой. Писателя молодого упрекнули в «дегероизации» персонажей. Он тоже согласился. Пообещал, что все следующие будут как Павка Корчагин и даже лучше. И несмотря на то, что некоторые у него получаются женщинами, все равно будут как Павка. Комсомол выписал ему путевку в шахту: на два месяца, чтобы набраться правильных трудовых впечатлений.

А диссиденты все не находились. И никто из творческой интеллигенции не соглашался назначаться на эту роль. Но пустая эта мишень принесла Якову Никифоровичу новые возможности. Потому что на ситуацию с пустым можно посмотреть по-разному. Как со стороны потери бдительности, так и со стороны профилактики. Эта идея Якова Никифоровича очень понравилась в обкоме партии.

Пустое может быть не только прохлопанным, но и задуманным, специально созданным. На таком пустом уже много чего к тому времени построили. И построят еще, конечно.

А в отчете написали: «В результате проведенных профилактических мероприятий гнида инакомыслия не проникла на территорию области». Гниду потом выбросили. Посчитали устаревшей и, в целом, изжитой как явление.

В семьдесят первом сказали, что можно уже готовить документы на инструктора горкома партии. Сердце подпрыгнуло, чуть об зубы не ударилось. Ни одной мысли, которую не стыдно было бы людям показать, в голове не было. Материальное так сильно победило, взорвалось в организме кровоизлияниями блата и дефицита — спецпайками, санаторием в Крыму, улучшением жилищных условий, ондатровой, конечно, шапкой, костюмом финским, что все другое отняло-парализовало.

Тут и возникла кадровая комиссия, а в ней райкомовский муж, выпускник ВПШ, человек с чистыми руками, холодным разумом, горячим сердцем и погонами, полагающимися к этому комплекту.

«Не выйдет у тебя ничего... Семью я вашу знаю хорошо. Сплетни не собираю, но сигналы на вас были. А в нашем деле каждый плохой сигнал — не в пользу партии. Давить тебя специально не буду, чтобы не сказали: сводит Кравченко счеты с обидчиками. Историю ту, прошлую, сам понимаешь, ни поднимать, ни обсуждать не хочу. Вонь от нее по сей день в горле у меня стоит. Но и пускать тебя в жизнь с таким хвостом резона никакого нет. Сорок третий год твоего рождения, считай, приговор. Многие полицаи еще живут среди нас. Будем разоблачать и наказывать. Разоблачать и наказывать... Без срока давности».

Легче всего предавать родителей. Потому что они, отрезанные всякой новой жизнью взрослых детей, могут никогда и не узнать. А, если узнают, то что? Это только у Тараса Бульбы хватило порыва. И не Бог просил у него этой жертвы. А война, в которой первым кончается всякое добро, а за ним уж и родство, и милость, и святость. Но сил, чтобы жить после этого дальше, Бульбе уже не хватило. Он принял страшную смерть за родину, но умер из-за того, что умер его Андрей.

Другие, обычные, отцы и матери всегда прощают, даже в войну. А от прощающих хорошо отречься — не страшно. И сначала, когда видны уже все их несовершенства и неспособности расти, меняться, даже не стыдно. Потому что специального желанья предать нет. Есть обстоятельства. Реакция. Планы на жизнь.

Подлостью все это вместе осознается потом. Не скоро. Может быть и никогда.

Вместо удара в нос — прямым, коротким, через стол, длины руки быхватило, Яков спросил: «И что же мне делать?»

«Езжай, поговори. Справку какую, может, найдешь, что был он в партизанском отряде. Соседи чего подтвердят. Бумажки нужны, а не документы по реабилитации. Острый вопрос по тебе, сынок, другой. Понял?». Райкомовский муж смотрел на Якова Никифоровича круглыми, подетски удивленными глазами. Края радужной оболочки этих глаз обозначали для Якова границы пропасти, в которой он уже летел. Где-то на дне сидела-ждала чертова мать. Ждала не его одного, а всех, таких, как он. Потому что теперь ее они были дети.

14

Домой, в Туманное не поехал. Не смог. Телеграфировал Кате в Норильск: «Срочно нужна правда отце письменном виде лучше авиа тчк не хочю волновать мать».

Катя написала-ответила быстро.

Правда про отца была для слепых. Для слепых, глухих, а, значит, счастливых детей, у которых нет никаких сомнений в том, что, хоть и гоняют их как сидоровых коз, и мокрым полотенцем грозят, и на велик денег нет, но все равно — мир устроен правильно. Хоть и глупо, но надежно: не разрушишь, не убьешь. Мать — красавица. Батя — тоже герой. Горько.

«Нам с Зиной Никифор — не отец. Не родной отец, хоть и фамилию свою дал. Он хороший человек и мамку нашу спас. Ты должен понять и не огорчиться. Мамка всегда была ему благодарна, она и сейчас ему благодарна. А Зину он, как пришел с войны, то сразу полюбил. И Зина его полюбила. Не заспинничали они, никому не верь. Мамка знала все первой, сама их благословила. Зина с Никифором должны были вместе уехать, но из-за меня случилось все с Левкой. Никифор и остался.»

Не суди их, потому что любовь, Яша, она больше, чем тебе кажется сейчас, когда ты живешь со своей супругой Наташей. Почитай об этом у Куприна. Я могу прислать тебе список литературы, который поможет понять эту ситуацию правильно. К сожалению, я сама долгое время Зину осуждала то за одно, а то за другое.

После освобождения из несправедливого заключения Никифор приехал, как и обещал, сразу к Зине и к дочери их Анне. Однако Зина уже полюбила другого человека, но не из легкомыслия, а от того, что женщине трудно одной с маленьким ребенком, без образования и помощи. Анна думает, что Никифор ее дед. Так что теперь над нашей семьей снова висит секрет, что лично я считаю неправильным, но со своей правдой больше никуда не полеку. Мужу Зина все объяснила, когда он сильно выпьет, то бьет ее за это. Потому что тоже понимает: была у Зины с Никифором любовь, а не блуд. От чужой любви всегда или свет или боль. У Федора Зининога боль.

А у мамки, может, и нет. Ты не думай, что она Никифора от тоски назад приняла. Левка вот сказал, что супружество — это совсем не то,

что мы себе думаем. Он сказал, что это подвиг, но только не в военно-патриотическом, а в другом, сложном, смысле. На своем примере пока не знаю, согласна с ним или нет. Ты помирись с ним, Яша, и сам спроси. Твоя сестра Катя»

Ондатрова шапка, глаза Марии, пусть даже как у Марии, водка — друг человека, Наташа Волокова с Гегелем, которого били уже всей кафедрой научного коммунизма, но победить почему-то не могли... Что-то еще лезло в голову, потому что легкие воспалились красивым словом пневмония. В жару, что удивительно было для врачей. Но не для Якова: чему же еще воспалиться, если организм его больше не мог дышать? Высокая была температура. Бред и видения, в которых рассасывались материальные кровоизлияния, обретая облик Кравченко, хлопали дверью улучшенных жилищных условий и звенели на прощание кандалами. Зато в бреде можно было плакать. Это не считалось слабостью. И Яков собирал, любовно пестовал даже комок-кашель, подбирающийся к горлу, чтобы на законных, болезненных основаниях, выбрасывать из себя слезы с бабским, подвывающим (от кашля свистящим) всхлипом.

В этом было много радости. И мать, ненаглядная, приехала для борьбы с пролежнями. Переворачивая Яшу на бок, она тихонько целовала его в спину. А, натирая ноги козьим жиром (кто-то сказал ей: лучшее средство от легких) говорила громко: «П-п-пяточки мои родненькие. Н-н-ножечки мои маленькие...». Сорок шестого размера были ножечки. «Ты ему еще в жопу подуй!» — советовал отец, приезжавший по воскресеньям с кипой газет, трехлитровыми бутылками огурцов и маленькими банками с малиновым вареньем и кабачковой икрой, которую он готовил сам и называл словом «сотэ». Газеты читал вслух: обстоятельно — от первой до последней страницы. При нем Яков держался молодцом: солидно рассуждал о международном положении и о том, что больше упора в народном хозяйстве надо делать на мясо-молочную отрасль. Мясо-молочная отрасль возникала в разговоре не сама по себе, а от польских паштетов, которые Катя для восстановления сил присылала в деревянных ящиках из Норильска. А Зина прислала часы. Почти такие, как у Левки, только намного лучше. «На каждой руке будешь носить», — ухмыльнулся отец. — «Шоб помереть некогда было».

Наверное, врачи сказали им всем, что Яков умирает. Ну, или что он очень плох. Но дышать с каждым днем становилось легче. Помогало лечение, гимнастика и здоровая уже, без видений мысль о том, что Левка — сволочь, мог бы все-таки проявиться тоже.

15

На семьдесят втором году жизни у райкомовской жены появилось имя. Муж ее, признавал Яша, обзавелся им значительно раньше. Хотя лучше было бы, если размазались эти муж и жена — одна сатана — по своей жизни так, чтобы никогда обоих не встретить.

Звали жену Зоя. Зоя Петровна. Что в переводе с греческого означает «жизнь». Имя свое райкомовская жена считала залогом долголетия и си-

лы-силенной, которая помогала ей выстоять-вырвать свое у самых отягчающих обстоятельств. Из вырванного больше всего гордилась сыном, рожденным во время трехгодичной помощи братской Кубе.

«Хотела назвать его Кубадан. Потому что климат там такой, что не родить невозможно. Кубадан Кравченко... Как он орал, Кравченко мой, как орал. Особо волновался о том, что люди скажут. Была в нем такая привязанность к людям, такая открытость... Но на Богдана согласился. Вроде в честь Хмельницкого. В него вон и город назвать не стыдно. Но тебе скажу: Хмельницкий в нашем случае ни при чем. Понял?»

Яша кивал. В жизни вместе выяснилось, что Зоя Петровна — не плохая, но балованная, пронесшая сытость и каприз через всю жизнь. Механизм этот никогда не давал сбоя, потому что у Зои было правило: «В войнах выигрывают те, кто вовремя эвакуируется...».

Правило это Яша считал подлым, но не так он прожил свою жизнь, чтобы судить.

Иногда Зоя срывалась в царицу. Сын терпеливо организовывал ей и целое корыто, и даже море с ограниченным забором владычеством. Вояжи Зоя Петровна отправлялась с целым штатом прислуги и врачей. Яшу не брала. Иван Николаевич передерживал его в ординаторской или временно пристраивал в палаты к тяжелым, но в сознании, а значит с бэкграундом, больным.

Было ясно, что Иван Николаевич от него устал. Замучился своей совестливостью, долгами, которые невозможно было выплатить ушедшей Яне, потому что с ушедшими никогда не знаешь — еще или хватит. Яша отдавал ему половину заработка. И тот брал. Не из жадности, а из понимания, что Яше легче думать о себе как о бизнес-партнере, а не как о жалкой приживалке. Приживальце, если точно. Чтобы освободить Ивана Николаевича, Яше надо было умереть. Но он жил, время от времени погружаясь в привычный страх Паркинсона-теплоцентрали-перелома шейки бедра. Смерти же не боялся совсем. По ту сторону берега у него уже были люди. И эти новые, которых он провожал честно. И другие, любимые — мамка, отец, Зина. Иногда (или часто) он подумывал о том, чтобы уйти самому и до срока, чтобы сделать сюрприз Яне и обрадоваться самому. Но мамка, возвратившая когда-то Левку своей бесконечной колыбельной, держала его на земле крепко. В такие минуты Яша слышал ее тихое, но твердое: «Н-н-не смей».

Не смел.

Зоя возвращалась с морей и звала-забирала Яшу к себе. Привозила подарки: плавки с якорем, трубку, пиратский корабль из ракушек, набор пряностей. Говорила: «Ну, что там еще было купить? Послала дураков своих, пользуйся теперь...». Яша благодарил. Смеялся. После приезда обязательно выпивали. Проходились по коньячку. За ним всегда вставало Туманное.

Книги, сыревшие в погребке, Зоя Петровна отдала в библиотеку.

В сливу ударила молния.

В Дурной балке поставили, наконец, монумент. Большенный камень, на котором выбиты были фамилии и еще оставалось место, чтобы дописать. «Могила Неизвестного солдата — это подлость, а не гордость. Свинство это с нашей, живущей стороны. Так я считаю...».

После выпивки Зоя давала мощный гипертонический криз. Ее укладывали, «раскапывали», обязательно ставили катетер, трубка которого сливала мочу в располовиненную пластиковую бутылку. Яша следил, чтобы она не переполнялась и не воняла. Иногда Зоя Петровна требовала к себе нотариуса и писала Яше завещание на квартиру. Иногда, стыдясь немножко, признавалась, что какнула чуток в трусы и просила их простирнуть, чтобы домработницы (молодые суки!) не думали, что она — обоссанка. Яши не стеснялась. Когда в холодные дни собирались гулять, тоже не стеснялась, прямо при нем надевала-подтягивала рейтузы. В странном женском мире придатки почему-то сохраняли свою бесценную значимость намного дольше, чем могли служить. Это тайное место силы требовало постоянного утепления. Яша говорил смущенно: «Зоя Петровна, ну что вы делаете. Ну зачем при мне, я же мужчина...». «Ну какой ты мужчина», — отмахивалась она. — «Глаза закрой и сиди, если стесняешься...». Сын Богдан вмешивался в их отношения в двух случаях: при оплате услуг и после завещания.

После завещания он всегда приезжал мгновенно, выводил Яшу в комнату, названную библиотекой (собрания сочинений — все — блатные советские стояли на полках), рвал завещание на мелкие кусочки и шипел тихо: «Даже не думай, пердун старый. Даже не думай...». Нотариус Зои Петровны хранил верность не ей, а Богдану. И с учетом ее нарастающего маразма это было вполне логично.

С учетом маразма Зоя выдала Яше историю, с которой собиралась сойти в могилу, но, поскольку судьба уж распорядилась, не смогла...

«У Левки, когда он этого-самого хотел, всегда нос начинал чесаться. Движение такое делал, как будто пальцем к козюле лез на свиданку. Пока в штанах был — стеснительный, как девка. Но без штанов свое брал. И чужое брал, и краев этого своего-чужого вообще не видел. А, как совсем старая стала, в кино об этом смотрела. Когда смотрела, прямо стеснялась, а как сама, так вообще не до стыда было. И хорошо мы, можно сказать, с мужем жили: ни в чем отказа не знала, но бабье счастье получилось только с Левкой. Я по молодости бежать с ним хотела. В семьдесят втором, когда он — нате-получите — приехал и стоит, то нет уже. Уже не думала. Наоборот, потому что слов его чужих наслушалась до злости прямо. Обсыпал меня разными, мелкими такими словечками. Все запомнила. Как гравировку кто на память нанес: «Несовершенство нашего мира не позволяет мне быть с вами приличным человеком. Если вы понимаете шантаж, то его и получите. Пусть муж ваш избавит моего брата Яшу от своего негодного любопытства, а иначе я расскажу ему об отношениях, имевших место на заре нашей туманной юности, в которой вы, Зоя, уже были за ним замужем. А, если потребуется, то и не только ему. Вы сами принудили меня говорить эту подлость, что самого характера подлости никак с моей стороны не меняет...».

А сам — красный, глаз дергается, волосы на висках седые, худой как дворняга, с бородой еще такой кустистой, но палец...в носу. Ну и какая тут обида, если счастье само в дверях стоит, хоть и ругается, но все равно — счастье. А я же уже не первой свежести вишня. Это сейчас понимаю, что тогда самая середка еще и была. Но думаю себе: «Последний раз до полного усыхания остался. Распоследний-разъединственный. Так что же — заорать «рятуйте» и гнать сраной метлой?» Потому и сказала ему наше слово специальное, которое никому уж теперь не скажу. А он и отозвался...»

16

После Катиного письма Яков Никифорович зарекся спрашивать у женщин правду. Потому что только с виду она — сундук безобидный или ларчик какой с инкрустацией, а откроешь, вместо приданого то заяц, то утка, то яйцо. И иголка, чтобы все это пришить, но на какое место — неизвестно. А в конце иголки — не нитка, а смерть.

Другое у них все: и выживание, и спасение. Их батальоны не просят огня, потому что бегут. Бегут заранее со всех полей сражений, чтобы полоть огород, спасать мосты, чинить прохудившиеся сети, запастись спичками, мылом и мукой на случай любой войны. Но почему-то они намного лучше знают о том, как, каким чудом человек может прожить трусом, а умереть героем. Или наоборот... Вздох судят, без усталости сплетничают, но о главном, о том, что пока жив — еще можно все исправить, молчат. И всякое беззаконие, охлаждающее в других любовь, терпят и считаются глупыми именно из-за того, что часто ею, любовью этой, хоть своей, а хоть бразильской, надеются, и подлость всякую останавливают.

А товарищ Кравченко отбыл с семьей на Кубу, так и не дождавшись от Якова Никифоровича никаких правильных документов. Инструктором обкома партии Якова утвердили без них. Второй секретарь после голосования сказал ехидно, но по-отечески: «Пуганые и порченые служат крепче».

Ошибся товарищ. Потому что после всего этого (может, антибиотики повлияли, а может, и козий жир) знак равенства между служением и страхом в жизни Якова Никифоровича исчез. Осталась мелочность и всякая необязательная трусость. Анонимок боялся, или что в Польшу поедет с делегацией передовых рабочих не он, а кто-то другой, купил югославский мебельный гарнитур.

К пайкам привык-привязался. Находил много радости в корейке, нежирном свином окороке, сыре «Виола». Сырокопченую колбасу уважал особо: резал лично и так тонко, что через кусок, если приставить его к окну, проходил солнечный свет. В специальном распределителе купил себе замшевый пиджак. Носить его было фактически некуда, но заглядывать в шкаф, чтобы убедиться — есть, висит, пахнет — было настоящим удовольствием.

Наташа Волокова в его жизни кончилась, хотя жила рядом. И по утрам с ней приходилось пить кофе, а вечерами спрашивать: «Телевизор

выключать? Или сама?». Вместо Наташи были другие женщины, но ей, как жене и товарищу, приходилось терпеть, потому что золотая гора была его, Якова. И разрушь ее Наташа Волокова письмом куда следует, остались бы только песок и глина. Сырье для стекольного завода и флюсо-доломитного комбината.

Это время ощущалось каким-то французским. И ощущалось, и вспоминалось потом больше звуками с раскатистым «эр» и музыкой, рожденной мостовыми и старыми теплыми стенами давно обжитых городов. Постель. Яков и другие тоже, называли это постелью. Она одна почему-то имела значение. Бесстыдно приоткрылась не подушками, конечно, а капроновыми чулками, ловкостью и сладостью расстегивания резинок, острым запахом подмышек, которые надраивались земляничным мылом, но быстро потели и, казалось, смущали хозяек значительно больше, чем акт, для которого Яков Никифорович так никогда и не нашел приличного слова.

Левка называл это блудом. Всеобщим блудом для тех, кому нечем заняться. С Левкой не спорил. Его странности и масштабы их были привычным делом. А тело, данное человеку не ради службы и долга, а для удовольствия, оказалось таким открытием, ради которого стоило жить.

Не только тело. Все другое — взгляд, вздох, легкое пожатие руки, намеренная, но мгновенная, как будто случайная, сцепка бедрами в медленном танце... Чужие квартиры, дачи, обочины дорог. Острое чувство ожидания, всегдашний, потому что никто не Мария, привкус разочарования. Заполненные томлением вечера и пустые, часто пьяные рассветы, в которых отчетливо понималось: имитация, подделка.

Старые коммунисты, болезни и бэжграунды которых давали Яше работу, иногда говорили зло: «Проебали страну! Какую страну...». О качестве страны Яша никогда не спорил. Но с первым утверждением всегда соглашался. Не фигура речи, а способ жизни.

Кто бы мог подумать, что этот азартный и сладкий, очень личный внос так сильно повлияет? Так подействует...

Вслух не говорил, но думал. Думал о том, что надо было начинать раньше. Расшатывать все эти диваны-раскладушки, кушетки, топчаны, двуспальные кровати... Если они — основа основ, то надо было, наверное, раньше обнаружить в себе тело, чтобы к старости успеть согласиться и на душу. Чтобы не только разрушить, но, возможно (так и быть, бери Левка, пользуйся), сделать что-то небесное, недоступное перстам похитителей.

Наташа Волокова, например, успела. Она героически и по большой любви забеременела от начальника трамвайно-троллейбусного управления. Общество «Знание» послало ее читать лекции для водителей. Знание — сила. Неотвратимая, почти как судьба, только построенная на основании марксистско-ленинского учения. Сорок третий год ей шел. По тем временам и смех, и грех. И попалась как девочка: думала, климакс, пока не забился. Не забились. Искусственные роды могли бы спасти ситуацию, и, скорее всего, их брак. Яков Никифорович дал Наташе неделю на раздумье и уехал в Туманное к своим.

У матери гостили сестры с детьми и каждый день, проведенный здесь, был похож на предыдущий и на следующий. И на все те, что он когда-то прожил здесь. Перед отъездом Зина отвела Якова Никифоровича в Дурную Балку: поговорить. В молодости худосочная до синевы, теперь Зина стала большой, но тугой, как хорошо вымешанное тесто. Красота ее и женская состоятельность были очевидными для Туманного, но не для Якова. Зину-девочку он в ней не видел. Наверное, поэтому мысли о ней были подлыми и телесными. Он тогда впервые посчитал отцовы мужские годы. Сколько отцу было, когда случилось с Зиной? Двадцать восемь. Хороший возраст для страсти, но плохой для безрассудства. И совсем не годный для того, что они оба — отец и Зина — приняли тогда за любовь.

«Прости Наташку-то», — сказала сестра. — «Ничё. Не облезешь. Вырастишь дитя...».

В Туманном говорили «дитё». Зинин говор был теперь таким же чужим, как и облик. Яков Никифорович качнул головой: «Не лезь не в свое дело...».

«И мамка думает, что надо принять!».

Никто и никогда в Туманном не любил и не принимал Наташу Волокову. Но помноженная на два она вдруг стала желанной, потому что стала такой, как все.

Партия учила Якова Никифоровича разговаривать с людьми на их языке. Это навык был верхним, дежурным, отработанным до автоматизма. Особенно хорошо он действовал на стариков и детей.

«У меня нет на это сердца», — сказал задушевно. — «У меня нет на это сердца».

«Вообще нет», — кивнула Зина. Нехорошо посмотрела и харкнула ему под ноги. Спасибо, что не в лицо.

Яков Никифорович не обиделся и даже хотел объяснить. О несчастьи насилия над жизнью и об умножении его традицией чужих крестов, о том, что долги не могут и не должны, тем более что и долгов-то нет. И чужая, безрадостная, как будто отлитая уже в бронзе Наташа Волокова, скорее всего сама не захочет. Потому что имеет шанс проснуться. И вопрос здесь не в сохранении и выживании, а в приличиях только. Но они поставлены под вопрос. И даже, можно сказать, попорчены. И кому, как не Зине, об этом знать...

Не сказал, потому что почувствовал, как клокочет в груди обида. Бьется, под кадыком почему-то, нерожденный сын, которому можно было бы купить велосипед и показать море. И любить так же крепко, как Левку и мать. Сильнее даже любить.

К будущему настоящему

Мария наливала в чугунок оливковое масло. Мизинцем пробовала его. Всегда одобрительно цокала. На миг закрывала глаза. Потом резала лук, чеснок, связывала базилик в маленький букет... Помешивала, дыха-

ла запах. Опускала помидоры в кастрюлю с кипятком, вынимала, легко счищала с них шкурку. Нарезала не дольками-кусочками — кругами. Быстро вбрасывала в чугунок. Отходила на шаг от печки, чтобы полюбоваться.

И хлеб... Черствый, вчерашний, с мучной проседью на корке. Иногда резала, иногда разламывала, расщипывала маленькими «горобчиками».

Яша так и не спросил у матери, почему она называла «горобчиками» маленькие кусочки хлеба.

Мария улыбалась, вынимала из чугунка букет базилика и быстро меняла его на несколько свежих листьев. Потом к вареву летели «горобчики»-воробы. И большая деревянная ложка усердно перемешивала их.

Соль, перец... «Может быть, ты хочешь какой-то другой приправы?»

Яша качал головой.

Иногда Мария ставила чугунок в духовку. Иногда оставляла сверху — на плите. Через десять минут говорила: «Добро пожаловать к столу!»

Она называла это «папа аль помодоро». Яша считал, что больше похоже не тюрю. Мария ела «папу» ложкой, а Яша выкладывал на хлеб.

«Хлеб и хлеб», — смеялась она.

Хороший русский. Почти безупречный для тех, кто не торговался на базарах, не рассказывал анекдотов, не смотрел фильмов и не пел песен. Очень хороший русский.

Она учила его всю жизнь. Но с перерывами. Никак не думала, что соберется на нем разговоривать. Просто когда-то давно пообещала отцу. Такая странность у него была. Пришла после войны.

Русский, чтобы понять.

И да, надо было прожить всю жизнь не очень хорошо («Кое-как», — улыбался Яша)... Кое-как, чтобы услышать его просьбу и попробовать вернуть долги.

Двадцать лет и сорок лет — это мало. Шестьдесят — хороший возраст, чтобы прожить следующие тридцать лет правильно. Отец умер в девяносто. Он был десятого года. Успел заглянуть через миллениум. И третье тысячелетие не удивило его. Он сказал: «Ничего особенного».

Мария собиралась прожить девяносто лет.

Яша смотрел на нее с состраданием. Как в зеркало.

Отец, говорила Мария, был сильный, но чудесный... Его не многие понимали. Здесь, в Тоскане, он решил выращивать небиолллу. Виноград особого сорта, который растет в Пьемонте. Поздно зреет. Зреет, когда холодно. Когда очевидная осень и надо одеваться потеплее.

Он хотел делать из него вино. Но так никогда и не смог... Для вина нужно много винограда.

Небиолла — это от слова туман. Туманный виноград. Когда холодно.

В Тоскане много солнца, но отец интересовался туманами. Он их рисовал и фотографировал.

Он все время думал, что в Тумане («Туманном», — улыбался Яша). Да, в Туманном Тумане зреет его сын. Или дочь.

Fratello. Sorella.

«Брателло», — кивал Яша. — «Это было модное слово для бандитов».

«Да. У вас там мафия. Я знаю...»

«Я и сам был мафия...»

«О!» — она делала испуганные глаза и разливала по стаканам красное вино.

Вино пахло детством — фиалкой, клубникой, малиновым вареньем. Козий жир и малиновое варенье — лучшее средство для легких. Или мать говорила: «От легких?».

После первого глотка ощущение детства не уходило, напротив, усиливалось оттенками-отголосками табака, который отец называл махоркой. Яша жмурился, зная, что не в стакане, а в голове — наваждение. И нужно просто не отпустить, закрыть ему выход.

«Это Небиолла. Туманное вино...»

Можно было не объяснять.

18

Иван Николаевич назвал приступ транзиторной глобальной амнезией. Сказал, что явление почти уникальное. Во всяком случае, редкое.

Яша потерял память. Хорошо, что кратковременно, и хорошо, что это было у Зои Петровны. И она не сразу даже заметила. Пересказывала сериал, костерила правительство, пререкалась с президентом, который улыбался ей из телевизора. Потом ей захотелось публики и участия, она повернулась к Яше. И не узнала его.

«Вся противность с лица ушла. Вот как мальчиком был... Такой... Сидит, хорошо, в штаны не наделал. Я ему: «Яша, Яша...». А он — ничего. Хлюп-хлюп глазами. «Кто вы, товарищ?» — спрашивает. «Какой я тебе товарищ, совсем оборзел». Я, знаете, таких шуток не люблю. Хоть и в возрасте, но в первую очередь женщина. А он: «Зоя? Зоя? Где я?». Вижу — не шутит. Чуть не плачет, вижу. Страшно, вижу, ему. А мне самой же тоже. Вдруг за топор возьмется? Хотя топора-то нет, но ножи Богданчик японские купил — самозатачивающиеся... А он опять: «Зоя, Зоя, где я? Какой день сегодня?». А через время снова: «Где я? Что за день сегодня?». А какая нам уже разница, что за день? Доктор, ну, скажите ему? Ну что страшного? День забыл, квартиру мою... Себя-то помнил. Вот это, я считаю, главное...»

Кивал, соглашался. Иван Николаевич кивал и задавал разные смешные вопросы. Странно, но Яша их понимал. Два легко перемножал на восемь, отнимал от тринадцати пять, называл январь первым месяцем года, а июль месяцем своего рождения. Ориентировался вроде, но вокруг Зои все равно было скользко, неясно.

«Падения, удары, половой акт? Было?» — продолжал наступать Иван Николаевич. — «Другие эмоциональные потрясения?»

«Да за кого вы меня принимаете?» — возмутилась Зоя. И это тоже было смешно.

«Недоигранная партия в шахматы — считается?» — спросил Яша. Спросил растерянно, но, как ему казалось, строго и зло.

«Будем ложиться и наблюдать...»

Наблюдать было нечего. К вечеру все прошло. Почти восстановилось. Что-то в картине оставалось мутным, но, в целом, и ощущение страха, и какая-то излишняя драматичность, и привкус театральности, пудры, костюмов — все это было вполне ясным. Осознаваемым, но не желательным к повторению. Стыдным и беспомощным.

Через неделю в больнице, когда непросвеченного лучами места на Яше уже не осталось, как не осталось крови ни в пальце, ни в вене, позвонил Левка. «Тебя ищет женщина. Зовут Мария...»

«Плохая шутка...»

«Ты еще Кызыл-Орду вспомнил. Это другая Мария. Слушайся ее. Не бойся...».

19

Солнце здесь было похоже на дирижера, который выходит к оркестру с достоинством и нарочитой скукой-усталостью. Но преобразается вмиг. Страстно направляет каждый звук в мелодию. Она то гремит, то шепчет, прорастает сиреневыми цветами розмарина, мягкими шагами ленивой серой кошки, нагретыми камнями террасы, помидорами, которые можно посадить, почему не посадить, если мы все равно здесь? Кабачки тоже. Цуккини. Их цветы можно есть. Да.

Можно попробовать с коровой. И виноград тоже. Чуть-чуть небиолы — на память — пусть, а вообще — дамские пальчики. Очень неприхотливый сорт.

И новую выгребную яму. Потому что вызывать службу — дорого, а помидорам говно — не помеха. Польза.

Мария сама пекла хлеб, потому что здесь, на виллах... (Яша бы назвал их хуторами, но виллы звучали неплохо)... На виллах нет другой жизни, кроме как печь хлеб, варить суп, поджидать сыр... Пить воду, которая бежит из крана, вмонтированного в стену. Удивляться раковине из камня. Чинить ставни и подлатывать стены, замешивая сухую траву и глину. Глину только приходилось покупать в магазине. Мария ездила за ней в Брисигеллу. Заказывала. Ждала.

Она любила стирать на улице. Хотя машинка была. Старая тарахтушка, она жевала белье и злобно вырывала нитки. «Мы не грязные», — говорила Мария и выносила во двор корыто. Яша набирал в ведра воду и оставлял на солнце. Можно было на печке, но солнце приходило с утра, чтобы работать. И обижать его было грех. А заклинать речевками «пусть всегда буду я» — глупость.

Они почти не разговаривали. Яша боялся, что слух его снизился, а мозг не реагирует на шепотную речь. Он часто вздрагивал, пугаясь теней с латинскими названиями. Деменция, ишемия, ишиас, сенильный психоз, стеноз... Старость щедро одарена красивыми именами. Она сживается с ними и сходит в могилу, цветисто украшенная мертвым для всех, но теперь уже не для Яши, языком. Он вздрагивал, искал глазами Марию и неизменно находил ее. Мария улыбалась и посылала ему салют. Привет.

Ее волосы когда-то были темными. Их можно было красить, но Мария не хотела. «Мой снег, моя зима...».

Не такая уж зима, — думал Яша.

Седина лежала в волосах пластинами, как на горных вершинах. Просто была непривычной. И морщины тоже — остро прочерченные у глаз — скорее улыбками, чем сомнениями — они были непривычными, но разглаживались вечерним вином. Здесь, в Тоскане, алкоголь тоже был на стороне женщин. Он позволял Яше рассматривать руки Марии, не замечая маленького пигментного пятна и чуть узловатых суставов. Яша ловил себя на мысли, что эти руки кажутся ему знакомыми и совсем не чужими.

Еще он думал о том, что, просыпаясь по крику петуха, страшись выскот и дорог, он все еще не может сказать, что пришли-наступили годы, от которых можно отказаться, потому что «нет мне удовольствия в них».

...Мария приехала к Яше в больницу в хороший день. В пустой с точкой зрения плановой смерти. Иван Николаевич сказал, что Яша еще поживет. Даст Бог, поживет. Потому что все в нем — в пределах возрастных отклонений. И некоторое — вообще в норме. Спасибо диет-столу, который Яша делил со своими пациентами.

Оставаясь жить, Яша подумал о деньгах, которые удалось скопить. Их хватало теперь, чтобы снять квартиру, чтобы своя вода и своя постель. Их хватало даже на то, чтобы время от времени ездить на такси. Это было почти предельным достижением и, конечно, распушенностью. Но Яша любил такси больше, чем трамваи и троллейбусы. У него были причины. Яна считала их мелочными и несправедливыми. «Троллейбус — наш рогатый брат!» — говорила она. «И муж моей бывшей жены...», — отвечал Яша хмуро.

Начальник ТТУ просил у Яши руки Наташи Волоковой, потому что большее ее не у кого было просить. И Яша, Яков Никифорович, ощущая странную смесь брезгливости и ликования, даже не спустил его с лестницы. Напротив, напоил в хлам. И себя, и его. А потом — от совести или от удали — сам не знал, отдал ему и Наташу, и квартиру. Это, наверное, было благородно и по-мужски.

Но Яша-Яков не думал об этом. Провалился в новую жизнь отрицанием, под которым не было ни дна, ни фундамента. Ни, как выяснилось, его самого. После смерти Брежнева ушел из горкома в университет. Провожали и принимали его с почетом и недоверием. Экономическая состоятельность его решения уходила в минусы. И возраст был еще не тот, чтобы опускать паруса. Некоторые коллеги подозревали, что бегство это — неспроста. И это не бегство, а попытка вернуть Наташу Волокову, чужую жену, чужую мать, доцента кафедры научного коммунизма.

Но он сел за диссертацию, смыслом которой была не война с Гегелем, а дружба с Марксом. И Маркс вывез его на защиту, как вывез тысячи других своих — верующих и неверующих — сыновей.

Это был хороший день. Прибыльный. Яша не удивился, когда Мария — черные брюки, черный свитер, светло-серый клетчатый шарф, туфли без каблука, почти мужские, почти кроссовки — когда Мария сказала: «Я хочу пригласить вас в Италию».

«Сколько лет больному?» — деловито осведомился Яша, пересчитывая курс евро на доллары.

«Вы видели, как цветет миндаль?» — спросила она.

20

«...И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс...». Яша читал эту книгу вслеп за Левкой. От злости на него читал и пытаясь помириться. И снова от злости. «Заметь, Лева, я все понял: в старости кузнечик тяжелеет настолько, что не встает. То есть, сначала усыхает до размера кузнечика, а потом — не встает. Но мой кузнечик — еще ого-го-го... С каперсом, правда, не все ясно. Это что-то женское? Почему оно рассыпается в прах?».

Левка злился, хмурился, сжимал кулаки. Территория, на которую вторгался Яков, была местом его постоянной уязвимости. Лет в тридцать пять Левка пристал к матери с вопросом, крестила ли она его. И, если да, то...

«То что?» — взрывался Яков Никифорович. — «То что? Документ тебе, свидетелей? С работы хочешь загреметь? И всех за собой потянуть?»

«К-к-к-крестила, к-к-к-конечно.... Н-н-но т-т-ты же потом... Это...», — мать смущалась и краснела.

«Обрезался!» — помогал ей Яков Никифорович.

Анекдот уже был? Или потом пришел, но попал ровно под Левку: «Абрам Моисеевич, вы или наденьте трусы, или снимите крестик...». Анекдот этот всегда был аргументом против всех Левкиных блаженных состояний: выдуманных обязанностей, пятилеток вины, взятых на себя, не чужих даже, а ничьих долгов. Крыть было нечем.

Но он, Левка, не крыл. Жил себе путано, сложно, позволяя себе радость редко и ненадолго. Стыдясь ее и пугаясь.

Яков Никифорович многожды хотел показать Левку психиатру. Потому что бред и бредни. Бредни о том, что Левкина геологоразведка... Не разведка даже, а именно находка, и не одна — нефть, газ... Крупные месторождения. Левка был везунчик. Так вот она, они, уверенно так говорил, они искушали, развращали, были прелестью, гадством, с которыми силами компартии справиться было нельзя. Это понять нужно было. Но все равно: мало кто смог бы — понять и отказаться.

Левка ушел из разведки в НИИ. Не по профилю стал заниматься очистными сооружениями. И после «Собачьего сердца» Яков не мог себе отказать в удовольствии дразнить его Швондером. Туманные тетки, державшие мать и отца, были в Яше вечно живыми — молодыми, острыми на язык, безжалостными. Заискивающими тоже. Если рядом был Левка, в Якове включалась эта программа. И не было никаких сил уняться, потому что она прикрывала немужскую, невзрослую потребность-

зависимость. Быть с Левкой, сидеть, чистить на время картошку, запаривать молоко, драить сковородку, молчать или соплывать что-то о душевных переживаниях, само название которых годилось только для дневника глупой школьницы.

Институт накрылся медным тазом. Сын Левки — отъездом в Израиль. Бедная Бэла рвалась на части. Ее сердце хотело быть с сыном, но жизнь, она точно знала и говорила об этом Яне — принадлежала Левке, потому что из них всех он был самый дурак. Самый-самый... Они продали квартиру в Санкт-Петербурге, которую покупали когда-то в Ленинграде, чтобы сыну было, что есть... Хотя бы в первое время. И уехали.

Как назывался этот поселок? Сельма? Синьгейма? Пельшма? Поселок, в трех километрах от него — военная база и старый аэродром, исключенный из всех авианavigационных справочников. Тысяча триста семьдесят два метра. Левка был их начальником. Сторожем. Всех этих никому не нужных метров, летом зараставших ивняком, зимой — покрывающихся снегом. Самолеты не садились. Но вертолетная площадка работала. Светилось даже табло. И Бэла проверяла билеты. Когда электричество отключили, вертолеты садились «на жаровнях». Левка-геолог придумал: маленькие костерки, чтобы было видно. С неба.

Так жил Левка. Зимой труднее, чем летом. Потому что зимой каждый день снег. И, если не убрать, то как? Последние два года вертолеты садились редко. По специальной договоренности. Но Левку это не останавливало. Тысячу триста семьдесят два метра с лопатой. Он сделал себе специальную, из доски объявлений. Синие буквы «Вниманию пассажиров» быстро растаяли-стерлись, оставив на доске-лопате причудливый инопланетный какой-то узор.

Яша приезжал с женой. С Яной. Специальным вертолетом, за который платил водкой, консервами и стиральным порошком.хлопотно, но счастливо.

Левка жарил картошку, а Бэла расстраивалась, что стол — жидковат. Не пир. Ягоды, рыба, случайный заяц, привезенный поселковыми в подарок. Сахар кусочками. Яна надевала валенки и выходила с Левкой «чистить полосу». Вечером, за чаем-водкой, Левка, блаженный, рассказывал о планах — возобновить-выбить электричество, дороги, обязательно фельдшерский пункт. И Яше казалось, что нет и не было никогда ни хлеба, ни варенья, ни побед, ни поражений. Ни слов о них. Не было ничего, кроме бесконечной зимы и глупой надежды.

Иногда Левка гладил Яну по голове. Так делал отец. Редко, в беспричинном порыве. Обнимать не мог, как будто боялся. Подходил тихо, останавливался, вздыхал и осторожно гладил.

Яна улыбалась, а Яша ревновал. И ревность его разгонялась сразу по двум дорогам.

В поселке Левку считали чудиком. Смеялись и подначивали незло. Мастер пустой работы. Кто бы не смеялся? Семь лет — туда-сюда, туда-сюда с лопатой и тяпкой. Еще и лошадей гонял, гадить им на полосу запрещал. Плиты люди хотели скovyрнуть, тоже нет. Сел в засаде: «Стрелять буду!». Ну?

Летчик спасенного Левкой самолета потом рассказывал Яше: «Падаем, все приборы отказали. Гаплык. Внизу леса. Снег. Потом — оп-па — галюны, думаю. Мозг защищается, рисует желательное. Рисует мне полюсу, думаю, в последнем привете. Аккуратная, как девочка. Женись хоть завтра. По стаканчику сядились. Чуток, правда, в лес заехали. Нам все-таки две тысячи метров надо. Ну чуток самый, понимаешь?».

Семьдесят пассажиров, пять членов экипажа, московский рейс. Печку Левке угробили. Топили-топили, чтобы жару всем хватило, она и рухнула. В зиму, в декабрь.

ТУ-154 спасся. А печка нет. И тысячелетие нет. Кончилось быстро, в соответствии с календарем. Бэла позвонила и прокричала через треск в трубке: «Худой. Пьет все время, не ест... Худой, слабый, шатается...»

Яша и Яна рванули. На перекладных. Самолетом, поездом, потом по реке. Река встала, удобно. Зачем вертолет? Пока ехали, Яша дал себе зарок: «Не снимать шапку... Хоть в помещении, а хоть и ночью... Не буду...». На шапку эту ушла вся борьба, все нервы. Договорная такая была игра: я вам шапку, вы мне Леву.

«Я думаю, что это диабет. Я думаю, что это не рак. А диабет!» — сказала Яна.

«Опухоль — не сердце, что ты можешь в этом понимать?» — шепотом, зло, но уже вполне живо, вне отчаяния, крикнул ей Яша.

Шапку снял вместе с волосами уже в областной больнице, после всех анализов, которые Янину правоту подтвердили. Диабет. Не рак.

Хитрая Бэла сказала Левке: «Ты умрешь, а меня съедят волки...».

«В Израиле тоже живут волки...»

«Зато там нет леса. Их сразу видно...».

А волосы — ничего. Выросли снова.

21

«Я приглашаю вас в гости», — Мария не улыбалась, но смотрела на Яшу хорошо. Как добрая галлюцинация.

Взрослый, практически уже старый... В том, что старый, никогда себе не признавался. Отрицал слово и его последствия. Читал — уже не вслед — для себя о длинных жизнях, которые не замирали ни тронами, ни пенсией, ни богатством. Дурной, наверное, человек Энрике Дандоло, венецианский дож, числился у Яши в любимцах. В девяносто шесть лет он взял Константинополь. Не один, конечно. С крестоносцами и ненадолго. И умер там, приладившись к Святой Софии, потому что в обратный путь его уже никто не мог повезти.

Рискнул бы Иван Николаевич поставить больному Дандоло диагноз «старческое слабоумие»? И дать в сопровождение «шаткость при ходьбе», «монотонность речи», «преходящие транзиторные состояния»? Но даже, если бы рискнул, что это могло отменить в жизни Энрико Дандоло, которому всегда хотелось взять Константинополь?

Мария пригласила его в гости. И взрослый, по паспорту старый, точно больной, потому что других в палате не держали, Яша взвизгнул от радости. Не вслух, незаметно, но точно взвизгнул и точно подпрыгнул.

«Бегом открывай рот!» — кричала Зина с ложкой рыбьего жира наперевес. — «Бегом соглашайся, я сказала...».

Он согласился. Бегом. Сердце стучало так сладко, как будто никогда и ничего плохого в Яшиной жизни не было, нет и не будет. Он зажмурился и увидел Моисея, Давида, Мадонну с младенцем, Цезаря тоже, волчицу с многочисленными сосками.

Мысли о том, что его заманивают в секту или в маркетинг по продаже лекарств... И смешное о брачном агентстве и страшное о том, что Левку заманили тоже. И надо спастись и спастись... Все это пришло позже. На пять минут, но позже.

Сначала он согласился. Потом, пропустив цвет миндаля и рассыпавшийся каперс, спросил: «Почему я?»

«Мой отец воевал... Мой отец виноватый. Это должны поменять...», — она отвечала медленно, пробуя на вкус слова. Цокая немного языком. Ей нравилось говорить. Яша видел.

«Что поменять?» — спросил он.

«Я буду рассказывать. Я приглашаю вас в гости... Я помогу виза. Где ваш паспорт?»

«В самом плохом случае, — подумал Яша, — она возьмет кредит на мое имя. Какое счастье, что у меня нет имущества. Какое счастье, что у меня нет имущества и мне не страшно...».

Подлец (и аферист, не иначе) Левка упорно не брал трубку. К вечеру только прислал корявое сообщение, набранное латинскими буквами: «ne boisya i soglashaisya, olukh».

На «олуха» Яша не обиделся.

22

Папа аль помодоро нравился Яше больше, чем Павезе. Мария говорила, что Павезе еще надо уметь готовить. Ее мама была из Ломбардии. Там знают толк в «Павезе».

Два куска хлеба, Мария выпекала его несоленным, отрезала большие ломти... Нюхала всегда. Отщипывала кусочек. И от свежего, и от черствого. Для супа брала черствый. Здесь, точно также, как в Туманном, никогда не выбрасывали хлеб. Еще его здесь целовали. А мамка — нет, не целовала. Только прижималась щекой. К хлебу чаще, чем к Яше.

Два куска Мария намазывала маслом и обжаривала тоже на масле. «Перевод продукта», — думал Яша. Не спорил.

Из шкафа, дверцы которого лениво скрипели, доставала горшок. Горшочек. Укладывала в него хлеб, заливала бульоном, который Яша выпил бы и так, из чашки или из стакана.

Сверху осторожно разбивала яйцо. Ставила горшок в духовку.

Ну? Разве это еда? Разве похоже на борщ?

Когда белок становился твердым, Мария вытаскивала горшок. Осторожно трогала пальцем желток. Говорила Яше: «Живой». И он удивлялся тому, какие странные все-таки у женщин представления о живом и мертвом. Просил: «Мне без сыра, только с луком». И она пожимала плечами и посыпала только свою половину.

Суп этот Мария и Яша ели прямо из горшка. И сыр все равно попался. Но это было не так уж плохо.

Она рассказывала об отце осторожно. Начиная издали и как будто без причины, цепляясь за звуки, запахи, за неперемное солнце, за тишину, которую не стоило бы нарушать. И каждый раз спотыкалась. Спотыкалась о время, неточную географию, об отсроченные решения, мотивы, свои и отцовы, о вину, долги, бедствия или видимость их. Яша слушал ее молча и думал о том, что Мария могла бы познакомиться с Левкой у психиатра. Если бы, конечно, он был у них общим.

Но познакомились они на семинаре в музее Яд-Вашем. Лева ходил туда, чтобы быть с матерью. То ли хитрость, то ли болезнь. Он хотел, чтобы мать стала масличным деревом на Аллее Праведников, чтобы имя ее и камень ее были там, где Левка.

Одной истории и одного его, как очевидца, было мало. Требовались документы, справки. Нужно было еще какое-то подтверждение и другие свидетели, потому что во всякой бюрократии масличные деревья прорастают сначала на бумаге, а уж потом в земле. Левка не терял ни надежды, ни присутствия духа. В музее просто не знали, сколько лет он чистил в лесу снег...

Мария работала с картотекой и новыми заявками. Ей думалось, что это — кратчайший путь. Та женщина, о которой говорили отец, спасла еврейского ребенка. И где же ей теперь быть, как не среди своих? Мария была уверена, что рано или поздно Та женщина найдется. Рано плюс поздно сложилось у нее в три года. А у Левы не сложилось и в десять.

Он называл это словом «пока».

Зачем отцу была нужна война, Мария не знала. И не спрашивала, потому что «воздух вокруг этих слов был большим». Плохой солдат, плохой патриот. Он думал, что война — это приключение, а увидел много мертвых детей в селениях со странными именами — Снежное, Туманное, Отрадное, Красное, Чистое...

«Это ему подсказывал кто-то. Попроще у нас названия — Ольгинка, Марьинка, Розовка, Валентиновка... После войны еще появились «Партизаны». Хорошее название для села, да?», — только однажды перебил ее Яша. Неточность географии или памяти о ней обещала-закладывала неточность всего остального. Яша хотел, чтобы Мария это понимала.

Она, кажется, понимала. На Яшином «братстве» не настаивала. Пожалуй, даже не верила в него.

«Отец всегда был чудесный», — Мария то ли не знала слова «странный», то ли сознательно избегала его. Но Яша был не против. Не поправлял. Думал о том, что Лева тоже — скорее чудесный, чем странный. И он сам. И все они...

Если смотреть, конечно, с солнечной стороны.

Чудесный отец торговал недвижимостью. А этот дом имел от своего отца. А тот — от своего. Его нельзя продавать, но теперь уже некому передать по наследству. У Марии нет детей. Она — конец цивилизации Пранди.

Может быть, поэтому отец придумал себе ребенка?

Он искал Эту женщину сразу после войны, через Красный Крест. Отправил письмо. Но люди из Красного Креста сказали, что женщине будет плохо от полиции и Сталина, если письмо дойдет. О, он поехал в Рим, в почтовое управление. Говорил, что догонял поезд, говорил, что выкупил письмо и сразу порвал. Он придумал себе ее. Называл Анной. Анна — распространенное имя. Мать Марии тоже звали Анной. И она всегда знала, что пришла после. Но не сердилась. Одна длинная любовь — лестница для другой длинной любви. Лестница по-итальянски «скала».

В начале сорок третьего итальянцы ушли, оставив кладбище — восемь тысяч крестов. Сейчас у вас там автобусный вокзал. Мария смотрела. Видела. Нет памяти тем, кто приходит убивать. Нет памяти и нет имен.

Анна спасла еврейского ребенка. Иногда отец говорил, что это мог быть его сын. Сын, брошенный в яму. А иногда говорил, что могли родиться и другие дети. Иногда он говорил, что Анна — святая непорочная Дева. И лицо ее — как мрамор из Ферарры. Еще он говорил, что видел ее только раз. А потом говорил, что жил с ней всю жизнь.

Но дочь Мария дала ему другую надежду. Дала своим рождением и отобрала пустыми своими годами. Это нельзя исправить. Но Мария пообещала искать...

23

Если бы Яша не встретил Яну, то вполне бы мог «жить всю жизнь» с той другой Марией, которую он много лет, казалось, находил-узнавал в других женщинах. В их походке, дыхании, улыбке, открывающей только одну ямочку на щеке, на левой щеке... Узнавал, обретал и терял сразу. Синьору Пранди не удалось встретить Яну. Потому что это удалось Яше.

Соблазнился молодым телом. И разницей в двадцать лет. Прикинул на глаз ее возраст. Загорелся, не ошибся. Подхватил ее сумки с зубной пастой. Вытер слезы по конькам, что забрали таможенники. Забрали без слов, без объяснений. Долго рассматривали, выясняли размер и даже примеряли. И Яна думала, что шутят. Подержат и вернут. Но они забрали. И коньки, и две пары спортивных трикотажных штанов, и надувной матрац. А на рынке в Мишкольце — культурные, вроде, люди — венгры, термальный курорт, чинные прогулки парком — но украли. Украли у Яны упаковку шариковых ручек. Целых пятьдесят штук. А у Яши собирались украсть радиоприемник, но Яша вора догнал, взял грозно за шиворот, не вполне понимая, что он здесь — челнок, пустое место, сладкая булка для полицейских и возмущенных венгерских трудящихся.

За радиоприемник Яша рассчитывал взять десять комплектов шапка-шарфик-перчатки. Синтетические — до стрельбы друг в друга — они были яркие и хорошо расходились в комиссионках...

Отбил. Яна сказала, что он — герой. Яша купил ей большущий хот-дог с горчицей, зернышка которой танцевали на языке чардаш. Яна так сказала: «Как будто танцуют чардаш...».

Счастье. Яша упал в него, как всегда падал в детстве: не думая и не рассуждая. И столько радости выпало ему, столько щедрости, ясности. Он привез Яну в Туманное, оно было еще живым и населенным. Еще были здесь огороды, солка, погреба с картошкой, надежда на шахту и разработку новых пластов. И мамка, читавшая библиотечного Драйзера, и отец, покрикивающий то на Зину, то на Анну. Все они были еще живыми и здоровыми.

Вешали Яшины занавески, мерили джинсы, раскладывали бумажки от жвачки «Love is...», удивлялись им. Смеялись много. И сердце было на месте. Отец сказал: «Вот теперь сердце на месте».

Он умер через два года. Чинно вышел на улицу, прошелся по Нахаловке, завернул к барaku: со всеми соседями — за руку. Сыграл партию в домино. На интерес. Больше ни на что не играл. Вернулся в хату, выпил чаю, встал из-за стола и сказал матери: «Пойду...»

Мать так улыбалась ему на похоронах как будто свадьба и впереди еще молодость, и ничего не прожито и не сказано, и всякая глупость потому возможна. Улыбалась, потому что вышла вслед за ним, постепенно утрачивая силы и здравость суждений, и четкость речи. Мать угасала тихо, совсем не замечая как в жестокий запой уходит Зина, как зарастает бурьяном огород, как гниют яблоки и абрикосы, собирая со всей Нахаловки пчел, мух и соседских детей. Когда она слегла, Яша взял академический отпуск в докторантуре и оставил маленький бизнес на директора, надежного парня. И это тоже было счастье. Он кормил мать с ложечки, аккуратно купал, нагревая в трех ведрах воду, расчесывал волосы, стриг ногти и вслух читал «Финансиста». Он мыл еще за Зиной, кормил ее, просил-кричал, чтобы ей не наливали, но Зина таскалась на узловую станцию и там всегда находила себе компанию. Яна приезжала на выходные и иногда среди недели. Мать узнавала ее ненадолго, но чаще называла Катей и садилась шить юбку. В просветлениях, которые становились все короче, мать успевала подмазать хату к праздникам, прополоть огород или убрать снег с крыльца. Но все чаще она застывала то с кастрюлей, то с тяпкой в руках, виновато улыбалась Яше и говорила: «З-з-забыла... Б-б-будешь д-д-доктором, вот и в-в-вылечишь меня...». «Это ж не то, я доктором экономических наук, мамка. Экономических, а не медицинских...». «Э-э», — весело отмахивалась мать. — «К-к-какая разница?»

Зина замерзла по пути домой, провалилась сугроб. Наверное, уснула. Нашли быстро, потому что искать стали разу, Яша платил за поиски всему окрестному населению — кому консервами, кому невиданным напитком по имени «7up». Фирма его принципиально не торговала водкой. Вообще — любым спиртным.

Искали и нашли.

Мамка умерла ночью, не зная, что Зины больше нет. Или, наоборот, зная.

Дом давно был отписан Анне. И она продала его почти сразу же, недорого, но очень удачно. Потому что через несколько лет Нахаловку скрыли, объявив глиняным карьером. Но то ли глины было мало, то ли кончились у кирпичных королей деньги с интересами...

И все стало, как было. Пустое место, заросшее травой.

24

Первые несколько ночей в доме Марии Яша не мог уснуть. Не мог уснуть от восторга. Он лежал, глядел в деревянный, крашеный белым, потолок, считал балки-доски, вдыхал настоявшийся на солнце и кипарисовых ветках воздух, рассматривал причудливые тени ставен, слушал Мариины шаги. Она вставала, выходила на кухню, наливала воду, пила ее жадно. Яша настораживался по привычке и думал: «Диабет? Знает ли? Может не вода, вино? Алкоголизм?»

Утром рассматривал ее лицо, трогал за руку в поисках сухости, но находил теплую влажность, нервность. Трогательность находил в ней тоже. Смущался.

Ее третьим коронным супом был «министра маритата». Яшино сердце разрывалось от вида фрикаделек, которые сначала запекались в духовом шкафу. Зачем? И вот это орзо — это что? Рис? Паста? Маленькие макароны? Кто же делает такие маленькие макароны? Сколько же их нужно съесть, чтобы было как «по-флотски»?

И горькие зеленые листья без русского перевода и всякого представления — escarole? Их туда за что? Не капуста же. И кто, кто кладет в суп с фрикадельками капусту, рис и все, что есть в доме под рукой?

«Я сварю тебе борщ. Ты все поймешь», — пообещал Яша.

«Борщ — это русский свадебный суп?»

«Это наш всеобщий свадебный суп...»

С самого утра он находил себе работу. Поливал-подвязывал помидоры, обкладывал камнями новую выгребную яму, подрезал кустарники и старые ветви деревьев, смазывал скрипучие петли, воевал с сорняком, часто не узнавая его по листу или запаху. Наугад воевал. Когда Мария уезжала в город, ходил по дому. Совал нос в книги, садился в кресло у окна, из которого была видна дорога, брался за стирку — белье, постели, полотенца, скатерти тоже... Преступно открывал ящики, сначала на кухне — с посудой, потом другие — в столах и спальнях. Яше было стыдно, но любопытство оказывалось сильнее стыда.

В шкафу Марии он нашел аккуратно сложенные блузки и халаты. Цветастые синтетические блузки и ситцевые халаты, которые Мария никогда бы не могла носить. Из-за размера и из-за того, что их можно было купить только на развалах союза, в европейской, ориентированной на Турцию, а не на Китай, полосе.

«Чье это?» — кричал Яша, не давая Марии выйти из машины. — «Чье это? Где эти люди? Почему их вещи здесь? Ты — Синяя борода? Женщина-маньяк?»

«Si, si...», — широко и бесстрашно улыбалась Мария. — «Я могу объяснить...».

«Что «си-си»? Как объяснить?!» — кричал Яша, грозно потрясая огромным ситцевым халатом, пытаясь спрятать в нем страх, стараясь понять, что делать, куда и как бежать. И бежать ли вообще... В конце концов, здесь ему было хорошо и радостно. Много солнца. Цветущие каперсы. Кустарник такой. Не рассыпающийся, живой.

Анна — очень распространенное имя. Разве нет? Отрадное, Снежное, Красное, еще Рыково, Чистяково, Орловская — станица или станция, Багаевская... Много, большой список. И дети — всегда большой список. Когда кто-то убивает, другой обязательно спасает. Если бы не так, некому было бы кричать.

Не все согласны приезжать. Не все хотят верить. Не все здоровы. Мало смелых. Но женщины — всегда смелее, чем мужчины.

«Я приглашаю их в гости. Я приглашаю их остаться, потому что дом — большой. Потому что у меня есть деньги, которые только деньги. Но они не хотят. Они возвращаются к себе. Я не знаю, почему. Но я жду, что они приедут снова. Они пишут мне письма и оставляют в залог одежду. Я покупаю им новую, они оставляют старую. Такая примета, чтобы вернуться. Они — не дети Массимо Пранди. Но я все равно их жду...»

«Мужчины тоже были?» — спросил Яша хрипло, с обидой, которая накрыла вдруг с головы до ног, накрыла так, что наvertsела на язык фразу: «Не поздно ли спохватились, синьора?». Но не ему было спрашивать о «поздно и не поздно». Не ему, бежавшему из дома без оглядки, желавшему нейлоновой рубашки больше, чем мира во всем мире. Не ему и другим таким же, пятки которых кивнули и растоптали-стерли с лица мазанки-надежды, деревянные заборы, старую сливу и колонку, открытую ко дню Победы.

«Мужчин не было. Ты первый...»

У Марии было красивое тело, гладкая кожа с запахом земляничного мыла. Или просто земляники. Упругие, сладкие губы, круглые коленки. И маленькое пигментное пятно на руке оказалось родинкой. Другие родинки убегали от Яши на спину, на плечи, прятались на склоне пупка и разбегались, останавливаясь-замирая, у самой груди. Иван Николаевич со всеми своими приговорами о позоре старческой сексуальности мог смеяться. Но не мог помешать.

Никто не мог помешать Яше и Марии сбежать и вернуться. И съесть итальянский свадебный суп, который на самом деле не подают на свадьбах. И не стыдиться, потому что наступает такое время и приходит такое место, где нет стыда по поводу белых платьев, седых волос и тела, которое все еще слышит и слушает. И не важно, долго ли еще оно будет таким покладистым и сговорчивым. Кто же в таком деликатном деле загадывает наперед?

Когда Лева взялся за Яд-Вашем, Яша был еще всемогущим. Время, в котором все улицы города ночами становились темными и тревожными, без единого фонаря-просвета, его не пугало. Он думал, что длинная ночь

без правил обязательно закончится утром. И до этого утра стоило дожечь, чтобы глянуть в лица участников шабаша при дневном свете. Свое лицо тоже хотел увидеть. Будущий доктор экономических наук вел семинары по накоплению первоначального капитала с самим собой. Это называлось словом «крутился» и было больше похоже на запой. Страстный, длительный, болезненный и безнадежный, с дрожью в руках, с нехорошими предчувствиями, запиваемыми следующими порциями безумных, чрезмерных возлияний-сделок. Тушенка — каша с мясом — в Йошкар-Олу, видеомагнитофоны — по месту, сигареты «Президент» и «Монте-Карло» — через Польшу в Минск. Были еще телевизоры, вагоны с углем, замороженное аргентинское мясо, соки, шампуни, трубы, греческие шубы из кусок крашеной в разные цвета норки. Эти шубы назывались «Палома Пикассо». Яша послал две — Кате и ее дочери — в Норильск. Они очень смеялись и обещали носить их зимой дома, в квартире. Для дома по их снегам-морозам греческая «Палома» была в самый раз.

Деньги... Универсальный ключ. Казалось сначала, что ключ без унижений, без анкет, отчетов и кадровых проверок. Только сила, только реакция. Хватка. Деньги мыслились как свобода и как воздух. И было даже непонятно, почему стоят на месте другие, почему не хватают сумки, не нанимают бухгалтеров, не звонят днями-ночами по телефону, чтобы там купить и здесь продать. И даже первые «крыши» не вызывали у Яши ничего, кроме улыбки. Пьяный от дел, которых он не знал раньше, Яша видел только, как искрится его новое «вино в чаше», не ожидая ни укусов, ни отравы. «Пацаны, я готов платить вам десять процентов». «Пятнадцать!» — сказали «пацаны». А уже через год они были мертвыми, оплаканными и неприлично одетыми в мраморные памятники, возведенные на деньги братвы. На их месте появлялись другие, третьи, четвертые. Все более жадные, с отчетливо видимой короткой жизнью, которую хотелось провести весело и без памяти. А потом, когда уже была контора, заместитель, два сотрудника, упорно называвших себя менеджерами, пришел майор Онищенко.

«Ты, гражданин Орлов, определяйся. Это наш город и наша страна, бандитам здесь не жить».

Улыбки не было уже. Ни у Яши, ни у майора Онищенко. Серая, привычная серьезность. Яша не смог сказать ему легкое-хамское «ты». Вообще ничего не сказал, не предложил.

«Дочь моя войдет в учредители. Пятьдесят процентов. И прибыль пополам, без баловства. Понял?»

«Без бандитов скучно...»

«Тогда сядешь. Там и повеселишься...», — пожал плечами майор.

«Я подумаю», — сказал Яша.

Уже почти достроил дом. Зачем-то прошел предзащиту. И четыре весны, и четыре осени тоже красил ограды на могилах матери, отца и Зины. Все еще заглядывал в Янины глаза: до конца не верил, что вот — она. Она.

Думал, что деньги — залог его радости. Златая цепь. Но порвется звено и сбежит кот, особенно, если он кошка. Пойдет направо или нале-

во, не суть. Просто пойдет туда, где не будет Яши. Весь вопрос был не в доле и прибыли, а в том, сможет ли Яша сказать майору Онищенко «ты». И в Яне, которая вряд ли захочет сесть в санки, что едут с высокой горы вниз. В овраг.

Левка пристал с архивом не вовремя. «Сходи, должны быть документы. Комиссия по расследованию зверств фашизма. Найди, там должно быть что-то, не может быть, чтобы не было... Памятник же поставили, значит, точно есть... Выписку возьмешь официальную. Завершишь, я еще узнаю, где. Но заверить — обязательно. Яша, будь человеком...»

Документы были. Яша принес директрисе архива ящик конфет. Мечта детства. Ящик разных конфет, такое богатство. Почему-то думал, что у директрисы тоже могла быть такая мечта. Не ошибся. Она — ровесница и Яше, и майору Онищенко, и плюс-минус Левке — не спрашивала, куда мне столько. Глядела на них ласково, думала, как возьмет домой, разделит, развернет... Радость.

Документы Комиссии были. *«Протокол допроса четырнадцатого октября 1943 года. Следователь Орлов Никифор Георгиевич.*

Свидетельница Белозерская Анна Петровна, 1916 года рождения, урожденная в селе (ныне городе) Озёры Московской области, проживающая в городе Туманном, дом 1, квартира 7 рабочего общежития стекольного завода, соцпроисхождение — из семьи служащих, соцположение — служащая уборщица стекольного завода, семья: дочь Зинаида 1930 года рождения, дочь Екатерина 1933 года рождения, сын Лев 1939 года рождения, сын Яков — 1943 года рождения, под судом и следствием не была, образование — школа-семилетка».

«Мама», — сказал Яша, трогая плотную, шершавую, пробитую насквозь клавишами пишущей машинки, бумагу. — «Мама, мамочка моя...».

26

Петухи закричали минутой позже. Проспали. В долине лежал туман. Дышал, неторопливо отпуская от земли плотные завитки-сгустки. Облака были сиреневыми, они подбирались к туману на самом горизонте и лениво двигались, пропуская ровные, деловитые очень солнечные лучи. Хотелось жареной картошки. С луком и на подсолнечном масле. Оливковое — хорошо, вкусно. Но подсолнечное можно пить, нюхать, солить, макать в него хлеб. Им можно мазать руки, чтобы кожа была мягкой и чтобы от нее, от кожи этой, невозможно было оторваться.

Яна любила подсолнечное масло. И теперь, наверное, сердилась на Яшу.

Потому что случилось то, чего она всегда боялась. Двадцать лет их разницы считались почему-то в пользу Яши. Предполагалась любовница, и следы ее обнаруживались на кафедральных заседаниях, в таможах и командировках, в телефонных звонках с потрескивающим молчанием (это Катя звонила из Норильска. Катя, сестра...). В студентках, конечно, в соседках, в женщинах, идущих по улице и даже сидящих в телевизоре. Все они считались Яшиными.

Мария спала. Он не стал ее тревожить, быстро оделся, накинул пальто. Кашемировое пальто. Не для тепла, для солидности. Потому что решил идти в город. Двенадцать километров. Бризигелла почти как узловая. Вполне преодолимое расстояние для человека, который хочет жареной картошки. И хочет еще удивить ею женщину.

К картошке, конечно, мыслилось сало. Не бекон, не прошуто, а именно сало — с чесноком, крупной солью, широкой прожилкой и мягкой корочкой. Отец говорил: «Скорышкой...».

Яша шел себе по дороге и улыбался. У него была ясность. Одышка, пот, наверное, тахикардия. И шаг не быстрый, не точный. Но ясность. Такая, какая была только в детстве.

Следователь Орлов спросил у гражданки Белозерской: «Как вы оказались в Туманном?».

Она ответила: «Это длинная история».

На бумаге не было видно ни страха, ни заикания, ни вызова. Может быть, она вздохнула. Может быть, улыбнулась плохой, злой улыбкой. У нее была такая. Для особых — ледяных и подлых — случаев. Для чужих, для совсем чужих людей.

А, может быть, улыбнулась хорошей. Детской.

«Родители погибли в гражданскую, воспитывала тетка по матери, в тридцатом году тетка умерла, семилетку закончила в детском доме города Красногорска, там же осталась работать, хотела поступать в педагогическое училище. Детский дом расформировали в тридцать третьем, провожая младших в новый адрес, подобрала на вокзале двух девочек, которые сидели рядом с мертвой женщиной. В милиции сказали, что отправить их сейчас некуда, нет такой возможности. Предложили забрать себе и оформили справку. На узловой сказали, что в Туманном нужны работницы на стекольный завод, что сразу дают жилье, паек и ясли. Ясли не дали».

Следователь Орлов спросил: «Что Вы знаете о расстреле в Дурной Балке?» и еще: «Кто выдавал коммунистов и комсомольцев?»

«Евреев тоже выдавали», — сказала гражданка Белозерская.

«Назовите фамилии врагов народа и полицаев, которых Вы знаете».

«Я не знаю их фамилий».

«Назовите клички или адреса проживания».

«Я не знаю».

«Вы отказываетесь сотрудничать со следствием?»

Семь следующих строк, набитых нервными, рвущими бумагу клавишами, были аккуратно заклеены. Семь строк — семь полосок, ровных, как солнечные лучи.

А ниже — дата и подписи.

Что-то случилось там. Что-то случилось после грозного вопроса, цена которому — десять лет без права переписки. В лучшем случае, десять.

Она улыбнулась? Заплакала? Поправила волосы? Чихнула? Стараясь ответить, задержала губами слово и засмеялась над собой? Или он — посчитал ее годы, увидел ямочки на щеках, белую кожу и не увидел хромоты. Удивился? Ужаснулся? Представил всю ее жизнь? Пожалел? Остановился? Остался?

Двадцать три года ему, фронт, много грязи, много крови, много тяжелой работы без просвета. Кого он успел потерять, кого спасти, предать, уничтожить, вынести на себе, чтобы зацепиться за ее улыбку, ее надежду, уверенность почти, в том, что все будет правильно и хорошо, потому что, пока дышится — всё и живется. И больше не надо ничего.

Двадцать три года ему. Ей — двадцать семь.

27

Сделали ксерокопию. Директриса поставила на нее печать с номером фонда, дела и страниц, которые здесь именовались листами. «Можно еще акты гражданского состояния посмотреть?» — спросил Яша. — «Справки какие, если есть...»

Запись о браке была. Об усыновлении Левки. И Зины с Катей. Об удочерении их и смене фамилии.

Яша был тоже. Рожденный от Никифора и Анны в июле сорок третьего года.

Леве эти документы помогли мало. Никак не помогли.

Он позвонил ночью, потому что ночной тариф дешевле дневного и потому что ночью подстерегала-наваливалась, Наверное, тоска.

«Ты прости меня, дурака старого. Затеял это. Это все из-за меня. Мамка наша... Из-за меня пустила фрица. Жила, сцепив зубы, через стыд свой и позор...»

«Она могла его любить...», — хотел сказать Яша, потому что уже знал тогда.

Она могла его любить.

Уходя вслед за Никифором и признавая в Яне Катю-Катюшу, мать часто говорила ей: «Н-н-не было греха. От н-н-начала и д-д-до конца, не было греха. Р-р-разные все люди. Х-х-хороший он был...»

Яша слушал это с тревогой и нежностью. Хотел понимать как оправдание Зине, той старой истории, которую по детству своему не заметил.

Хотел понимать и понимал именно так даже тогда, когда мать гладила его по руке и быстро, без заикания говорила немецкие слова. Не «хэндэ хох» это было, не «швайн» и не «ахтунг».

Яша отчетливо различал знакомое «их либэ дих» и частое — «игал вас комт¹». Различал и целовал ее осторожно, то в щеку, то в нос... Куда придется. Она улыбалась и вздыхала, как после слез.

Дверь, состоящая из семи ровных полосок бумаги, была теперь закрыта. Мать как камень, лежащий в основе мироздания. Особенно такого хрупкого, как у Левки. ... Мать как часть всеобщего страдательного залага. Так правильно? Так лучше? Если Леве так лучше...

К шестидесяти катились Яшины годы. Давно уже выветрился из головы язык, которым мерилась молодая жизнь. И деньги получили не только вкус, но и привкус. Привычный привкус унижения, в котором или ты, или тебя.

¹ Egal was kommt (нем.) — все равно, что будет; все равно, что происходит.

Майору Онищенко не перепало. Яша свернул бизнес. Сделать это было легко: торговля — не производство. Длинный обмен без серьезных обязательств.

К своему юбилею стал доктором наук. Уже без Маркса и без уверенности в том, что экономическая теория — это наука, которая может. Что-нибудь может.

Очередной новый мир, частью которого снова был Яша, весело отрицал прошлое. Не пригождались навыки. Родители все время оказывались более глупыми и неприспособленными, чем дети. Кто у кого должен учиться, чтобы идти вперед?

Яша хотел читать вслед за студентами, чтобы понять. Но оказалось, что читать нечего. Яша не был уверен, что хочет идти вперед. Вот так, налегке. Но Яна... Яна настаивала: шунтирование, водитель ритма. И инфаркт — уже не приговор. Точно не разрыв сердца.

Она говорила, что это хороший прогресс. И что он, Яша, своими торговыми деньгами дал ей возможность быть-оставаться врачом. И это большое счастье.

«Один грабит население, другой спасает, у нас с тобой безотходное производство», — отмахивался Яша.

«Ты не грабил!» — сердилась жена. — «Ты не грабил...»

А он смеялся. Вообще с Яной грустил редко. Был на месте и при деле. Читал спецкурс «Откаты как они есть». Официальное название, конечно, было другим...

А Лева так ничего и не сказал. И себе не делал раны. Не копал, не судил, и больше не писал Кате писем с требованием правды.

28

В Бризигелле купил картошки. И, на всякий случай, лука. Умылся в фонтане как под колонкой. Хороший такой, уютный, домашний, хоть и уличный фонтан. Удивился цветам — желтое, коричневое, оранжевое, снова желтое, розовое... Даже серые каменные стены умудрялись подцепить здесь яркие — красные или зеленые — двери и ставни. Подумал о том, что уезжать будет жалко. И будет сердиться Иван Николаевич, но не денется никуда, потому что Левкин у него масштаб вины. Неизбывный и бесконечный. И Яше от него — полезный кусочек. Открытые пока еще калитки, подъезды, ворота, парадные. Можно войти. Надо научиться, наверное, ставить уколы, следить за расписанием приема таблеток. Протертые супы, каши, паровые котлеты — это Яша уже умел.

Сорок секунд положено мужчине, чтобы понять, где нужно, а где не нужно. И взять нужное с собой.

У Яши теперь была женщина, о ней следовало заботиться. Баловать, кормить, защищать.

И была работа. Нормальная, человеческая работа. Грязная? Стыдная? Это, смотря чем брезговать и с чем сравнивать. Бывали у Яши работы и хуже.

В общем, хватило бы здоровья. Но расценки придется повесить.

Мария бежала навстречу по дороге, к которой тихонько, но с любопытством, сползали поля.

«Я думала, что ты меня бросил».

«Нет», — он покачал головой. — «Мы поедем картошки. Я уеду. И приеду осенью».

«На праздник груш?»

«На праздник груш. Но прошу тебя — никаких больше братьев. Пусть будут только девочки. Они смелые...»



Мария ПАНЧЕХИНА

/ Донецк /

* * *

В нашем доме так пахнет корицей,
 словно кто-то у нас родился.
 Вот и часики наручные пошли быстрее.
 Ну и что? Мы никогда не постареем.
 Лишь засмотримся в соседское окошко
 на свое отражение, на свое отторжение
 и застынем на миг в неловком движении —
 так же, как когда-нибудь наши дети.
 Дети, которым захочется от меня и тебя
 одиночества. Этим все и закончится:
 пыльной квартиркой, пятым этажом
 и вечной Аннушкой, изъеденной коростой.
 А ведь это было так просто: разбить стекло
 и идти за тобой по воздуху...

ВСАДНИКИ

Может быть, и не было. Медленное движение
 все же лучше, чем смотреть несколько дней
 на уходящую воду с отражением неба в ней.
 Скорей всего, я не найду предлога рассказать,
 какой бывает дорога, если ее ищут твои глаза,
 лишённые блеска, каких-нибудь признаков еще.
 Есть просто два темных облака. Твое плечо.
 По никому не известным правилам наши пути
 расходятся на малорусских окраинах.

* * *

Только в этом и есть вся соль:
 Грэй ничего не выловил к ужину.
 Он положил под язык жемчужину:
 мол, я же — старик. А значит,

ко всему привык. Даже к тому,
что паруса выели глаза
и стали того же цвета, что и небо.
Может, и не было бы так больно,
если бы не здешние —
в рост девичий —
волны.
Да еще и вечный дождь, всегда косой,
словно рядом смерть со своей косой.
Оставайся всегда молодой, Ассоль.
Четверть века спустя я покинул тебя.
И у берега моря вместе с тобою
стала белеть соль.

* * *

Молчаливое тонкое дерево склоняется надо мной,
это почти печаль, и нельзя поднять голову, потому
что тело становится очень гибким, как будто тут и
вовсе не человек, а круг...
...Ты так боишься, что листья
шепчутся о тебе, и хочешь им крикнуть: «Летите», но
снова становится пусто, и звук превращается в ноль.

* * *

А случись потоп — что потом?
Топот по холодным полам.
Это мы пополам расходимся —
так, что комната дает крен.
Затем исчезает все вообще.
Есть только ковчег и водоворот.
Отворяй ворота, Господь.
Вот они, линии бесконечные, —
Наши четыре руки бесколечные.

* * *

Вот и все, Габо. Вот и все.
Теперь стрелочник не верит своим часам.
Посмотри по сторонам, сосчитай метры.
Из самой большой русской деревни
я отправляю к тебе красную карету
с рекламой кока-колы в знак того,
что год закончился. А может, годы.
Будут глядеть изумленно на эту карету
дети, лесные звери, голуби и змеи.
Пусть замерзнет с ними, живыми еще пока,
прозрачная река человеческого языка.



Светлана ЗАГОТОВА

/ Донецк /

МАЛАЯ ПРОЗА

* * *

Дни идут, как чужие войска, наступают. Непрерывно захватывают территорию твоего тела. Дыхание рвется. Смыкаются связки. Что это? Экстаз? Оргазм? Кислородный коктейль экстази? Тебя сжимает неотвратимая Любовь Бога.

Сопротивление бесполезно. Как остановить врага, который — Любовь?

Как остановить сокотечение жизни?

На карте тела новые координаты. Сердце выпрыгивает из границ.

Сохнет, сохнет цветок. Вот и песня твоей души уже гербарий.

Сухое время в сухом остатке.

Голограмма

Не могу никак отыскать себя среди голограмм. Сегодня праздник — день объятий. Можно любую мысль в себя впустить. Например, эту: может, сегодня тебя, наконец, кто-нибудь приметит и обнимет, а? Не буду полниться важностью, опытом — выпущу из себя субъекта, пусть побегаёт, порезвится. Стану объектом — неизвестным, пустым, свободным.

День-то какой хороший сегодня. Вот и человек к тебе близится — настоящий, румяный, босой. Глаза, пальцы, пять — механически считаю. Улыбается, теплый, руки к тебе тянет. Я навстречу — идет сквозь. Обращиваться нет смысла. Не Хэллоуин вроде. Объем страха не вместить ни в какие объятия...

Вселенная тоже, говорят, голограмма. Вот и я, мизерный пиксель, пытаюсь встроиться в предначертанное мне место, но постоянно смещаюсь, выпадаю и порчу графическую картину мира. Где тот, который подскажет, какую мне форму принять, чтоб никого не придавить и ничего не испортить?

Диктатор

1

Рот его кривится, плечо подергивается, позвоночником пробегает судорога.

Естественная реакция на проблему, эпицентр которой в себе упрям. Не видит. Смотрит наугад. Ищет. Глаз его так устроен. Вверх, вниз, вдаль,вширь. Орбита глаза функционирует на все сто. Не хватает только одной функции — соскока вглубь. Слабое крепление души. Но это не тот случай, когда душа в пятках. Там есть шанс подняться. Здесь же она срывается мгновенно под тяжестью злости, распадается, растворяется и несется с потоком крови, проникая сквозь ткани. Атомы пузыряются. Действовать нужно немедленно. Тезисов полон живот.

И проблемка-то, так себе, а мешает, зараза. Будем устранять. Ножом можно, можно пулей, а можно тротилом. Последний вариант наихудший, он может осеменить и размножить ее. Но душу все равно не собрать.

Глаз мутнеет. Распустившаяся душа закрывает проблему.

2

Он плачет. Слезный грозный дождь покрывает город. Смертельные капли — маленькие звенящие бомбы — музыкальная отдушина для диктатора — игра на ксилофоне.

Учимся ходить между каплями.

3

Он смеется. Мушка прыгает. Цели нет — случайные транссирующие пули. Багряный фейерверк, гори все огнем.

Идем по убитым.

* * *

У меня никогда не было отца. И вот он умер. И теперь у меня есть отец. Иду за гробом. А все пальцами тычут: дочь его, это — дочь.

Смотрите, у него была дочь.

Значит, я БЫЛА, а он ЕСТЬ. Так кто же все-таки умер?

Потерялось ВРЕМЯ. И нет его теперь с нами. Может, это его и хоронят?

Пусто... В какую реку теперь войду? В который раз?

* * *

Огромная дикая птица падает с неба и, распустив свои пестрые крылья, меня погружает в траву и притирает к земле. Перья цветные скрывают вину и ее, и мою. Жадно живот мой ее принимает движенья, рот мой дыхание ловит ее и вовнутрь заточает. Дышит судьба, приближая меня к озаренью.

Птица целует глаза мне в безмолвном экстазе, клюв свой кровавая...

Теряю цвета и оттенки: красный и черный уходят, зеленый сливается с синим, желтое облако света золотом истины брезжит...

Мирно с земли поднимаюсь, встряхнувшись по-птичьи. Знаю, куда я пойду — ни тумана, ни страха.

Осень таится, как мать, подглядевши случайную сцену.

Далекое сверкающее

Смерть, как украденное золото, далекое, сверкающее, таинственное, чужое. Так в детстве было. Глаза слепило до слез. Умер человек — чужой, неблизкий, просто жил по соседству. Оплакивала, как большую потерю. Что-то сдвинулось, сместилось. Из настольной игры исчез один кубик, и в доме, который нужно было достроить, не закрылась дыра — жизнь оказалась провальной. В эту дыру проваливалось все — велосипед, на котором он ездил, а я уступала ему дорогу, запрыгивая на бордюр. Два кривых обнявшихся дерева, возле которых он каждый раз останавливался, просовывал между ними голову и показывал мне язык. Может, и не мне вовсе, мы-то всегда гуляли гурьбой. Теперь велосипеда нет, и я могу спокойно идти по той самой дорожке, но всегда по инерции почему-то запрыгиваю на бордюр, будто он все еще едет. Иногда мне кажется, что я даже знаю, с какой скоростью он едет, и как притормаживает возле меня, чтоб не зацепить случайно и не утащить в свой таинственный мир...

Прошло много лет. Смерть так изменилась. Она уже не слепит глаза. Она избыточна в толпе. Дурно одета. Постоянно торопится. Мимоходом раздает пригласительные, где подтверждено, что все действительно состоится, бесплатно, сегодня. Нужно только переступить черту. И в домах ее много. Кровь с телеэкранов выплескивается наружу, и в жару на лицах детей и взрослых проступает кровавый пот.

Можно, конечно, утереться или включить кондиционер, а потом затеряться во сне. Не забыть бы только принять снотворное...

И вот еще что. Почему-то ни по ком никто не плачет. Неужели все уверовали в бессмертную душу? Может, и правда, ушедший не спустился в Аид и не взошел на высоту небес, а просто, уходя, матернулся и громко хлопнул дверью.

* * *

Она читала. Разное. Топталась по чужим мирам. А там, как в космосе — своя материя, свои координаты, своя скорость.

По *Широкому* бегала-бегала, кричала-кричала — никого.

С *Гладкого* соскользнула в воду — ушибла коленку — и вся глубина.

В *Узкий* вползла. Признали Змеей. Змеей почетно. Не червяк все-таки.

И цветовая гамма, если это мир не дальтоники. И не брать — отдавать, если на тебя наступят. И не левую щеку — нет — яд.
Яд за знакомство! За вздернутый нерв! За кровное родство!

Диптих

1

Как будто жизни нет. Не вспомнить день вчерашний. Течение света и качанье смысла от радости к отчаянью.

Вчера была среда. Среда для обитанья моего растрепанного существа.

Сегодня нет среды и в кранах нет воды. Откуда ж новой зародиться жизни?

Бесплодный океан надежд бесплотных порождает духов, недобрых духов.

И мы — бескрылые — летим за ними и пятки разбиваем в кровь.

Печать чужой судьбы. Кровавые следы истории в глазах моих.

2

Да, жизни нет. И только мысль о жизни еще жива.

Животный страх «не быть» — не бычий вам энтузиазм на красный налетать предел. Предательство, которое повсюду растворено, уже как воздух. И легкие, хотя и тяжелеют, глотают мзду, согласные дышать.

А кислый род потомков помянет кислород и тост подскажет невозмутимым иллюзионистам.

* * *

Сидела я под деревом в тени и всем, кто есть, стихи свои читала. Делилась мыслью, как краюхой хлеба. Хотелось мне от голода спасти Тебя, Её, Его, кого-нибудь.

А он стоял с протянутой рукой, а брать — не брал. А есть хотел ужасно. Не я, не я могла его спасти. Но я ему голодному — преграда — пошел бы дальше, но идти не в силах, съедобным пахнет.

...И маленький зелененький листочек упал мне на ладонь. Родился...
Понял все и тут же умер.

* * *

Зашел в дом. Богато, чисто, чинно. Нарочито богато, удручающе чисто и мертвецки чинно, как в хорошем гробу с тупыми углами.

Надо бы плюнуть, или уронить на пол соус, или прожечь сигаретой гардину, чтоб все рассвирепело, задвигалось, потекло, раскраснелось и вздыбилось. В общем, ожило, заострившись.

* * *

Бедного чиновника всякий обидеть может своим высокомерием. Ну не читал я вашего Джойса, зато Пушкина знаю в лицо. Да. Стрелял.

* * *

Полюбили друг друга разными красками. Поженились очень сильно. Живут при температуре + 2 ребенка с выходом в окно.

* * *

Вдохнул чужого надушенного счастья — потерял сознание.
Скорее под выхлопную трубу своей судьбы.
Очухался. Жить будет долго.

* * *

Все круглое наполнено смыслом, даже круглый дурак.

* * *

С неба упала звезда. У меня оторвалась пуговица. Ты зажег новую звезду. Я пришила новую пуговицу. Общие у нас с тобой заботы, Господи!

БРАТ БОГА

Раньше Геннадий не любил подавать. Ну, не животные же они, ёлы-палы, чего ж приручать. Дома собака, сука, другое дело. А эти... Корми не корми, а защищать тебя не станут, вдруг чего. И никого не порвут за тебя из благодарности. Да и чем рвать-то, Господи! Гляньте, стоит, улыбается во весь свой беззубый рот. Ждет, кобель, божественной любви. А работать не идет. Не понимает, как это... Спрашивал у него несколько раз, не понимает. Нету ему другой работы в этом мире, как у церкви стоять. Так рассуждал Геннадий всего несколько дней назад. Путь к дому его лежал через Кафедральный Собор. Ходил, ходил, многократно ходил мимо. Сокрушался, осуждал, не крестился, не заходил. Не привык без приглашения.

Накануне узнал, что его близкий друг предал его... отдал, иуда, секретные материалы фирмы чужим: весь учет, двойную бухгалтерию, веселые видео с вечеринок. Одноклассник, друг детства, брат. Ночью не мог уснуть. Наконец, провалился куда-то, но в сон не вошел и от яви не оторвался. Чувствует, будто кто камень на сердце укладывает. Он сбросить его пытается, а камень не поддается, и не тяжелый вроде, даже мягкий какой-то, теплый, как глина, а вдохнуть не дает. Геннадий застонал от напряжения и тут же заплакал. Сначала тихо, потом чуть громче, мелко так, отрывисто, будто и не плач это, а лай. Даже мысль во сне промелькнула, что и не он это вовсе плачет, а собака его погибая. Только мысль эту во сне зацепил, так и зарыдал в голос, как по покойнику, отчего и проснулся около половины пятого. Сел на кровати, осмотрелся, все про-

исшедшее прокрутил внутри себя, как киноплёнку, и поплелся в душ... А чуть позже начались угрожающие телефонные звонки и странные ругательные сообщения. Их оказалось много. Оставаться дома становилось бессмысленно. Геннадий быстро оделся и поспешил в офис. Он не собиравшись нигде задерживаться, потому шел крупным шагом, одна нога переносила другую. Казалось, что вот-вот он разбежится, оттолкнется и прыгнет в длину. Был ведь когда-то чемпионом школы по легкой атлетике. И вдруг колокол ударил. Помнил, как остановился. Что было дальше — объяснить пошагово не смог бы никогда. Что-то накатило, подняло ударной волной, не заметил, как внутри оказался. Молиться не молился, просто стоял. Долго стоял. Уже народ к исповеди потянулся. Хотел было развернуться к выходу, не дает что-то. Вроде как ботинки к полу приклеились. Ладно. Согласился еще постоять, да и не трудно это, — подумал. Вдруг слышит, в голове монеты зазвенели.— С чего бы это? — подумал Геннадий. Деньги у него были везде — в банках, сейфах, на карточках, в тумбочках. В голове — не было. Вернее, они были... Но не звенели так нахально. Время шло. Звон не прекращался. Господи! — произнес Геннадий первую в своей жизни молитву. — Это что, на всю жизнь?.. Геннадий четко знал, что молчание, а не звучание — золото. А тут... Что же делать мне с этим? — спросил. И не поверите, сразу же получил ответ. Знающие люди говорят, что новичкам везет. Им Господь отвечает без промедления. Имеющий уши, да услышит. А уши у Геннадия были большие, за что в детстве натерпелся, особенно от девочек. А злее всех была ОНА, та, его злая мечта, любовь первая и единственная. Она, конечно же, стала его женой, когда учуяла запах денег. Да пахнут они, еще как пахнут. Не всякому только чуют дано. Особое женское обоняние иметь нужно. А она имела. Дивный такой аромат, неживой. Шлейф несколько лет тянется...

— Что делать, спрашиваешь? В общем, услышал Геннадий ответ Господа:

— Избавляться от них надо, Геннадий, что тут думать.

— А как?

— Как, как... Не спеша. Сначала начни подавать.

— Кому? Этим, что ли?

Так и вышел с вопросом. Огляделся вокруг. А выбора-то нету, других просящих поблизости не видать. Тут эсэмэска пришла. На счет деньги поступили. Доход растет — голова звуками новыми полнится, хоть композитором становись. Что тут делать? Эх, была не была! Подошел к этому, с бурой кожей, лапшу на уши вешать ему не стал, так слегка манной осыпал, звон стал на полтона тише. Действительно, в голове все еще звенело, но уже помягче. Гляди-ка... Правда твоя, Господи! Геннадий сразу распрямился, потом еще и еще, обернулся вокруг себя, потянулся макушкой к солнышку. И вдруг что-то в ребро кольнуло — Богом себя почувствовал. Ну не самим, так братом его. Ну не родным, так сводным. Словами объяснить не мог, но душой родство ощутил. Во дела... В душе просветлело. А в родстве с Богом-то быть приятно, — подумал. И даже интересно. Куда этот бурый мужик подевался?.. Разделить с ним захотел свою радость, а того уже и тени не видать.

Побежал по следу.

А тот телепортировался мгновенно в угловой магазин, лбом к прилавку приник, в этикетки, как в иконы, всматривается, благодарит.

Геннадий шире душу распахивает, карманы выворачивает, в подземный переход спускается, ищет нищих. Как на кастинге, отбирает, одаривает. А монеты в голове уже не просто звенят, а в композицию стройную складываются. У Геннадия слуха-то никогда не было, а тут запел. Ходит и поет, будто счастлив. Хотя чему тут радоваться? Что-то не складывалось последнее время с деловыми партнерами. Может, темная сила какая вмешалась. На его доходах это пока не отразилось. Но тучу над ним уже повесили. Календарь настенный недавно подарили, а там чуть ли не на каждой странице туча. Взорвется туча дождем или градом по башке наступит — неизвестно. Секретарша уже несколько раз звонила. Дело к обеду. В ресторане с партнерами договорился встретиться, не опоздать бы. Заходит в зал. Стол накрыт. Встречают. — Что это с тобой? Ты будто ростом повыше стал. И улыбаются.

Да есть такое, — отвечает. — Растем. — Ой, не к добру вся эта радость, — сам думает.

— Что ли, секрет какой знаешь?.. — спрашивают.

— Ага. — Геннадий немногословен. Да и к чему слова, когда такая музыка внутри. — Эх, эх, — думает, — слышали бы вы, как монеты, сначала заполнившие голову до отказа пирамидной горкой, вдруг выстраиваются в лады и превращаются в ноты. Звон их становится тоньше, это уже не монеты, а поющие золотые нити.

— И-и-и, а-а-а — Геннадий не замечает, как он вытягивает из головы пару звенящих нот, открывает рот и выдавливает их наружу.

— Во дает! С чего бы это?

Льется вино. Пьется вино. Геннадий опрокидывает за бокалом бокал.

— Куда торопишься? Мир из виду потеряешь? — Смеются. — А рано еще тебе теряться. У нас на тебя совсем другие виды. Мы вот устрицы заказали под винцо твое любимое. — А сами бумаги какие-то на подпись подсовывают.

— Устрицы? И тут пред очи Геннадия является официант с подносом. А на нем в домиках— раковинах своих в ожидании обоюдного смертельного восторга, расширяя жабры для предстоящего вокала, трепещут устрицы.

— Подавать? — спрашивает. — Что? — переспрашивает его Геннадий.

— Подавай, подавай, не раздумывай — партнеры ожидают привычных эмоций. А Геннадий вдруг весь уменьшается в размерах от этого «подавай», как будто иглой кто проколол, лопается, как шарик, «божий» дух испускается, золотая музыка в голове смолкает, и он чувствует себя перевертышем, таким же бурым и пьяным нищим, которому «подают», какая разница что, но «подают». Подают каких-то вздыхающих о своей судьбе, поющих последнюю липкую песнь моллюсков. Он, не читая, подписывает бумаги, затем берет моллюска, подносит к носу. Удаляет его на определенное расстояние, берет нож, ловко вставляет его и раздвигает створки. Снимает пленку. Он делает это уверенно, как хирург, ведущий

далеко не первую в своей жизни операцию. Быстро берет лимон и вспрыскивает аскорбиновую инъекцию в раковину. Устрица съезживается, вздыхает, благодарит за обезболивание.

— Живая! — произносит грустно Геннадий и открывает рот — этот грот, живой гроб, всасывающий в себя дышащее неприглядное тельце...

Время останавливается. Геннадий никого не видит вокруг себя.

— Не плачь, — говорит он устрице, — ты ж не одна такая. У тебя есть я, и я люблю тебя. Понимаешь, я тоже устрица, пьяная устрица. И меня тоже скоро съедят. Подкормят немножко, подпят, раскроют створки души моей, и проглотят живьем, понимаешь, даже мертвой водой не взбрызнут. Люди... они такие. — Тебя как зовут? Устя? А мою жену Милкой зовут. Только Милка не моя, чужая. По судьбе другая прийти должна была. Нетерпелив был, не дождался. Прости меня, Господи! И крестится. Устя вздыхает: — Чужая? Уйдет, значит. Только от денег избавишься, и жена мучить перестанет.

— Я тоже так думаю. А давай, споем? Говорят, в былые времена, ты всегда пела перед смертью или все это неправда? Что? Не пела, а пиццала? Давай попищим на пару? Разобьем звуками зеркало и убежим в другое измерение. Туда, где не едят людей и устриц, где никто не падает и никому не подают...

Молчишь?.. Геннадий уронил голову на стол.

За столом было до странного тихо. Оставшиеся без внимания устрицы дышали не своей смертью.

КРЕСТНАЯ

Все в мире стремно и экстримно...

Да, именно эти два слепорожденных слова первыми заглянули в мою голову ранним весенним утром. Ощувив их горько-соленый вкус, я механически положила в чай на одну ложку сахару больше, чем обычно.

Я не собиралась ехать на кладбище. Как там говорил Кастанеда: «Но что-то вне нас определяет рамки нашего решения». Хотя какие у меня могут быть рамки? Собственно, как и у всех, — черные — дальше смерти не уедешь. Но это... (философия?), (черный юмор?).

Вы меня только правильно поймите, — белело доброе утро, мне было хорошо и радостно, быстро всходило солнце, где-то в районе солнечного сплетения кувыркался оптимизм, на всех этажах пели краны — рок, рок-н-ролл; чистые мысли и чистые люди вот-вот должны были выйти наружу, в свет. Мне так хотелось догнать их, потрогать, сказать, что сегодня я с ними, что рада их существованию, что они уже не мешают мне жить, и много другой восторженной чепухи.

Сказала ли я им это? Нет! Вдруг пришла случайная мысль, что более пяти лет я не была на кладбище у своей крестной. Стерся верхний слой суеты, как будто некий художник приступил к реставрации моего сознания. Что у тебя с памятью, девочка? — спросил он.

— Не помню, — сказала я.

Оно (кладбище) было в другом городе, но это меня не оправдывало, и масло, которое я наносила год за годом на один из участков памяти, с болью трескалось. Трещин становилось все больше и больше. И когда на них падал свет...

Вы меня, наверное, понимаете? Вы ведь знаете, как печет память, когда высыхает жизнь.

Доехала я очень быстро. Открытые ворота, пятница, тишина, безлюдье. Птицы... Странно громко и радостно пели птицы. Что-то выщебетывали в одиночку, не хором...

И совсем не страшно, совсем не страшно. Почему я всегда боялась привидений и кладбищ? Учили меня, учили — бойся живых... И живых я тоже боялась. Какой-то генетический, необъяснимый страх, будто и вправду в прошлой жизни меня убили.

А здесь хорошо. Не как у Стивена Кинга — нет покойников ни на входе (хотя ворота гостеприимно открыты), ни на выходе... из могил. У-у-у-у!.. Никто не пугает. Так все приветливо, по-домашнему, как в старом городе или деревне. Кладбище-то на самом деле старое... и огромное.

Найду ли я без посторонней помощи могилу крестной? Э-эй!.. Никого...

Так и пошла по прямой, ухоженной и достаточно широкой дороге. Просто пошла и все. Хотелось освоиться, осмотреться, вспомнить. Шла недолго. И тут как в сказке: откуда ни возьмись, мальчик лет десяти.

Удивительно. Ни испуга, ни страха — ровные, как дорога, эмоции, как будто это сын мой — погулял и вернулся.

— Что это у тебя? — спрашиваю.

— Это?.. Ружье!

— Настоящее?

— Почти.

— От покойников, что ли, отстреливаешься?

— Да нет, цветы поливаю. Оно водяное.

— Интересно... Поможешь мне одну могилу найти?

— Да хоть две.

— Две мне не надо.

— Тогда пойдемте в дом.

— Дом — это тот, что у ворот?.. Я заходила — там нет никого.

— Отец сейчас придет — они памятник устанавливают.

— Значит, ты здесь главный?

— Он!

— Хорошо.

Кто он? Директор, смотритель, начальник, заведующий? Каким еще словом можно обозначить должность, применимую к такому важному делу — присмотру за мертвыми?

Пришел, помог. Худой, добрый, голубоглазый, внимательный, ясный. Не темный человек заведует кладбищем, а ясный, понимаете?

Мальчик пошел со мной.

— Оградку красить будете? — спрашивает.

— Буду.

— А можно мне?

— Можно. Но чуть позже. Помянем крестную сначала: держи конфеты, а я выпью.

— Ей налить не забудьте.

— Конечно.

Достала рюмки, наполнила их вином. Одну, как и полагается, установила на гробнице, хлебушком сверху прикрыла, закрыла глаза, молчу.

— Плачете, что ли? Она ж сто лет назад умерла.

— Не сто, а десять.

— Понятно.

Выпила, поела, стою — птиц слушаю. Одна маленькая, юркая, носом хлеб клюнула, вином мордочку намочила.

— Смотри, — говорю, — тоже поминает.

Мальчик нисколько не удивляется:

— А здесь много пьяных птиц.

— А может, это и не птицы вовсе, а души умерших, — скучают, слетаются послушать, как мы живем, почему не поем. Им почему-то хочется попеть вместе с нами, но не получается, потому что у НАС не получается, потому что не все звуки, которые они издают, способны принять наши уши.

— Слышал я эти сказки, — мальчик ускользает от скучной информации, как ужонок от сапога.

— Давайте уже красить будем.

— Давай.

— А мать твоя где?

— В роддоме она.

— Братика ждешь или сестричку?

— Да нет, — акушерка она, — это она всех ждет.

Вот тебе раз... Меня будто током ударило...

Значит, мать встречает, а отец провожает, понимаете? А посередине должна быть жизнь. Но как же ей тогда разместиться и как наполниться? Неужели она и вправду маленькая... совсем...

Странно, почему Господь спешно решил рассказать мне об этом, зачем? Сегодня он отправил меня на встречу с мальчиком, чтобы я поняла... что? Что между рождением и смертью лишь микросекунда или есть еще и меньшая единица времени, которая недоступна нашему пониманию? Или времени нет вообще, а мы, не привыкшие жить без удобств, без стульчика, на который хочется присесть, придумываем что-то, считаем, исчисляем.

Рождение и смерть в один день по несколько раз в одной семье!!!

Какое-то сгущенное пространство. Ацидофильное молоко. Вроде тянется, даже течет, и в то же время нет его.

— А ты кем будешь, когда вырастешь, мальчик? Наверное, врачом? Непонятно почему спрашиваю я.

Хотя понятно, — мама вносит нового человека в жизнь, жизнь берет его, укутывает (опутывает, обхватывает) и куда-то несет, — путь видит, а дороги не знает, и на одном из участков этой неведомой дороги человеку может понадобиться врач, а папа тем временем пусть себе ждет, когда...

— Врачом не хочу. Военным буду.

Действительно, почему врачом, чего это я пристала к ребенку. Не будет же он отца родного работы лишать... Но такая мысль вряд ли может попасть в голову мальчику, разве что в виде пули, когда он станет военным и будет отправлен к чужим защищать своих...

Посмотришь на мир и кажется, что живых больше, чем мертвых, а задумаешься... Сколько веков прошло. А может, не стоит думать...

Мальчик старательно красит оградку, дует легкий ветерок...

Какое-то странно радостное ощущение наполняет грудь, как будто я не на кладбище, а в картинной галерее. И нахожусь не возле картины, а спокойно перемещаюсь внутри холста. Надо мной как небо — Тициан... Двое малышей спят, обнявшись, как котята. И не мерзнут, потому что сон их охраняет ангел — такой же маленький, но не дремлющий — нельзя ангелу дремать, согласитесь, ведь всегда найдутся желающие отнять у тебя сон. Почему-то хочется подойти и погладить их. Но ангел... я вряд ли смогу формализовать свою мотивацию, я просто не смогу этого сделать в формате холста. И я молча двигаюсь дальше к влюбленной паре. В руках у девушки две тростниковые флейты... или сиринга? (Две захватывающие музыки любви)... Тициан разъединил ее специально?.. Юноша опечален. Чем? Тем, что искусствоведы пишут, что он и она — кульминация жизни? Значит, высшая точка перед развязкой, тот самый пик — любовь?.. А жизнь — это смерть (сама развязка). И... страшная догадка... юноша знает это. Он понимает, что любовь не вечна, что она не до гроба...

Сначала я подумала, что здесь Тициан должен был разместить немолдую пару. Но потом поняла, что так куда трагичней. *Аллегория трех возрастов*. Потому и старик с запасными черепами (простите за вольность) — третий возраст.

Любовь есть, жизни — нет, есть только *жизнь-смерть* и ее запахи. *Жизнь-смерть* никого не пугает — ни тех, кто рядом со мной, ни тех, кто внутри холста, ведь у них у всех есть я, а значит, они все-таки живы. Может быть, их и нет, но они все равно живы... они если и захотят, то не смогут умереть на моих глазах... потому что я упрямо перемещаю их по жизни, пользуясь телекинезом, я двигаю их силой мысли. Похоже, они нужны мне. Они падают, а я поднимаю их снова. У меня это пока получается.

Но даже если не получится, они все равно не умрут, ведь я знаю одного доктора... я позову его, и он...

Вы тоже думаете, что он придет?..

Александр САВЕНКОВ

/ Донецк /



ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Апрель истачивал снега...
С землей, налипшей на подошвы,
хотелось броситься к ногам
цветущих верб,
грошовым прошлым
вплотную стоя к сорока...
А день струился чист и значим,
и небо в редких облаках
лакал из лужи пес бродячий.

СКВОЗЬ РЯДЫ ВЕЧЕРНЕГО КОНВОЯ

Брату

Падал снег...
На темный сад строений,
сквозь ряды вечернего конвоя
падал,
не отбрасывая тени,
высотой отвесной — на земное,
падал
так безропотно, безмолвно,
так по-детски смешиваясь с грязью...
Падал снег...
И напознала полночь
на идущих уличную вязью,
на осин последние наряды
у оси застегнутых подъездов,

на огни гирлянд, фасады, взгляды,
тихо оседающие в бездны...
Падал снег...
На города и веси,
как безумство, — спрашивать у пыли:
и о чем молчат слова их песен,
и как много в сказках черной были,
над которой
плавниками Млечный
в темноте, не помнящей запретов,
их сердец перебирает речи,
как осколки тающего света...
Падал снег...
Бездомно, безымянно,
падшему понятный с полуслова,
падал,
как единственная данность
дня сего от Рождества Христова...

ЖЕРТВА

У сорванных цветов дыханье чище,
чем у растущих на стеблях обвислых:
так пахнет дождь над свежим пепелищем —
стихию, наполненную смыслом.

У сорванных цветов понятней жесты —
у них уже нет времени лукавить:
стоят, как неизбежного невесты,
и отказаться от него не вправе.

У сорванных цветов уже нет шанса,
как есть у нас с тобой, — начать сначала...
И вянут лепестков протуберанцы
и опадают на паласы в залах.

У сорванных цветов прозренья тоньше:
так проникают в суть, не вскрыв конверта,
так постигают: путь земной окончен,
так умирают с верою в бессмертье.

Их голоса молчанье не нарушат,
и по спиралям восходящей боли
их маленькие праведные души
уносятся в мир белых колоколен.

ВЕЧЕРНЕЕ

...Время слиянья вещей с темнотою
в танце изнанок и звезд,
между дневной и ночной слепотою
ветхий висячий мост,
жертвы вечерней, оплаканный дочиста,
камень в ее основании,
вечер и есть моего одиночества
способ существования.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Нескорбный и нехитрый труд —
для милых гнездышек и лежбищ
отсрочить жизнь на час, на круг,
на шаг назад, чтоб все — как прежде:

и день воскресный, и в дому
ведут на кухню все дороги,
и память прячется в дыму,
том самом, сладком, босоногом,

и доевангельским дитем
бредет в степи, глядит закату
в глаза, горящие огнем,
рвет волчьи ягоды и мяту

и рвется в дальние края,
сучая за вечерним чаем,
покуда ангелы кроют,
пока сапожники тачают...

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАМВАЙ

Трамвай, ползущий по кольцу
с одушиной ночлега,
похож на сонную осу,
присыпанную снегом:
торчат из сердца провода
и ржавые скрижали,
и ты не знаешь никогда,
когда оса ужалит.

Слегка кружится голова
от непривычных звуков
привычной жизни, звук в словах
безжизнен, словно руки
у пугала — наперекос
движенью, где неловко
упал февраль под сталь колес
больничной остановкой,
где переполненный трамвай
наигранно-учтиво
по мертвым колесит словам
прелестной перспективой,
смеясь и пряча черный смех,
как нищий — корку хлеба,
как темень — в белоснежный мех
глаза живого неба,

где сам я двойствен, как дыра
комичного в трагизме,
где страху смерти равен страх
прожить здесь дольше жизни
хотя бы день — любой момент
возни глотая пиццей,
дерзнуть вчера не умереть
и не ожесточиться.

СТРАННЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК

Светлой памяти матери

Странный печальный мальчик
чашку с горячим чаем
к сердцу прижал и плачет,
ближних не замечая...
...Сколько ему?
По глазам — уже тридцать.
Страшно подумать, что, может быть, сорок.
Время крадет наши детские лица,
но нет
и не будет
вора, чтобы из сердца —
любовь пуповинную...

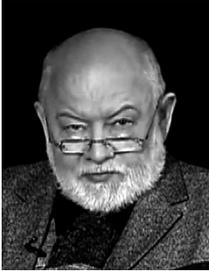
Две вещи воспринял он,
как мужчина:
то, что бывают холодными ночи
и длинными,
и то, что сегодня — ее годовщина.

Странный печальный мальчик
чашку с горячим чаем
к сердцу прижал и плачет:
«Чаю воскресения, чаю...»

* * *

В подстаканнике — крепкий сон,
на стекле — чешуйка луны,
два дыхания в унисон:
виновато и — без вины.

Ночь как ночь: голова да хвост —
поезд сонной ползет змеей,
да часовенка, да погост,
разделенные колеей.



Виктор ШЕПИЛО

/ Донецк /

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Ночь на двадцать седьмое декабря выдалась снежной и морозной. Федор Иванович приехал в поселок последним автобусом. Постоял, огляделся и, расспросив попутчиков, двинулся по темной улице в гору. Идти было тяжело: в одной руке чемодан, в другой сверток, а под мышкой торчал зачехленный шест. Но Федор Иванович шел быстро, поживаясь от встречного лобового ветра. Миновав два переулочка, он увидел по левую сторону большой двор с качелями и ледяной горкой. «Сюда», — подумал Федор Иванович и, отодвинув калитку, стал пробираться по заметенной тропке к крыльцу особняка. Поднявшись на ступеньки, он вздохнул с облегчением, нажал кнопку звонка, прислушался — никто не отзывался. Тогда он позвонил несколько раз подряд. Никаких признаков жизни. Странно. Федор Иванович стал ходить вокруг дома, заглядывать и стучать в обледенелые окна.

— Кого там лиходея принес! — послышался хрипучий, явно разбуженный, голос.

— Наконец-то! — обрадовался Федор Иванович. — Сторож! А я уж отчаялся совсем...

— Да кто это? — спросил сторож.

— Я! Дед Мороз! Открывай!

Федор Иванович побегал к крыльцу, взял вещи, ожидая, что сейчас скрипнет засов, откроется дверь и он окажется в уютной, жарко натопленной комнате с настольной лампой и мягким диваном. Федор Иванович отогреется, выпьет три стакана чаю — не меньше — и сладко уснет под пение ветра за окном... Но сторож не выходил. Федор Иванович позвонил опять.

— Эй, где вы там?

— Извиняюсь. Чего надо-то? — не сразу отозвался сторож.

— Я обещал к десяти, да автобус в дороге буксовал, — начал объяснять Федор Иванович.

— Кому обещали?

— «Кому-кому»! Заведующей, Марье Антоновне.

— Она здесь не ночует. Бывает до семи. Иди к ней, товарищ дорогой, а здесь нельзя.

— Да вы что, в кошки-мышки со мной играете! — дернул за дверь Федор Иванович. — Предупреждала она, что я приеду из города?

— Ни о чем она меня не предупреждала.

— Быть не може-ет, — сказал Федор Иванович и тихо осел на чемодан.

— Ну, я вас не знаю, говорю как есть. Пошел я, холод в коридоре.

С этими словами сторож зашаркал в тепло.

У Федора Ивановича зазвенело в голове. Вот уж чего не ждал! Вот уж угораздило!

Федор Иванович Дементьев был актером драмтеатра. Несколько дней назад ему позвонила заведующая поселковым детсадом и попросила провести у них новогодние утренники. Она сказала, что его порекомендовали как лучшего Деда Мороза. Федор Иванович отказывался, говорил, что далеко ехать, вдобавок он занят в предновогодние дни. Тогда заведующая принялась звонить домой, объяснять его жене, в каком безвыходном положении детсад — местный Дед Мороз потерял шубу, валенки и сценарий, — поэтому их может выручить лишь настоящий профессионал. Жена поговорила с мужем, затем снова позвонила заведующая, и Федор Иванович сдался. Но с заведующей был договор, чтоб ему рано не вставать и не тратить силы на дорогу (впереди трудный день), он придет накануне вечером, переночует в детском саду, а наутро начнет представление по группам.

И вот Федор Иванович приехал. Он ходил по двору, не зная, куда податься. На часах без четверти двенадцать. Возвращаться домой? На чем? Поселок в стороне от трассы. Проситься в чужой дом? Времена теперь другие. Странники перевелись. Как же быть? Как же быть, соображал Федор Иванович, чувствуя, что изнутри уже выпирает злость. И он принялся колотить кулаком по двери.

— Еще не ушел? — опять же не сразу послышался хриплый и уже более строгий голос.

— Куда ж мне идти? Слушай, дядя, поверь мне на слово, пусти. Будь человеком, наконец!

— А ты на мое место встань! — фальцетом вырвалось у сторожа. — У нас тут всякое бывало... Орсовский ларек кто зацепил?

— Ну и фантазия, — вздохнул Федор Иванович. — Телефон у вас есть?

— А как же.

— Так позвони заведующей!

— Не получится. Телефоны по заведениям да у начальства.

— Ой, долго я тебя буду помнить, — сказал Федор Иванович, зная наверняка, что старика не уговорить. — Где хоть заведующая живет?

— На Ломоносова улице.

— Это далеко?

— Возле хозяйственного магазина.

— А номер дома?

— Не помню. Я раз всего был, с завхозом гардероб привозили. Не то восьмой, не то двадцать четвертый.

— Ну, баламут. Куда ж мне деваться? — скорее у себя, чем у сторожа спросил актер.

— Иди в милицию. На самую горку.

— А там откроют?

— Для таких там всегда открыто.

— Ой, дед, ой, дед, — сквозь зубы бормотал Федор Иванович. Он хотел добавить пару крутых вольных словечек, но что толку? Взяв чемодан, Федор Иванович побрел со двора. Ветер немного утих, но снег сыпал такой густой, что застилал глаза и набивался в уши. Казалось, с неба хотели засыпать этот окуянный поселок.

В половине первого, уставший и злой, весь облепленный снегом, Федор Иванович пришел в милицию. Рассказал дежурному, молодому лейтенанту, про свое несчастье, показал документы.

— Какая моя задача? — деловито спросил лейтенант.

Федор Иванович объяснил.

На желтой с синей мигалкой машине — нежно нареченной в народе «канарейка» — Федора Ивановича повезли к заведующей.

Дверь открыл мужчина в шелковой майке. Федор Иванович, не дожидаясь приглашения, первым вошел в коридор. Милиционер попросил разбудить Марию Антоновну. Мужчина пожал плечами, задумался и, показав гладкую теплую спину, отправился в комнату. Вскоре вышла заведующая.

Вы что, издеваетесь? — накинулся на нее Федор Иванович. — Я же замерз, хоть пропадай!

— Ничего не понимаю, — шурилась, привыкая к свету, заведующая. — Разве сторожу не передали?

— В том-то и дело! А он воров боится.

— Ерунда какая-то, — отступила назад заведующая и посмотрела на милиционера. Тому, по-видимому, было смешно, но он сдерживал себя, все-таки в форме, при исполнении. — Меня сегодня вызвали по срочному делу, я не дождалась сторожа и передала через няню записку. Я даже распорядилась, чтоб приготовили постель. Все это можно проверить.

— Ясное дело — виноватого не будет, — тоже сказал милиционеру Федор Иванович. — А вообще любой на моем месте сейчас уехал бы домой. Но я не могу срывать праздник детям. — Взгляд на заведующую. — Не имею права!

— Федор Иванович... Я, разумеется, виновата. Ну, успокойтесь.

— Пожалуйста, — тихо добавил муж. — Все уладится.

— Спасибо и на этом, — снял шапку артист и всем отвесил нижайший поклон. — Как мне теперь быть?

— Оставайтесь у нас. Проходите... Сейчас чаю с малиной.

— Нет-нет. Мне завтра рано вставать, готовить реквизит, гримироваться. Напишите записку, а товарищ милиционер отвезет меня.

— Я вижу, вы устали, — уговаривала заведующая. — Ложитесь, отдохайте. Елку мы перенесем на час-другой.

— Марья Антоновна, пощадите. Пишите записку.

— Какая моя задача? — спросил лейтенант. Федор Иванович объяснил.

...Через двадцать минут сторож проскрипел засовом и открыл неприступные двери. Милиционер отрекомендовал пострадавшего и передал записку.

«Тимофей Андрианович! Ну как вы могли не пустить человека — держать его на морозе? Это же артист из театра. Накормите его как следует, и пусть он спит в воспитательской. Извинитесь обязательно!»

Теперь другое дело, — переминался с ноги на ногу и не поднимал глаз сторож. — А то сами понимаете: пусти, заночую... Дело такое. Да. Может, покусать или кипяточку согреть?

— Ты тут чай разводил, а человек один на один со стихией боролся. Показывай, где спать.

— Я спрашиваю: кипяточку или какао напарить?

— Спать, спать, — повторял Федор Иванович.

— Не имею права! В записке указано, чтоб накормил как следует. Заведующая утром спросит.

— Ну, дед, ты меня решил доконать в эту ночь. У тебя редкий дар — психологически давить на людей. На сцене тебе б цены не было. Клянусь!

Дед Тимофей стоял и, довольный похвалой, улыбался. В руке он зачем-то держал большой кусок хозяйственного мыла.

— Так будем кушать? — прищурился он.

— Давай, если недолго. Бесполезно ведь спорить.

— Мигом-мигом, — засуетился Тимофей. — Проходите сюда, дорогой товарищ приезжий.

Постель на самом деле была приготовлена. Федор Иванович мигом снял ботинки, свитер, лег и накрылся двумя одеялами. Наконец-то ему стало хорошо. Так хорошо, как и не мечталось. Он раскинул руки и уже стал задремывать, думая, что это тот случай, когда сон будет слаще меда, вдруг в комнату постучался и заглянул Тимофей. Старик поставил на тумбочку большую дымящуюся кружку, положил хлеб, конфеты, печенье. Сам он сел в угол с явным желанием поговорить, но выжидая, пока человек поест и попьет.

— Да, деда, много у меня всяких историй было, но чтоб вот так с милицией — первый раз, — сказал Федор Иванович, отпивая горячее какао.

— Я и сам хоть со стыда пропади, — привстал Тимофей. — Но уж завтра я этой няньке устрою чертей! Я ведь чего засомневался? — И сторож подсел ближе. — Телевизор, три ковра на мне и десять ящиков гостинцев наготовлено к празднику.

— Ясно, бдительность проявил.

— А как же! Всякий из нас на своем месте. Я — сторож, ты — Мороз. Дело твое тоже нужное.

— Сознаешь?

— А как же! Больше скажу: у нас в войну в школе госпиталь сделали. Я тогда жил в Смоленском районе, тут, недалеко. После ранения меня оставили там плотничать. И вот под Новый год приезжает к нам парнишка, молодой, тоже с шубой, с гармозой и давай для раненых представлять Деда Мороза! Как загнет, как разделает... Уж на что людям тяжело было, а хохотали вовсю. Часа два барбос веселил, под конец и бороду сжег. Ясное дело, ватную.

— Бороду, говоришь? — переспросил Федор Иванович, — Постой-постой, где это было? В Смоленском районе?

— Та-ак.

— А не я ли это был? Трюк-то мой фронтовой. Вряд ли кто еще знал фокус горячей бороды.

— Ой-е-ей! — обрадовался Тимофей, обнимая артиста. Но тут же утих, закусил губу и сказал: — Не-е, тот молоденький солдатик, а ты — голова седая. Бреешь!

— Это ж не вчера, отец, было. Сколько лет ушло? Деда слова не убедили. Покусывая губу, он недоверчиво щурился, глядя на седую голову артиста.

— В кубанке я еще выступал, не нашлось подходящей шапки, — стал припоминать Федор Иванович.

Дед молчал.

— А как басню читал «Свинья у зеркала»... В одной руке держал резиновую синими, и другой зеркало.

— Верно вроде, — кивнул дед. — Вроде так.

— Снегурочка еще со мной была...

— Была снегурка! Была! — выкрикнул дед, да так громко, точно ударили его или ущипнули. — Загадки она загадывала. Што ж ты раньше-то... как приехал... Да я для такого человека...

Тимофей шагал по комнате, бормотал про себя, словно что вспоминая, с подозрением глядел на артиста: не ошибся ли? Потом поднял вверх палец и приказал:

— Стой! Не спи покуда. Я мигом!

Он выбежал, погрел за стеной, заглянул уже в полушубке и шапке.

— Гляди же не усни, — еще раз предупредил Тимофей и хлопнул дверью.

Воротился он на самом деле быстро.

— Вот! — вошел он не раздеваясь, держа что-то в руке. — Всю клятву перерыл.

Это была старая пожелтевшая фотография. Человек двадцать в тулупчиках, телогрейках, белых халатах, худые, усталые, улыбались в объектив с доверчивой надеждой. И ничего в них не было от победителей, освободителей, ничего, кроме этих широких непритворных улыбок. Внизу корявым пером было написано: «Смолинский госпиталь — 1945 г.».

— Фотографировались на Новый год, может, и ты тутесць? — пояснил Тимофей.

Федор Иванович, затаив дыхание, посмотрел, прищелкнул языком:

— Нету дед. Чего врать...

— Да глянь на свет хорошенько! — поднял колпак настольной лампы Тимофей.

Федор Иванович посмотрел и опять не нашел себя.

— Аи, жалко-жалко, — пропел Тимофей. — Видать, ты уж уехал. Но... не в том дело. Все равно, давай-ка со встречай! — И он достал из кармана флажку, а из другого — луковицу и большущий апельсин.

— Ну, Тимофей! Ты просто сказочник.

— Не грех, не грех, — приговаривал дед, осторожно разливая водку. — Что там какао... чешуя!

После того как выпили, дед взял фотографию, начал водить по ней согнутым пальцем.

— Это Илья Савич Аристов, врач-хирург, это Кешка-санитар, я — щербатый, это Полина — прачка, Сурен — фельшер, армянин.

— Как ты их всех помнишь? — удивился Федор Иванович.

— Я, милый, что раньше было, все помню, а вот что теперь — забываю. Вот спроси, чего я сегодня обедал? Не помню. А вот что стоили сапоги на ярмарке полета годов назад или еще какую подробность — назову.

Федор Иванович взял фотографию и осторожно, будто стирая пыль, провел по ней ладонью.

— Да, время, — сказал он. — Целая жизнь.

— Жизнь, жизнь. А как же, — согласился Тимофей и продолжал рассказывать: — Я еще три года служил при этом госпитале. Потом врачей по направлениям разослали, а нам — куда душа желает. Остался я вроде как без службы и без жилья. Правда, сын старший отыскался, прислал письмо из Мурманска — это на самом Севере. Поехал я туда, а там сущее наказание — полгода ночь, полгода день. Даже редька не растет. Воротился. Только уж не в Смолино, а сюда, в Романовский. Пристал со временем к бабенке, то есть к женщине одинокой, и зажили помаленьку. А два года назад схоронил ее неожиданно. Теперь один мыкаюсь. Нанялся от скуки в сторожа... да... А сын в Мурманске прижился, внуки уже подросли, посылки деду шлют — теплые рубахи, рыбки хорошей. Приезжали прошлым летом. А у тебя внуки есть?

— Ожидая вот, — ответил Федор Иванович. — Дочка весной замуж вышла.

— Семья — это хорошо. Ну а вообще-то как? Поди, весело в артистах, кочевки одни?

Федор Иванович кивнул.

— Крутишься с утра до вечера. Репетиции, спектакли. Выездные, невыездные. С большими ролями, с малыми, с интересными и дрянными.

— А разве артист не сам выбирает, что ему нравится? — спросил Тимофей.

— Всякое бывает. Утвердят слабую пьесу, вот и давишь из себя и из нее.

— Смотри-ка, — удивился Тимофей. — Таким людям, как ты, надо позволять выбор. Обязательно! Хочешь, я письмо куда надо напишу?

Федор Иванович засмеялся.

— Чего ты? — продолжал сторож. — Напишу председателю вашему. Так, мол, и так, мой фронтовой товарищ, орденоносец. Прошу разобраться. Ты кого там изображаешь?

— Перестань, Тимофей.

— Нет, скажи, кого?

— За все годы и не счесть, — вздохнул актер. — И купцов, и кузнецов. Бродяг, комиссаров. Глупых королей, чудаков разных...

— Ох ты, дело пестрое, — посочувствовал Тимофей. — И сегодня намаялся, бедняга. Надо тебе помочь. Притом я в долгу.

— Перестань, я уже забыл.

— Ты забыл, а у меня стыд, неловкость.

— Забудь и ты, — сказал Федор Иванович.

— Ну лады. Поднимай тогда мировую.

— Еще лучше! — привстал Федор Иванович. — Мне завтра с детьми играть!

— Значит, не простил, — Тимофей плеснул в оба стакана. — Примешь?

— Нет.

— Желаем вам, товарищ артист, удачи, всяких жизненных благ, здоровья и громкой славы. Как у Шаляпина! — торжественно, будто на юбилейном банкете, произнес Тимофей. — Рад, что встретились. От души!

Федор Иванович заерзал на стуле: отказываться от такого тоста было выше сил его.

— Да, бегут годы, — размышлял Тимофей. — Сидишь вот тут ночами, думаешь о том, о другом. Старый стал, трусливый, слезливый...

Было заметно, что Тимофея «взяло». Он начал что-то мурлыкать про себя, затем затынул грустную песню про ямщика. Тимофей пел ее, качая сомлевшей головой, облокотившись на стол. Но, не допев, насупил брови, достал из кармана красный платок, вытер глаза и надолго замолчал. Федор Иванович думал, что он уснул на стуле, но Тимофей вдруг встал, отчаянно топнул ногой и, печатая ладонями по стене, как подгулявший цыган, прошелся по комнате и развернулся на танец. Вскоре он задробил ногами и пустился в самый настоящий пляс.

— Эх, морозы! На белые березы, продырявились пимы, побежали слезы-ы... — подпевал Тимофей такой припев после каждой частушки. А частушки у него все были ко времени — зимние и новогодние.

Федор Иванович смотрел на сторожа и улыбался. Но затем состояние Тимофея перешло и на него. Он вспомнил, что в свое время тоже знал много частушек, припевок и даже выступал с ними, аккомпанируя себе на хромке. Но все это было когда-то, давно. Федор Иванович сжал губы и закрыл глаза. Жалко стало и себя, и потерянных друзей, и безвозвратное время, и то многое, что навсегда ушло, исчезло, стерлось в памяти.

Немного отдышавшись, Тимофей глянул на пустую фляжку, покрутил ее и спрятал с глаз долой. Потом вспомнил, что рано утром ему вставать, кипятить воду для поваров, разгрести снег, и, простившись душевнейшим образом с артистом, ушел к себе на топчан. Вскоре за стеной послышался его храп.

А Федор Иванович ворочался и никак не мог уснуть. Он думал, в какие только истории не попадал за свою долгую актерскую жизнь, с какими только людьми судьба его не сводила! Сколько материала, впечатлений... а все почему-то проходит мимо, пропадает безвозвратно. Почему? Просто обидно... Ему уж пятьдесят шесть лет, а ни звания, ни положения в театре. О нем не пишут статей под заголовком «Жизнь, отданная сцене». Молодые актеры держатся с ним без особого почтения, наоборот, он сам как бы заискивает перед ними, стараясь казаться добрым, свойским дядькой. Зачем? И он уже свыкся со всем этим и ничего не ждет... Разве что Нового года! С приближением праздников о Федоре Ивановиче начинали говорить, о нем вдруг вспоминали. У служебного входа его караулили какие-то люди, ему звонили, уговаривали: как Дед Мороз он был популярен в своем городе, и это льстило его самолюбию. Он даже позволял себе отказываться — дескать, устаю, не в голосе... но, в конце концов, составлял длинный список и веселил, веселил, веселил. И вспомнилось Федору Ивановичу, как однажды ему нездоровилось, но за ним все же прислали машину. Во время представления в душном зале у него потемнело в глазах, и он потерял сознание. Упал Федор Иванович прямо под елку, дети кричали: «Дед Мороз умер!» И многие плакали. К счастью, все обошлось, на воздухе он пришел в себя... Много за эту ночь передумалось Федору Ивановичу — выспаться так и не удалось.

А наутро он в роскошной шубе, в рукавицах и огромных расписных валенках торжественно входил в зал, и начиналось! Визг, крики, веселье не смолкали у елки. Родители детей, повара, нянечки собрались в коридорчике посмотреть. Сторож Тимофей с гордым видом прохаживался между ними, улыбался и говорил:

— Мой товарищ... с фронту еще. Колдун, не артист!

ПАМЯТНИК

В деревне помнили, как сразу после войны Анна Агеева получила извещение о том, что ее муж, сержант Агеев Яков Иванович, пал смертью храбрых при взятии города Секешфехервара. Мужики потом этот город с закомуристым названием искали в старом библиотечном атласе. Кое-как нашли. Показали Анне, записали название на бумажке, и Анна долго повторяла его, стараясь заучить. Но бумажка затерялась, и на вопрос, где же погиб Яков, Анна отвечала: «У реки Дуная».

Много лет с тех пор прошло. Много людей умерло, еще больше народилось, сильно состарилась Анна. И вот теперь ей, старухе, в канун большого праздника представилось чудное, разноцветное, как радуга, видение. Не то во сне оно пришло, не то наяву... Время вроде бы настоящее, сегодняшнее, а люди живут в нем разных времен и одежду носят тех дней и этих.

И вот в такую пору возвратился в родной дом ее муж Яков. Возвратился живым-здоровым, с двумя чемоданами и аккордеоном. Весть эта мигом разлетелась по всем близким селам, дотянулась с вечерним

эхом до самых глухих хуторов и одиноких дворов, которые затерялись среди низких иглиных лесов и родниковых болот. Оказалось, что Яков был ранен, попал в плен, и увезли его в подневольные работы в дальние южные страны. Там он выращивал кофе, табак, финики, жил в камышовом сарае — без газет, без радио, и долго не знал, что кончилась война. А когда узнал, то не было возможного случая не только вернуться на родину, но даже и письмо сюда написать. Потом нашлись добрые люди — похлопотали, походаятайствовали, и вот после бесконечных уточнений и оформлений Яков в родной деревне. Неожиданно появился с огромными плетеными, из желтой сырмятной кожи чемоданами, голубым аккордеоном и, несмотря на летнюю пору, в новых пушистых бурках, точь-в-точь таких, какие носил в студеные дни директор маргаринового завода, — с большим каблуком, на скрипучих подметках. Анне тоже привез гостинцев: зеленые очки, чтоб не болели глаза, и наручные дамские часики, о которых она тосковала еще с девичьих времен.

Запировала деревня! Пришли и понаехали гости, почитай, две недели гуляли! Собрались бывшие фронтовики (среди них живые и убитые), вдовы с ребятишками, пришли глубокие старики, воевавшие еще в японскую и первую германскую войну, много скопилось знакомого и незнакомого люда. Для охраны порядка из района прибыл милиционер на вороном коне. Столы сдвинули во дворе, на возвышении сидел ее Яков. Он охотно угощал земляков, рассказывал о своих приключениях, пел потешные заморские песни и свою любимую. Анна с соседками еле успевала готовить еду и мыть посуду. Ей все не верилось в такое счастье, да и кто бы мог подумать — столько лет и зим... Теперь уж она была не вдова, не одиночка-горемыка, теперь она мужняя крестьянская жена, и ей казалось, что помолодела она на все годы, проведенные врозь с Яковом. Все тяжести и лишения этих лет, вся боль и выплаканные слезы вдруг забылись, прошлое стерлось и рассеялось. Анна не могла наглядеться на мужа. Особенно на его усы. Натуральные фигурные заросли, которые выгибались то вверх, то вниз и придавали загорелому лицу Якова нездешнюю привлекательность. Странно, только были они землистого цвета и мягкие, как речные водоросли. На ветру они даже шевелились, будто водоросли на мели. Анна первые дни побаивалась этих усов, но потом привыкла и стала гордиться ими, как когда-то отец ее гордился добрым конем, а она — тугой косой. Много было говорено горячих, искренних слов, много было пето застольных протяжных песен, много было споров и чересчур много танцев. Пировали такой мерой: сутки за столом, сутки отсыпаются, затем вновь за стол...

Как-то лунной ясной ночью, когда все спали, появился на подворье худой незнакомый старец в бязевом нательном белье, словно вышел из бани. Он сел за стол, выпил, закусил мятным пряником и тихо стал шевелить губами — наговор вещать.

— Дедушка, ты кто? — робко спросила Анна. Старец прищурил глаз, поманил Анну и шепнул на ухо:

— Чего про могилку-то молчишь, сорока?

И не зло погрозил ей согнутым пальцем. Затем поднял вверх руки и исчез, как дымом вытянуло.

Анна испугалась. Что за странник, откуда? Кого он ей напоминает? И хотя его рядом не было, казалось, что он незримо находится здесь. Наблюдают, не то сверху, не то сбоку. Анна хотела разбудить Якова, но он так славно спал, скрестив руки. Вскоре взойшло солнце, началось новое веселье — тосты, речи, гармонь.

И только когда отшумело веселье и выветрился из дома хмель, довелось Анне поговорить с Яковом. Поговорить обстоятельно и неспешно. Анна лишь удивлялась, как он мог все это вынести — не сломался, не смирился, не пал духом. Ведь вовсе не сладко выращивать в чужих краях медовые финики и душистые табаки. О себе ей рассказывать было почти нечего. Работала, ждала, по вечерам плакала, больше по праздничным. Рассказывает-рассказывает Анна, потом вдруг замолчит, глянет куда-то в сторону и задумается. Надолго задумается, будто что тревожное внутри таит. Да что с тобой, спросит Яков. Анна не отвечает. Отнекивается, мол, устала на радостях, захлопоталась. Но Яков — во-яка тертый и бывалый — чуял здесь другое. Совсем другое. Спрашивать больше не стал — ожидал, что сама расскажет, не сможет умолчать. Анна беспокоилась, несколько раз пробовала начинать и каждый раз как-то уклончиво сбивалась, замолкала, отворачивалась. Но однажды, будто кто шепнул ей: говори, пора. И она решилась, рассказала. Вот что Яков от нее узнал.

После войны жила Анна одна — детьми с Яковом они не успели обзавестись. Затосковала. И пришло ей как-то в голову, что вот и он, ее муж Яков, лежит где-то в чужой земле, хорошо, если в общей могиле, а то, гляди, и в одиночку: зарос холм высоким лабазником или даже холма нет — либо дождями размыло, либо распахали. А ведь была жизнь у человека, пусть не большая и не святая вовсе, но жизнь трудная, а потому памяти других людей достойна. И сделала Анна могилу мужу в родной деревне. На кладбище поставила деревянный памятник, ограду, скамеечку в ограде. Какая ни есть, а забота о погибшем. Зимой снег подметет, весной цветы посадит, краской обновит. Могилы как таковой, конечно, не было, был холм и пирамидка с надписью: «Агеев Яков Иванович. 1910 — 1944. Погиб в бою».

Вот об этом и поведала вернувшемуся мужу Анна. Поведала и спросила, что же теперь с этой могилой делать? Как быть?

Якову поначалу стало не по себе. Он молчал, хмурился, затем встал, подошел к окну, долго смотрел в темноту.

Наконец повернулся и медленно, в горькой растерянности сказал:

— Войну, плен, мытарства разные прошел — все-таки выжил, а вот воротился и теперь могу полюбоваться на собственное погребение. Не ждал я такого. Правда, всякие-разные догадки были... Вдруг, думал, за другого успела выйти и живешь семейно при детях и новом хозяйстве, не то выехала куда, — это бы я мог еще понять. Но пустую могилу выдавать за настоящую?.. От людей даже совестно.

— Яша, я как лучше... Пойми, — оправдывалась Анна.

— Как не понять! Но ты ведь говорила, что надеялась, ждала — может, живой?

— Надеялась, Яша. А как же. Вон в голодный год приезжали к нам меняльные — торговали твой дублиник за ведро пшена, а я не согласилась.

— Дублиник могла бы и обменять. Я бы слова не сказал.

— Кто же знал, что при деньгах да при подарках заявишься? А ну если без ноги или без глаз? Я его, дублиник-то, листовухой обкладывала, вот и уберегла. Ждала, Яша. Иной раз по радио или от людей услышишь, мол, объявился пропащий солдатик... Еще и ордена его находят, — по всякому пути домой оборачиваются. Разве не так?

— Ну, так. Чего ж тогда вечный покой городить? Поди, и карточку вставила?

— Есть маленькая. Да ты не сердчай. Раскидаем могилку и забудем.

Яков ходил по комнате, кашлял, морщился.

— Чего уж теперь. Ладно... Завтра поглядим.

С этим словам Анна поняла, что муж несколько отошел и уже не так сердится. И все же на душе у Анны было тяжело, так как постоянно помнила, что в пятистах метрах от дома стоит пирамидка с фотографией.

На следующий день Анна, управляясь по хозяйству, нет-нет да и поглядывала на Якова, который ходил по двору и с озабоченным видом что-то разыскивал. Долго он маячил там и тут, затем исчез. Анна посмотрела в сад, в доме — нету. Зашла в сарай, а там сидит знакомый старик — ночной пришелец в бязевом белье. Сидит, давит тупыми, слабыми зубками пряник. И дрожит от холода.

— В такую жару и замерз? — удивилась Анна.

— Холод собачий.

— Счас я тебе тулупчик принесу.

Анна сбегала в дом. Старец закутался, дрожь его унялась.

— Не знаешь ли, куда Яков делся? — спросила она. Старец прожевал свой пряник, достал из-за пазухи другой.

— Я все знаю. Иди туда, — указал он на гору. Анна заторопилась на кладбище. Зашла с другой стороны, тихо подобралась кустами и видит — сидит Яков возле своей могилы, тянет папиросу, а вокруг нет числа недокуркам. «Ишь ты, — подумала Анна, — не экономничает. Свыкся на табачных работах». Стала наблюдать за мужем. Яков выкопал столб, снял ограду, разровнял холм, притоптал и заложил это место зеленым дерном. Сел опять перекурить. Анна собралась было выйти из укрытия, да раздумала, решила — пусть еще побудет один. А Яков отошел чуть в сторону и возьмись снова рыть землю. Снова насыпал холм, укрепил памятник и ограду. Анна с опаской думала: что же это? У нее даже появилась тревога за душевное здоровье Якова. Тем временем Яков соскреб ножом с дощечки свою фамилию и принялся писать что-то заново, слюнявя химический карандаш. Тут уж Анна не удержалась, подошла. На дощечке увидела несколько совсем незнакомых ей фамилий. Перечитала еще раз, словно припоминая. Молча поглядела на мужа, Яков тихо пояснил:

— Про этих я знаю наверняка. Все без могилы. Пусть.

Он положил на плечо Анне руку, приобнял, и они повернули обратно. Солнце слепило глаза, и не видно было тропки, но они не сбивались, шли верно. Потому как шли к себе домой. С утра там топилась печь, пахло пирогами и картошкой. Было чисто и уютно, на стене висела их большая свадебная фотография, а на стуле стоял голубой аккордеон — единственный предмет, напоминавший о долгой разлуке.

Во дворе Яков пошел к умывальнику, а Анна принялась собирать на стол. Вдруг Яков появился — лицом ухоженный такой, чуб на пробор, но в прокопченной, грязной гимнастерке, с тремя прострелами в косой ряд.

— Что это ты, Яша, в гимнастерке? — испугалась

Анна.

— Я же солдат, — спокойно отвечал Яков.

— А эти... пробоинки чего?

— Так я же убит.

— За Дунаем?

— За Дунаем.

— Бог с тобой, — замахала Анна руками. — Снимай. Снимай ее, зеленую.

Яков послушно снял гимнастерку и остался в нательной рубашке, точь-в-точь как у старца с пряником. На рубашке вокруг прострелов чернели запеченные пятна крови. Анна принялась сдирать с мужа рубашку, гнилая бязь трещала... Затем она почувствовала холод его тела, начала растирать тело, но вдруг увидела, что растирает пустоту. Она шарилась руками в этой пустоте, звала Якова. И тут все вокруг стало зарастать усамиводорослями. Анна путалась в склизкой зелени, которая заполнила комнату, обвивалась вокруг шеи. В этих водорослях появилась лягушка, величиной с утку. Эта утка-лягушка крикнула... И вдруг все исчезло. Медленно, слабо и неясно стала из темноты выявляться ее комната, — старуха Анна открыла глаза. Прислушалась — в комнате было тихо-тихо, как бывает безлунной ночью на реке. Но на дворе уже гулял белый день, и Анна никак не могла взять в толк — что же все это было? Она осмотрела комнату. Вроде все на своих местах: на потолке лампочка в замутненном стеклянном колпаке, у дверей большой, с резными краями буфет, на стене коврик с разгулявшимся оленем... На свадебной большой фотографии Анна задержалась. «Аккордеон! — с тревогой подумала она. — На стуле должен стоять аккордеон». Из-за стола было не видно. Она обошла его... и только теперь поняла старуха Анна, что это был сон. Стул упал, а под ним на щербатом кирпиче стоял чугунный крутлобый уют, которым она вчерашним вечером наглаживала кофту и платок. Анна снова глядела на прыгающего коврового оленя, в то же время не замечая его. Она ни о чем не думала, она не способна была ни думать, ни понимать, поэтому она не слышала, как постучали в окно. Вскоре постучали еще раз, после чего забахали часто и без перерыва.

— Тихоновна! — раздался голос за двойной рамой. — Слышь, Тихоновна!..

Старуха вздрогнула, подошла к окну.

— Идти пора! Времени в обрез! — суетился на улице соседский парень Генка Чеботарев, для убедительности показывая свои часы.

Анна кивнула. И только когда уж собралась, она окончательно пришла в себя и вспомнила, куда и для чего торопит Генка. Захватив наготовленную со вчерашнего вечера сумку, она вышла.

В гору старуха еле попевала за соседом, а тот все рассказывал про торжества, которые сегодня ожидаются, про трикотированный костюм, купленный по этому поводу, про каких-то приезжих железнодорожников. Генка был большой охотник поговорить и приврать. Анна это знала, поэтому не перебивала, а семенила себе молча в будничных, не ко дню надетых выступцах... Пришли на кладбище. Там по-прежнему стояла все та же пирамидка, с той же надписью и старой, сильно выжелтевшей фотографией. Ее-то и надо было заменить.

— Ну, где карточка? — спросил Генка, доставая отвертку.

Старуха развернула платок, глянула на фотографию. Яков на ней выглядел чересчур уж молодым, с подкрашенными бровями и щеками — районный фотограф в своем деле малость переусердствовал, отчего Яков больше был похож на парикмахера или на артиста с афиши, чем на доверенного артельщика. Именно это Анне нравилось, и она мечтала о том дне, когда укрепит новую карточку на памятнике, и все, кто забыл, вспомнят, а кто не знал — узнает, каков был ее Яков и какого человека сгубила лихая война.

Но теперь Анна держала карточку и отчего-то не решалась отдавать ее Генке. Чеботарев же был занят работой: он вывернул один шуруп и никак не мог сладить с другим. Генка кривился, сопел, стараясь зацепить ржавую расщелинку, но отвертка вновь и вновь скользила, отскакивала.

— Вот, дьявол, хоть из рубашки вылазь, — досадовал Генка.

— А может, не будем? — несмело спросила Анна.

— Чего не будем?

Анна посмотрела на карточку, затем на Генку.

— Привиделось мне, будто Яша воротился... и больно ругал меня за могилку пустую...

Генка ничего не ответил. Он отложил в сторону отвертку, достал из кармана пассатижи, все-таки умудрился уцепиться за шуруп, и тот медленно, с неохотным скрипом полез из твердой древесной породы на свет. Генка показал ржавый кривой шуруп Анне с таким выражением, какое могло появиться лишь у ученика зубоучебной школы.

— Мало ли что нам может привидеться, — откинув в сторону добычу, сказал Генка. — Давай-ка цветovou.

— Право, Гена, я отдумала. Не надо карточки, — сказала Анна уже тверже. — И дощечку убери. Пусть стоит себе могилка, а кто в ней — одна я буду знать. А ты вот... прими в честь праздника за труды и уважение.

Анна достала «четверочку» водки, стограммовую стопку голубого дедовского стекла.

— Мне неловко. Давайте уж сделаю.

— Не надо, Гена.

— Думаете, и впрямь придет?

- Не знаю.
- И дублиник не продадите? Сопреет ведь.
- Я его старику отдала. Страннику.
- Вчера ведь показывали.

Анна задумалась, вспоминая, был старец или нет. А если был, то зачем он являлся?.. Кто он?

— Не хотите — ваше дело, — сказал Генка. — Стопку за деда Якова выпью, а остальное кому-нибудь другому. А то к вечеру, не дай бог, загружусь. Слово давал.

Выпив, Генка постоял, затем обошел памятник, попробовал, крепко ли, сказал негромко:

— Это... сегодня по радио говорили. Если почтить минутой каждого погибшего в войну, то тишина бы стояла сорок лет... Да. Ну я пошел.

Оставшись одна, Анна посидела еще на скамейке, погоревала. На кладбище не было ни души. На кустарниках уже зеленели клейкие листья, чуть заалел марьин корень, а вокруг него начинал виться полевой хвощ. Там и здесь сквозь прошлогоднее жухлое разнотравье пробивались пучки молодой зелени. В ней голубели фиалки, нежно желтела мать-и-мачеха. Почуввав теплое солнце, в цветке ворошилась пчела. Все вокруг оживало, обновлялось, притягивало глаз, но если глянуть чуть повыше, то за тонкими стволами березок и диких груш легко просматривались неровные ряды серых, в трещину крестов и могильных памятников с полинявшими за дождливую осень и снежную зиму звездами.

Анна положила на могилу мятных пряников, конфет, налила до края стопку, отпила немного и поставила. Еще подумав, она достала из потертого гаманца мятый рублишко, сунула его под стопку и пошла. Пошла домой. В лицо ей дул теплый майский ветер, который с центральной деревенской площади приносил такие знакомые и такие горькие фронтовые песни и марши. В деревне собирались отмечать День Победы, и с утра гремело радио. Но Анна решила сперва заглянуть домой, а затем уж пойти на площадь. Зачем домой — она и сама не знала. Тянуло, и все.

РАСПИСКА

— Уколов! К тебе отец пришел! — крикнули в коридоре.

Из класса вышел хмурый девятилетний мальчик. Он подошел к мужчине и молча протянул руку.

Павлик был единственным сыном Алексея Михайловича Уколова. Алексей Михайлович женился поздно — сорока лет. Все никак не мог найти достойной и, тем не менее, промахнулся. Обмишурился, так сказать. Вроде бы и из простой семьи, но такая привередливая попалась... все ей было не так, а как надо — она и сама не знала. Капризничала часто, а на седьмом году совместной жизни, когда Алексей Михайлович лежал в больнице с прободной язвой, жена его оставила. Перевезла всю мебель, вещи, сына в дом матери, на другой конец города. В комнате остался лишь портрет молодого Алексея Михайловича, его краски, одежда.

Больше ничего из нажитого — даже настенного календаря не осталось. Правда, рядом с портретом Алексея Михайловича когда-то висел портрет супруги, теперь же на фоне выцветшей побелки алел лишь яркий овал. В первый же вечер, по возвращении из больницы, Алексей Михайлович на этом месте нарисовал роскошный вопросительный знак: мол, место освободилось, не желает ли кто занять. Впрочем, он разводиться не хотел и пытался все уладить мирными уговорами, но куда там! На суде, когда жену спросили, почему она так поступила, жена упорно повторяла одну и ту же фразу:

— Морально не могла с ним жить!

— Это не причина! Безосновательная голословность, — заявлял со своего места Алексей Михайлович.

В зале перешептывались, переглядывались.

После суда Алексей Михайлович ходил по знакомым и говорил со вздохом: «Ободрала меня женка подчистую! Но это еще туда-сюда, а вот с сыном не разрешает видеться — это беда. Я ведь без него затоскую. Не выдержу». Вот и стал навещать сына Алексей Михайлович в школе. Приносил кое-каких гостинцев и дополнительные алименты. Почему дополнительные? Алексей Михайлович работал художником-оформителем, и основной его заработок был невелик, а вот приработки случались солидные. Он и решил, что ежемесячно будет отдавать еще по двадцать рублей в довесок. Сперва он посылал деньги по почте, но, желая приблизить сына и усилить его любовь, стал приносить и отдавать их из рук в руки. Второй год уже хаживал Алексей Михайлович в школу. Это полугодие было удобным — сын учился во вторую смену.

— Ну как учеба? — задал отец традиционный вопрос.

— Сегодня две четверки, — ответил сын.

— Четверка, что ж... оценка хорошая. Я любил получать четверки.

— А мать говорит, что для третьего класса это плохо.

— Чтoб на пятерки учиться, ей надо с тобой заниматься, — пояснил Алексей Михайлович. Он хотел еще что-то добавить, но, подумав, вяло махнул рукой.

— Я и сам потяну.

— Один много не вытянешь. Дальше пойдет геометрия... астрономия разная. Приходить будешь? Помогу.

— Приходить нельзя, — твердо сказал Павлик. — Сам знаешь.

— Да, — вздохнул Алексей Михайлович. — Ну, еще какие новости? Где был, что видел?

Павлик почесал за ухом.

— Ездили с мамкой в Поздняково, на электричке. К подруге, — начал рассказывать он. — Там парень дошкольный, а в сарае у них козленок. Парень этого козленка в санки запряг и давай гонять по улице. Ему потом влетело.

— А тебе?

— Я что... я не ездил.

— Надо было отговорить его.

Павлик посмотрел исподлобья, хмыкнул.

— Он же хвастал передо мной. Чего ж отговаривать.

Алексей Михайлович покосился на сына.

— Дядя Митя тоже с вами ездил?

— Нет. Его бабушка выставила. — Павлик с опаской огляделся по сторонам и, подойдя к отцу, стал шептать что-то на ухо.

Алексей Михайлович замер на месте, глаза же его, наоборот, заблестели и заволновались. Вдруг Алексей Михайлович покатился со смеху и, подняв обе руки, почти прокричал:

— Так и выдала ему? «Болтаешься, как геморройчик в стаканчике»?

— Тихо ты, — дернул отца за рукав Павлик. — Это нехорошее слово. Я сперва сам думал, что генеральчик, а дядя Митя обиделся. С того дня не заходит.

Алексей Михайлович вновь зафыркал, закидывая назад голову и притопывая ногой, как делают болельщики на стадионе, когда противник пропускает смешной нелепый гол

Павлик стоял по-прежнему серьезный, ждал, когда отец успокоится. Но, не дождавшись, спросил:

— Ты по делу пришел или так?

— Я... соскучился, — нежно ответил отец. — И алименты принес.

— Ну давай. Мать уж спрашивала, — все так же безразлично пробубнил сын.

Вот это безразличие и, как Алексею Михайловичу казалось, бездумные больше всего огорчало и тревожило отца. Перед ним стоял не ребенок, который способен на проказы, на хохот или даже на слезы по всякому пустяку, а какой-то мрачный мужичок-малолеток, обремененный неурожаем, долгами, ранними заморозками и прочими несчастьями, от которых чувства его притуплялись, и теперь ему было все равно, с кем он имеет дело — с отцом ли, маленьким козленком или обиженным дядей Митей. «Откуда это у него? В кого?» — часто мучился догадками Алексей Михайлович и не мог понять. Он молча достал из кошелька деньги и отдал сыну.

— Расписку писать? — спросил Павлик.

— Как всегда. Только отойдем в сторону.

Дождавшись, пока пройдет группа школьников, Алексей Михайлович выложил на подоконник бумагу, ручку. Стал диктовать.

— Да знаю я, — кособочился в неудобстве Павлик. Подоконник был низким и слишком уж узким, чтобы на нем писать. Павлик, присев на корточки, стал выводить под диктовку корявые буквы. «Я, Уколов Павел, даю настоящую расписку в том, что получил от отца, Уколова А. М., 20 (двадцать) рублей добавочных алиментов». Далее следовали дата и подпись с аккуратным, как в тетрадях правописания, крючком.

Алексей Михайлович взял расписку.

— Ошибок-то, ошибок, — покачал он головой.

— Мать спрашивала, зачем расписки требуешь?

— Порядок такой. Вдруг ты вырастешь и будешь говорить, что я не давал?

— Буду.

— Почему?

— Мало даешь.

Алексей Михайлович такого ответа никак не ожидал. Он вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным, растерянным и смущенным. Не желая выдавать своего состояния, он достал кошелек, машинально раскрыл его, но потом подумал и снова спрятал в боковой карман. В глазах его появились усталость, безысходное разочарование, смиренность — словом, то состояние, которое посещает человека, когда он обманывается в своей последней сокровенной надежде. Алексей Михайлович долго молча глядел на сына, затем спросил:

— А сколько надо тебе?

Павлик не знал сколько и, прищурившись, неопределенно ответил:

— Хитрец. Ты же халтуришь кругом.

Алексей Михайлович окончательно растерялся. Он отвернулся к окну, делая вид, что его очень интересует движение на улице.

— Этому тебя мать... учит? — спросил он осторожно.

— Сам знаю, — с достоинством ответил Павлик. — И все знают.

— Ну если так, то давай их назад.

— На, — услышал Алексей Михайлович за спиной и повернулся.

Павлик протягивал ему деньги, зажатые в кулаке. Отец смотрел на этот кулачок, из которого кричали десятирублевые бумаги, и никак не мог сообразить, что же ему делать. Кулачок стал подрагивать от напряжения, а Алексей Михайлович все колебался. Ему вдруг подумалось, что сердце Павлика размером точь-в-точь с этот кулачок и, должно быть, оно тоже сейчас подрагивает от таких неожиданных решений и поворотов. Алексей Михайлович взял сына за руку, привлек к себе.

— Павлик, — чуть не со слезами проговорил он, — ты же знаешь, что, кроме тебя, из близких у меня никого. Я уж не так молод, здоровье неважное, и, может быть, я скоро умру. Все я оставляю тебе: и квартиру, и сбережения, и все-все, что только есть.

Павлик не отстранился от отца, он, наоборот, еще сильнее прижался к нему щекой. У Алексея Михайловича на душе чуть потеплело, волнение отлегло, и он стал поглаживать сына по коротко остриженной голове.

— А когда ты умрешь? — спросил Павлик.

— Может, скоро, — печально повторил Алексей Михайлович.

— Когда скоро?

Алексей Михайлович решил, что Павлик его жалеет, и, стараясь увеличить эту долгожданную сыновью жалость, полушепотом ответил:

— Может, к весне.

— А не обманешь? — так же спокойно и тихо спросил Павлик. Спросил — как колуном ударил.

Алексей Михайлович даже дышать перестал, и теперь уже его рука мелко задрожала. Он долго смотрел на сына, стараясь понять, осознанно ли сын это сказал или брякнул по малолетней глупости. Алексей Михайлович ответил Павлику:

— Не пойму. Или ты еще дурной, или уже остроумный.

— Жадный ты, — сказал Павлик.

— Но почему жадный, почему? Все же для тебя!

— Все? А лыжи?

— Какие лыжи?

— Я просил лыжи с ботинками.

Алексей Михайлович нагнулся и с горьким упреком сказал:

— Я же вам деньги даю. Покупайте себе что угодно. Это первое. А второе, я тебе объяснил в прошлый раз понятным языком, что сейчас нет никакого смысла покупать лыжи с ботинками. Ведь нога твоя растет. Будешь в классе восьмом-девятом — тогда другое дело.

— Жадный, — повторил Павлик.

— Опять за свое! — притопнул ногой Алексей Михайлович. — Чтоб я больше не слышал этого слова! Ты жизни не знаешь, а язык уж поворачивается оскорблять отца. Попробуйте найдите еще такого с мамашей. Да лучше вам не найти.

— Нам и хуже не найти.

— Ага, это уж точно ее слова! — с нескрываемой радостью воскликнул Алексей Михайлович. Он подошел вплотную к сыну. — Павлик, ты сейчас только повторяешь за бабушкой и за матерью, — стал быстро говорить Алексей Михайлович. — Но я тебя тоже люблю, и ты это поймешь, когда вырастешь. Поймешь и не будешь посылать мне несправедливые упреки. Правда же?..

Павлик молчал. По коридору в это время пробегали одноклассники. Они подталкивали друг друга, размахивали портфелями, громко о чем-то спорили.

— Уколов! В спортзал! — крикнул один мальчуган.

— Приду. Не бойся, — ответил Павлик.

Алексей Михайлович проводил взглядом дружную ватагу, поглядел на своего лобастого угрюмого сына и, вздохнув, спросил:

— Ты хоть радоваться умеешь? Чудо!

— Чего мне радоваться?

— Ну... этот, который тебя позвал, — веселый!

— Спесивцев, что ли? — поморщился Павлик. — Так ему палец покажи, и он весь урок прохочет.

— Хохотать не обязательно, — пояснил Алексей Михайлович. — Надо быть со всеми детьми. В коллективе.

Павлик согласился обычным кивком головы. Алексей Михайлович достал из портфеля пакет.

— Вот гостинец возьми. Чернослив.

Павлик открыл пакет, испробовал, будто тертый покупатель в базарный день.

— Так что, и ребят можно угостить?

— Конечно, — ответил Алексей Михайлович. — Обязательно. И Спесивцева тоже.

Он побирушка первая, — наконец-то улыбнулся Павлик.

— Все дети попрошайничают друг у друга сладости.

— Мне пора. Физкультура сейчас.

Ну, поспеши, — согласился отец. — Я, может, в следующую среду приду. Деньги не потеряй!

Павлик, казалось, этого уже не слышал. Он торопливо спускался по лестнице.

Алексей Михайлович надел шапку и вышел на школьный двор. На улице уже начинало темнеть, и к вечеру мороз слегка усиливался. Медленно падал снег, поэтому на свежей пороше оставались четкие узорные следы. У ворот Алексей Михайлович сунул руки в карманы и достал расписку. Что-то еще шуршало в глубоких карманах. Это были пробитые трамвайные талоны, желудочные таблетки и... деньги. Те самые двадцать рублей. Как они тут оказались — было совершенно непонятно. Алексей Михайлович постоял, потоптался на месте. Огляделся. От большого белого школьного здания веяло холодом. Особенно от громадных окон. Среди них светились лишь решетчатые окна спортзала, за которыми раздавались короткие свистки. Алексей Михайлович смотрел на эти окна, на двери, на снег, который засыпал его следы, и с тревогой думал: «Что же это с парнем происходит?.. Надо бы его показать хорошему врачу».

В спортзале белобровый учитель в ярко-синем костюме проводил разминку.

—левой, левой. Раз, два, три! — отсчитывал учитель, и голос его звенел под бетонным потолком. Не прерывая счет, учитель подошел к двери, приоткрыл ее. В раздевалке сидел Павлик и медленно-медленно шнуровал свои кеды. Возле каждого портфеля лежала горсть чернослива.

— Уколов! Ну что ты возишься как неживой? Торопись! — сказал учитель и, повернувшись к классу, продолжил счет: — Раз, два, три!

Павлик вздрогнул, хлопотливо зашевелился. Но его шнурки были без металлических заклепок, поэтому они неохотно проходили в круглые лазейки. Павлик пыжился, слюнявил бахромистые концы, закручивал их и старался любыми усилиями протолкнуть внутрь. Иной раз шнурок проходил легко, а другой — просто ужас как неохотно. Павлик с опаской поглядел на учителя.

— Ну, Уколов, ты и кисляй. Как ты жить собираешься? — покачал головой учитель и отработанным, ловким приемом закончил шнуровку.

Павлик влился в строй, усердно стараясь попасть в ногу с классом. Учитель открыл край, выпил стакан воды, прокашлялся. У него сегодня был уж седьмой урок — учитель чувствовал себя усталым. Тем не менее, он пристально оглядел строй третьеклассников и, оставшись довольным выправкой своих питомцев, ритмично и звонко продолжал отсчитывать:

—левой, левой. Раз, два, три! На слове «три» учитель картавил.

Екатерина СОКРУТА

/ Донецк /



УРОКИ В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ

И я не знаю, кто эти движения ставил нам,
Но, по-моему, мы испортили звукоряд.
Ты пойми: я не то чтоб забыла, как надо правильно,
А я, кажется, никогда и не знала, как надо правильно,
Я опять стою там, где сильнее всего кричат.

И от этого зеркала меня схватят пристально —
И отпустят, чуть в непрочности уличив.
Город мой, сокол мой, судебные твои приставы
Слетаются из зеркал в ледяной ночи.

Это не школа балетная, это жизнь — балетная,
Вечно на цыпочках, вечно тянуться в рост,
Переметная, перелетная, пере-летняя,
Пере-зимняя — все избыточно, все внахлест.

И такая косолапость медвежья, детская,
Что на сцену-то и не выпустят — засмеют.
Неуклюжая, мол, не тоненькая, не резкая —
Очень жаль, говорят, что в школах теперь не бьют.

ЖИ-ВИ

Живи. Как полагается — живи.
Дыши, дыши, не убегай сквозь пальцы.
Смотри, как рано утром соловьи
На солнечных выныривают пятачках,
И вышивают золотом зари
Одно и то же тонкое — «жи-ви».

Живи, давай, хоть ложку молока,
Хоть вечер с книжкой, хоть бульона чашку.
Смотри, какие нынче облака,
Какие кеды, дети, свет, ромашки,
Тюльпаны, стражи улиц городских.
Смотри, какое будущее время.
Какой смешной и неуклюжий стих,
Какой вокруг зеленый май со всеми.
Ну как тебя спасти живьем, скажи,
На глубину куда пробиться свету?
Я целый мир несу тебе — транжирь.
Возьми хоть колокольчик, хоть монету,
Хоть дом, хоть эхо старого двора,
Хоть запах — вишен, дыма ли, прибоя.
Нет, правда. Оживай давай. Пора.
А то ведь я останусь здесь тобою.

НЕЖНОЕ

Февраль из снега сделан лишь на треть.
Две трети — это сумрак, ничего.
Но если у кого должно болеть —
Пусть лучше у меня, чем у него.
Но если у кого должно стучать
В висках на полпути в аэропорт,
Пускай все мне. Я все смогу смолчать.
Не выкричать. Не выйти на рекорд
В счет выбитых из ярости сомнений.
Молчание — топология пути.
Любовь сильнее наших представлений
О том, как все должно произойти.
Ты так руки моей не выпускаешь,
Как будто бы все сроки не прошли.
Как будто ты меня не провожаешь,
А сталкиваешь
с краешка
Земли.

ОТТЕПЕЛЬ

Ноль по Цельсию. Ноль по Хроносу.
Рейса нет — нулевая видимость.
Ветер бьет самолеты по носу,
Подвергает пространство выносу.
Не туман, а какой-то студень,
Снег по полю и лед кусками.

Хотя, может быть, это люди
Там лежат, побелев висками.
Прилегли — да так и застыли там,
Покручинились, подымили.
Если завтра мы все не вылетим —
Я предсказываю пандемию.
Всех накроет, как ни сутулься.
Тихо станет — ни сна, ни свиста.
Пострашнее утраты пульса
Нам придется утрата смысла.
Выйдешь, глянешь, пожмешь плечами.
Ни куда, ни зачем — неведомо.
Даже право хранить отчаяние
Будет только у самых преданных,
Опаленных уже, горящих
Божьих датчиков тьмы ночной...
«Эй, здесь есть ли по-настоящему
Кто живой?!»

ВОПРОС

Нанял плохих актеров исполнять бездарную пьесу.
Снег покупал у крестьян с января по март.
Уголь древесный сажал в лесу и отдавал — лесу,
Ловил луну в городском пруду колодой цыганских карт.

Был побиваем камнями, собрал, сложил их, носил с собою,
Спал под открытым небом в реке, головою лежал в воде.
Шел одиноким пустынным днем, вторил ночному вою,
Был всей душою на небесах, сердцем же был — нигде.

Верил в удачу свою и жил, вовсе не зная правил.
Строил землянки на дне морей, темный взрывая ил.
Что же я сделал правильно, Господи, за что ты меня оставил?
Что же я сделал так, как они, что ты обо мне забыл?

ПЕСНИ БРОДЯГ

— Вот и вся моя жизнь, — он поет, озираясь во сне. —
В этом море шумящем, в запутанной старой блесне,
В этих ставнях, скрипучих ступеньках, неровной доске —
Вот и вся моя жизнь замирает, как краб на песке.
Вот и вся моя жизнь, это вечный прилив и отлив,
Кто-то долго идет вдоль воды, обо всем позабыв,
Омываемый равно и ровно песком и волной,
Истончаемый морем — вот то, что случилось со мной.

Я остался нарочно, не стал никуда уезжать,
Всех дорог не запомнить, провалов не избежать.
Я остался специально, уселся, вздохнул и застыл.
Солнце выбелит память, оставит прекрасно-пустым.

Вот и вся моя жизнь, и другой мне не будет дано.
Мера миру — лишь море, и ветер, и хлеб, и вино.

МОСКВА. НОЧЬ

А по ночам в Москву приходят ее цари
Казнить непокорных, строить монастыри,
Стращать деревни, распахивать пустыри,
Ждать последней своей зари.

Ближе к осени, когда отшумят дожди,
Выйдут памятники — писатели и вожди,
От каменной их походки земля дрожит,
Они ищут время, но время от них бежит.

К полуночи очнется Главный Городовой.
Вздохнет, услышав долгий, истошный вой,
Выглянет, кто летает там над Москвой,
Нарушает его покой.

Вспомнит о чем-то, вылезет на крыльцо —
Тащиться к Кремлю, укладывать мертвецов,
После пройтись по центру, пугнуть жильцов,
Тех и других Садовым скрутить кольцом.

Он не знает, как долго все это будет длиться,
Ждет приказа к рассвету разом остановиться,
Но под утро бредет к метро и, не глядя в лица,
Вновь заводит: «Для москвичей и гостей столицы...»

Хочешь — беги, от себя никуда не деться.
Вот тебе Курский, вон тебе Павелецкий,
Всех-то потерь — пара-тройка иллюзий детских,
Да, может быть, сердце. Может быть, станет сердце.

Может быть, это вправду хоть что-то значит,
Здесь пребывают те, кто не смог иначе.
По ночам веселятся, по утрам безутешно плачут.
Здравствуй, приезжий. Желаем тебе удачи.

Дмитрий ДЕЙЧ

/ Донецк /



СВИДЕТЕЛЬ ОБВЕТШАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Александр Исаакович Левитин родился 24 сентября 1932 года в Ленинграде. Отец его был служащим Госстраха, мать преподавала физику в профтехучилище. В его роду не было душевнобольных. История этого человека настолько необычна сама по себе, что достоверность всего пережитого им не нуждается в подтверждении для того, чтобы оправдать факт появления этой статьи в печати. В моих глазах трагедия единицы ничуть не уступает в масштабе трагедии всеобщей, тем более при данных конкретных обстоятельствах трудно было бы определить границу, отделяя первое от второго.

Итак, в декабре 1949 года, будучи студентом первого курса ЛГУ, Александр попадает в психиатрическую клинику с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз», однако спустя два с половиной месяца диагноз признается ошибочным и заменяется на «острый невроз на почве переутомления». Левитин возвращается на факультет археологии и в 1956 году защищает диплом.

— Что же с вами произошло тогда, в декабре 49-го?

— 10 декабря я проснулся от странного ощущения: мне показалось, что произошел взрыв, но не то чтобы сотрясение и звуковой удар, а наоборот, внезапное сжатие, я бы сказал — взрыв вовнутрь. Будто некто одновременно выключил радио и потушил свет. Что-то странное было в воздухе, позднее это напомнило мне мерные хлопья на экране телевизора. В то же время было ясно, что, судя по запаху, в квартире внезапно испортились продукты. Не умея связать между собой эти явления, я растерялся и в первую очередь почему-то подумал о газовой плите, о том, что отравился газом. Попытавшись подняться с постели, понял, что изменились не только освещение и запах. Двигаться было трудно, но это не было похоже на тяжесть в мышцах или затекшую поясницу: казалось, что мне изменили задно чувство равновесия и ощущения, связанные с осязанием. Включив свет, я заметил, что пропорции предметов странным образом сместились (это похоже на чернение серебра, когда колечко словно стареет на глазах,

но в конечном счёте понимаешь, что это искусственное старение). Положение было до того неестественным, что можно было принять всё за дурной сон, если бы не уверенность в том, что не сплю.

Сутки я не выходил из комнаты: был уверен в том, что сошёл с ума. Новое положение дел выглядело настолько угнетающе, что до сих пор удивляюсь, как удалось выжить. Теперь мне известно, что те немногие, кто по непонятным причинам остаются неподвластны «сдвигу», погибают. Это, кстати, можно проверить, статистика подтвердит: 10 декабря 49-го, 17 мая 71-го и 5 января 96-го — в эти дни количество внезапных смертей намного превысило обычный уровень.

— Вы считаете, что не осталось ни одного свидетеля, кроме вас?

— Мне не довелось познакомиться ни с одним человеком, способным подтвердить то, что я вам рассказываю. Было несколько умалишённых, которые говорили вслух о вещах, подобных тому, что я испытал, но, во-первых, эти несчастные так и не выкарабкались, а во-вторых, нет никакой уверенности в том, что они пережили то же, что и я. Надо добавить, что окружающие вообще производили на меня скверное впечатление — помню, когда я впервые увидел человека, испугался до крика.

— И всё же, что такое «сдвиг»? Как вы можете охарактеризовать переживания человека, который избежал «сдвига» и получил возможность увидеть происшедшее со стороны?

— Единственная аналогия, которую я теперь могу предложить, — состояние человека под воздействием ЛСД, только ЛСД расширяет восприятие, а моё собственное сузилось до такой степени, что реальность казалась кошмаром. Кроме того, действие препарата когда-нибудь кончается... Вообще эта аналогия уместна только в отношении степени «сдвига», в этом я убедился, когда сам принял ЛСД, ещё в России. Честно говоря, до 1971 года мне в голову не приходила идея «сдвига», все было совершенно ясно: я заболел и выздоровел, хотя в действительности «выздоровление» моё случилось только потому, что я перестал оповещать врачей об истинном положении дел. Кроме того, я привык. Наверное, это может показаться чудовищным, но подобное лишь подтверждает мою «нормальность»: сумасшедший не способен вернуться надолго к нормальному восприятию (за редким исключением), и в большинстве случаев он отлично понимает, что происходило с ним во время кризиса. Я же прожил все эти годы, твердо зная, но поначалу увиливая от признания прежде всего самому себе: в то утро мир изменился, а я остался прежним. Ни тело, ни физические способности, а только сознание и память. Я помнил, каким мир был «до того», и каким он сделался «после».

— Насколько я понимаю, ваши «инаковость», «несдвигаемость» сразу поставили вас в особое положение?

— Мне пришлось притворяться — перед своими товарищами-студентами, сослуживцами, друзьями, которые как-то постепенно сделались «бывшими», и, наконец, перед самим собой. 7 мая 1971 года стало ясно, что «сдвиг» — явление периодическое, и, хотя после этого я продолжал врать другим, у меня не оставалось более возможности обманывать себя. На сей раз адаптация произошла быстрее и была не настолько

болезненна. Убедив себя в том, что это не рецидив безумия, я получил возможность взглянуть на происшедшее с другой стороны. Прежде всего, я ученый и должен был (увы, не в интересах науки, а только в своих собственных интересах) заняться исследованиями, хотя бы для того, чтобы достичь твердой уверенности. В конечном итоге мне не удалось добыть ничего, кроме косвенных доказательств — вроде того, что в дни «сдвига» умирает больше людей. Зато я сумел определить основные показатели «сдвига» — изменение эталонов времени, расстояния и массы: килограмм тяжелеет, сантиметр растет, минута сокращается. Сперва я думал, что это мои субъективные ощущения, но позже убедился в обратном. Сумасшествие не принимает в расчет законов физики. Я был здоров.

Нужно уточнить, что меняется не только сенсорное восприятие, я замечаю тысячи несоответствий, которые, однако, без всякого напряжения воплощаются привычными элементами новой картины. Люди, например, стали гораздо многословнее по сравнению с 1949 годом, им стоит гораздо больших усилий придерживаться определенной линии разговора, они тратят вдвое больше слов, и слова эти означают вдвое меньше, вдруг они сбиваются на явную бессмыслицу... Мне кажется, это станет ясно любому, стоит только попытаться проследить внимательно за течением посторонней беседы. Да и я уже не могу вспомнить достоверно, каким образом рассуждал в семьдесят первом, ведь мышление, несомненно, завит от языка по принципу обратной связи, а язык с тех пор оплошал.

Эмоционально мы тоже проигрываем по сравнению с нами прежними. Я догадываюсь, что моё поведение и манера выражаться иногда выглядят необычно: я сохраняю своего рода отпечаток памяти, негатив, на поверхности которого неразличимы детали, но составить впечатление о композиции целого вполне возможно. Наверное, полной адаптации не происходит вовсе.

— И по этой причине вы стараетесь не привлекать к себе внимания? Вы пытались рассказать о том, что с вами происходит, кому-нибудь, кроме меня?

— По этой причине большую часть своей жизни я провёл в одиночестве. Пытался ли я? Да, конечно. Понимая, что мой рассказ способен вызвать определенно негативную реакцию, я говорил об этом всего несколько раз в присутствии людей, которым доверял безоговорочно. Однажды моё описание «сдвига» приняли за метафору, попытку философскую или, скорее, поэтическую. Впоследствии я даже опубликовал статью в научном журнале, статью о возможности «сдвига», не указывая, естественно, источника информации. Позже я охладел к возможности просветить окружающих в отношении реального положения вещей. Немногочисленные друзья считали меня немного чужаковатым, а мне самому, несмотря на развитую способность к тому, что я мог бы назвать «сочувствованием», они казались немного ненастоящими, и даже неправдоподобными.

— Я думаю, у вас появилась масса социальных и бытовых проблем.

— Я предпочитал проводить время в археологических экспедициях. Парадоксально то, что я совершенно необъяснимым образом был способен притягивать к себе людей, сам того не желая. С другой стороны, в семидесятые годы я превратился в нелюдимого и, наверное, неприятного человека. В сочетании с крайней некоммуникабельностью мой магнетизм

действовал на посторонних угнетающе. Мне даже приписывали снобизм, но в конце концов всё прощали по той причине, что я был специалистом очень высокого класса.

— У вас никогда не возникало желания обзавестись семьей?

— В 1976 году мне встретилась девушка, которая хоть и не стала женой, но всё же наши отношения продолжались целых восемь лет — я думаю, это было с её стороны настоящим подвижничеством. Впрочем, мы были похожи. До сих пор я не встретил ни одного человека, настолько похожего на меня. Иногда я задумывался о том, что может произойти с нами во время очередного «сдвига», особенно если мы в этот момент окажемся рядом.

— Подозреваю, что это сыграло не последнюю роль.

— ...в моём решении оставить её. Вы совершенно правы.

— Скажите, по какой причине вы согласились дать это интервью? Ведь если бы мы встретились на десять лет раньше...

— Во-первых, я никогда сознательно не скрывал этой информации. После того как мне стало ясно, что сама по себе она не имеет ценности, в том числе и научной, я просто перестал говорить об этом вслух. Во-вторых, мне исполнилось шестьдесят шесть лет, семь из них я прожил в Хайфе, занимаясь исключительно научной деятельностью, но не появляясь при этом «на людях». Я пишу в основном для англоязычных и русских журналов, изданы две монографии, не имеющие, впрочем, никакого отношения к предмету нашей беседы.

Короче говоря, я как бы стал забывать о том, что является на самом деле единственно важным. Последний «сдвиг» девяносто шестого года расставил всё по местам. Я понял, что следующего не переживу. Бессмысленно знать о «сдвиге», будучи не в силах его предотвратить, но так же бессмысленно не знать о нём вовсе. Будь я на вашем месте, мне бы такая информация дала не один повод для размышления. Если и есть основания для нашей сегодняшней встречи, то вот они: Вселенная ветшает на глазах, с этим ничего не поделаешь, но об этом можно знать или, по крайней мере, догадываться.

САСПЕНС

Этой историей я обязан Шаю Бен-Порату, израильскому издателю и поэту. Мы обедали в «Ар-Кафе» на бульваре Ротшильд и говорили о литературе беспокойного присутствия. Я отстаивал прагматичную точку зрения, заимствованную у китайских алхимиков, которую можно свести к тезису о балансе сил в организме (по случаю бегло пересказал даосскую теорию «трёх трупов»). Шай высказался в том духе, что, мол, в готических рассказах нас привлекает не ужасное само по себе, но та степень свободы, которая появляется в результате последующего «прорыва», не сам страх, но то, что «вокруг страха». Выход (пусть даже опосредованный, понарошку) за пределы безопасного пространства на время расширяет действительные границы пространства — видимого и осязаемого.

Я задумался над сказанным и в конце концов попросил привести пример, чтобы окончательно понять, что он имеет в виду.

— Посмотрите на неё, — ответил Шай, указывая взглядом в сторону симпатичной секретарши, делившей столик с немолодым бизнесменом в очках, смутно напоминающим актёра Ника Нолти (судя по всему, он был её боссом), — и представьте, что за фасадом кукольной внешности скрывается чудовище.

— С лёгкостью, — ответил я, не задумываясь.

Шай бросил на меня взгляд, полный лукавой иронии, поправил очки (жест характерный для него, на мгновение сообщающий физиономии удивительно трогательное выражение) и продолжил:

— Однажды она появилась в приёмной частной адвокатской конторы и предложила свои услуги в качестве секретарши. На самом же деле её интересовал хозяин — преуспевающий адвокат. Она намерена его погубить.

Девушка, о которой шла речь, наклонилась к «адвокату» — на мой взгляд, слишком низко, чтобы придерживаться прежнего мнения о природе их отношений. Тем не менее, я решил поддержать игру:

— Тут требуется пояснение: скажем, предыдущая секретарша за несколько дней до этого умерла при таинственных обстоятельствах.

— Вы предпочитаете лёгкие пути, Дмитрий.

— И, кстати, должна быть какая-то разумная причина.

— Причина?

— Она решила его погубить, но почему?

Шай сокрушённо покачал головой:

— «Почему?» — неуместный вопрос, коль скоро речь идёт о монстрах: мы не знаем, почему чудовище действует так или иначе, ведь его действия не подчиняются законам логики. Как только поймете, что речь идёт не о человеке, подобные вопросы перестанут вас волновать. Обратите внимание: с каким аппетитом она ест, как облизывает губы, глядя на партнера. Разве мы способны понять природу поступков этого существа?

В это мгновение секретарша оторвалась от тарелки, подняла голову и в упор взглянула на моего собеседника. Её взгляд был совершенно осмысленным, неожиданно жёстким и насмешливым, словно она слышала наш разговор с самого начала и теперь, глядя на моего оппонента, перебирала в уме способы умерщвления издателей. Я, откровенно говоря, несколько опешил, но Шай как ни в чём ни бывало продолжал:

— В первые же дни ей с лёгкостью удалось соблазнить своего работодателя, и теперь она медленно — по капле — выпивает его жизнь. В течение года этот человек состарится так, что друзья перестанут его узнавать на улице, а ещё через год он умрёт от какой-нибудь распространённой болезни — от рака, например. Что вы об этом думаете?

Я не нашёл, что ответить. Шай осторожно, почти нежно взял меня за плечо и повернул вместе со стулом в сторону окна:

— А теперь давайте отвлечёмся от этого пошлого сюжета, как две капли воды похожего на все подобные истории. Взгляните — ничего ли не изменилось в природе за время нашего разговора? Не кажется ли вам, что солнышко светит ярче? Деревья зеленее, чем прежде? А прохожие? Посмотрите, неужели — те самые люди, которых вы видели полчаса назад?

Я рассмеялся, несколько не убеждённый его доводами. В этот момент, неожиданно для нас обоих, девушка (которая, к счастью, понятия не имела о том, что за время обеда успела побывать в чужой шкуре) поднялась с места и направилась к нашему столику.

— Вы Шай Бен-Порат, — сказала она, обращаясь к моему приятелю. — Я была на вашем выступлении в галерее «Гордон».

Шай смутился и, польщённый, кивнул.

— Я хотела сказать, — довольно холодно продолжила она, — что была поражена — насколько ваше истинное лицо не соответствует вашей репутации. Всё, что вы делаете в поэзии — почти дословное копирование Ионы Волох.

Тут поднялся с места наш «адвокат» (девушка говорила довольно громко, привлекая внимание публики и официантов): «Ивонн, перестань, ради Бога!»

— Извини, я закончу! — ответила Ивонн и снова повернулась к жертве. Лицо издателя на глазах покрывалось мелкими багровыми пятнами. — Дело не в том, что вы — скверный поэт. В конце концов, плохих поэтов больше, чем хороших, так и должно быть. Наверное, дело в том, что, будучи плохим поэтом, вы заступаете дорогу поэтам достойным. Почему вы отсоветовали Кравицу печатать Дани Мизрахи?

— Чёрт знает что, — только и сумел выдавить мой приятель. — Кто такой Дани Мизрахи, хотел бы я знать?

— Я Дани Мизрахи, — сказал «адвокат». — Извините за беспокойство. Ивонн, прошу тебя.

Девушка развернулась на каблуках и выскочила за дверь. Некоторое время Шай сидел, не произнося ни звука, механически пережёвывая пищу, затем взглянул на меня и сказал:

Не нужно далеко ходить. Вот вам пример саспенса. Классического саспенса. Да уж. Эхххх.

Остаток времени мы просидели молча, уткнувшись каждый в свою тарелку. Прощаясь с ним, я огляделся по сторонам и — тихонько, про себя — согласился с его тезисом: солнышко и в самом деле припекало не на шутку, а прохожие выглядели так, будто каждого из них сперва выпотрошили, а после — подвесили на пару часов тушиться на медленном огне. Впрочем, вполне вероятно, у меня просто разыгралось воображение.

СИНОПСИС

История коллекционера частных разговоров, который вечно носит при себе диктофон и дюжину хитрых микрофонов для дальнбойного подслушивания. Занимается он этим исключительно ради удовольствия, хотя время от времени берётся выполнить дорогие (и сложные, надо полагать) заказы, которые обеспечивают ему безбедное существование.

Некий гражданин предлагает за соответствующее вознаграждение записать на плёнку разговоры одинокой старой девы, живущей в дешёвом квартале. Задача выглядит настолько простой, что коллекционеру

совестно брать с заказчика обычный тариф (впрочем, он не из тех, кого заботят подобные вещи). В первые несколько дней (недель) ничего не происходит: заурядный распорядок дня среднеобеспеченной женщины за сорок — по утрам слушает радио, жарит яичницу, перекидывается шуткой с молочником, напевает в ванной, шуршит бумагой в туалете, смотрит сериал о похождениях медперсонала реанимационного отделения провинциальной больницы, после обеда спит, ведёт долгие бессодержательные беседы по телефону, изредка выходит в кафе, где встречается с подругами, по вечерам смотрит телевизор, молится перед сном. Ночью спит.

Прослушивая одну за другой эти плёнки, коллекционер всё чаще задумывается о причине интереса заказчика. Он знает цену деньгам. Никто не станет платить за тот мусор, который он раз в неделю с несколько смущённым видом передаёт клиенту из рук в руки. Клиент, впрочем, выглядит вполне удовлетворённым результатами и через некоторое время объявляет, что цель его достигнута. Сполна рассчитывается и исчезает в неизвестном направлении.

Проходят годы, десятилетия. Коллекционер помнит о давешнем странном задании, но память эта всё более напоминает выцветший коврик: внимательно разглядывая поверхность, можно угадать, каким был когда-то тот или иной цвет, но убедиться воочию не дано никому. Однажды ему попадает газета с некрологом со знакомой фамилией, напечатанной жирным шрифтом. Коллекционер отправляется на похороны. На кладбище, помимо священника, могильщиков и двух-трёх старух из числа, вероятно, тех самых подруг, с которыми она проводила часы в дешёвых кафе, коллекционер встречает загадочного господина, бывшего когда-то его заказчиком.

Они раскланиваются. Коллекционер приглашает выпить по рюмочке. Тот соглашается (похоже — всего лишь из вежливости). Их разговор довольно быстро соскальзывает на привычки и мелкие бытовые детали из жизни покойной. Они смеются, вспоминая какие-то комические моменты, обсуждают поведение персонажей сериалов, которые она смотрела, сплетничают о повадках её подруг и знакомых.

И вот, после третьей или четвёртой рюмки коллекционер внезапно говорит: «И всё же я не понимаю — зачем вам всё это понадобилось?..» Лицо собеседника каменеет. Коллекционер безуспешно пытается преодолеть последствия оплошности, но все его попытки заводят в тупик: разговор угасает. Собеседник поспешно прощается и выходит вон.

Минуту-другую коллекционер проводит в одиночестве, пытаясь выбросить из головы эту нелепую историю, не имеющую к нему, в общем, никакого отношения, затем выскакивает на улицу и наблюдает отъезд недавнего собеседника. Нашему герою удаётся проследить его путь до квартиры (любителем детективных историй, разумеется, ничего не стоит представить себе эту сцену во всех подробностях), подняться (скажем, по пожарной лестнице) к окнам и установить несколько микрофонов с дистанционным управлением.

Эту ночь он проводит под окнами, слушая и записывая на плёнку всё, что происходит в комнатах.

Сперва раздаётся голос мужчины, который узнать нетрудно, ведь растались они всего каких-то полчаса назад. Мужчина жалуется на усталость, у него был нелёгкий день: «Не хочешь ли выпить, дорогая? Я уже принял пару рюмашек, но с удовольствием посижу с тобой, если...» В ответ раздаётся междометие, нечто среднее между «хм» и «угу», заставившее коллекционера насторожиться. У него абсолютная память на голоса, он знает, что слышал это «хм» или «угу», он даже знает уже, когда и при каких обстоятельствах, но всё ещё не может поверить. В комнате включают телевизор, коллекционер узнаёт музыкальную заставку древнего телесериала из жизни врачей, медицинских сестёр и пациентов. Женский голос тихонько (словно бы про себя) произносит: «Вот и не упомню — выжил Пьер или нет». Мужчина отвечает: «Его как раз должны прооперировать».

Под утро коллекционер возвращается домой — смертельно усталый, но чрезвычайно довольный собой. Чего стоила бы его коллекция без плёнки, записанной этой ночью.

ЧЕБУРАШКА

1

Бывало, родители уходили вечером из дома, оставляя меня одного, и я слонялся из комнаты в комнату, обмирая от предвкушения удовольствия — не зная ещё, что предпринять, сосредоточившись на ощущении того, что в ближайшие пять-семь часов произойдёт нечто из ряда вон выходящее. Это промежуточное состояние само по себе было удовольствием — пронзительным, глуповатым, как все подлинные удовольствия. Я шагал от стены к стене, устраиваясь там и тут на мгновение или минуту — фаустовский инстинкт гнал меня дальше, и вот — усталый, но умиротворённый, почти в беспмятстве оканчивал долгий маршрут в постели, уснув незаметно для самого себя, покойно и крепко.

Скрежет ключа и приглушённые голоса родителей, вернувшихся из гостей, после партии преферанса, будили меня, но не настолько, чтобы прорваться окончательно: я был способен воспринимать, но вряд ли сумел бы оторвать голову от подушки. Голоса эти принадлежали счастливым людям: в полудрёме я улыбался и согласно кивал шуткам, не предназначенным для моих ушей, прислушивался к разговорам о тех, кого не знал, внимал бесконечным суждениям о правилах карточной игры. Если верно то, что говорят о способностях человеческой психики в пограничных состояниях, то преферансу я научился именно таким образом — в полусне — не технике, но способности интуитивного проникновения в суть происходящего.

В возрасте двенадцати лет я обыгрывал среднего доцента кафедры общественных наук, а к пятнадцати годам сделал солидную карьеру профессионального преферансиста. Окончилась она нелепо: я выиграл довольно крупную сумму у отпрыска известного вора в законе, в результате отцу нехоти пришлось отдуваться. Всё быстро и сравнительно безболезненно уладилось, но карты надолго перестали меня интересовать. Я понял, что законы игры несовершенны, и верное отношение к ней возможно лишь тогда, когда сам ты находишься в состоянии «вне игры».

Шагая взад и вперёд по коридору огромной «полковничьей» квартиры, принадлежавшей родителям, длинному и широкому, заставленному по периметру старой мебелью, я грезил, не пытаясь удержать в памяти сюжеты грёз, говорил от имени персонажей, возникающих в сознании и покидающих его с такой стремительностью, что минуту спустя не помнил, кем был минутой раньше. Отец не одобрял этих занятий и однажды сказал как бы между прочим, что случившееся в мечтах никогда не сбудется наяву. Я спросил: почему? И получил ясный ответ: потому что — так или иначе — это уже случилось. Природа не повторяется в деталях и мелочах, но о важном твердит вновь и вновь, не опасаясь упрёков в тавтологии. Сегодня я думаю, что он был прав, хотя говорил это, вряд ли понимая окончательно смысл сказанного.

Отец мой заведовал отделением крупной психиатрической клиники. То был Человек Прогрессивно Мыслящий, и вместо того, чтобы, пользуясь служебным положением, вымогать у родственников пациентов деньги (думаю, именно так поступали его более продвинутые в отношении гиппократовой этики коллеги), пытался во что бы то ни стало, иногда вопреки здравому смыслу, излечить своих подопечных — в частности, вёл с ними длинные фрейдологи, которые записывал на магнитную ленту.

Содержание этих записей я знал наизусть, хоть мне было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. Вот перечень особенно запомнившихся случаев:

Человек, Который Рисовал Рыб, Человек, Который Видел Лазерный Луч, Человек, Который Глотал Термометры, Человек, Который Думал, Что Болен Гриппом, Человек, Отравившийся Глюконатом Натрия, Интеллигентный Человек, Который Стал Жертвой Нелепых Обстоятельств.

Слушая тайком эти записи, я постиг закон относительной вменяемости в столь нежном возрасте, что к восемнадцати годам мог в течение двух-трёх минут обмануть на спор бдительность любого психиатра при военкомате Минобороны. Этим умением мне не суждено было воспользоваться (из ложной гордости, полагаю), и вот — в возрасте 18-ти лет меня, наравне с одноклассниками, обрили наголо и выдали ремень с бляхой, которую требовалось ежедневно натирать до блеска.

В армии я познакомился с новым, очаровавшим меня абсолютной внятностью принципом отношения к действию. Внешне он сводился к следующему: «Делай всё, чтобы быть битым как можно реже и постарайся сделать так, чтобы тебя не убили». Именно армия научила меня относиться к действию иначе, чем прежде. Я стал рационален и разборчив. Тем не менее, били меня не реже, чем остальных, и грозили убить за жидовство. Уволившись из рядов Вооружённых Сил подобру-поздорову, я с энтузиазмом принялся готовиться к бегству из страны, о которой узнал много нового за время срочной службы, и в кратчайший срок подготовил все необходимые документы.

Следующая зима застала меня в Тель-Авиве.

Это был самый голодный год моей жизни: почти совершенно не зная языка, я пытался устроиться на работу. Выбор был невелик: сторожка при цементном заводе (8-10 часов в сутки, белая пыль в лёгких, в пер-

спективе — астма), раздел «Культура» в русской газете (12-14 часов в сутки, клубы пенсионеров) или временная должность Деда Мороза по вызову (ватная борода, час или два потного веселья) — за те же деньги.

Я выбрал бороду.

Спросили, умею ли я петь, плясать и играть на каком-либо инструменте, на все эти вопросы я ответил утвердительно.

Спросили, люблю ли детей. Возможно. Скорее да, чем нет.

Последний вопрос настораживал: чувствителен ли я к алкоголю? В каком смысле? В смысле: сколько могу выпить.

Даже не знаю. Не задумывался. Мне никогда не хотелось выпить больше, чем организм мог принять — вот истинная правда. И самое главное — я никогда в жизни не заплывал за буйки так далеко, чтобы наутро ничего не помнить.

Мои колебания не ускользнули от внимания интервьюера. «Это хорошо, что вы сомневаетесь, — сказал он, — хороший признак!»

Мой собеседник — пожилой комсомолец, владелец небольшой фирмы услуг: подтянутый, при галстукe (что, вообще говоря, скорее исключение, чем правило в мире небогатых тель-авивских контор, каких пруд пруди на маленьких улочках, примыкающих к Алленби), внимательный взгляд, мягкая улыбка.

Штирлиц в отставке.

Я улыбнулся ему в ответ, и мы пожали друг другу руки.

Мне выдали под расписку новенькую униформу и церемонно представили Опциональной Снегурочке — худенькой нордического типа блондинке по имени Маша. Маша была студенткой и любила группу «АукцЫон». На Маше сэкономили отцы семейств, заказывая наши услуги. В реестре стандартного бланка «Пригласите Деда Мороза» была графа — «Снегурочка (опционально)». Ей приходилось надевать костюм Снегурочки далеко не каждый день, поэтому в дополнение к основным обязанностям она взяла на себя работу водителя минибуса, который должен был доставить нас на место очередной вакханалии.

Впрочем, я не успел в полной мере насладиться её профессиональными навыками. Увы, моя карьера Деда Мороза с треском провалилась, не успев начаться. На всё про всё — один-единственный вызов, один вечер, одна новогодняя ночь. В своё оправдание могу добавить, что это была самая длинная ночь моей жизни. Воспоминания о подобных событиях способны украсить галерею семейных преданий — из ряда тех, что пересказываются из поколения в поколение: деда, расскажи, как ты был Дедом Морозом! Ну что ж, усаживайся поудобнее и слушай.

Прежде всего — дельный совет: если ты вошёл в чужую квартиру в костюме Деда Мороза, за плечами у тебя — мешок, борода из ваты затрудняет дыхание и её время от времени приходится выплёвывать (это с непривычки, говорит Опциональная Снегурочка, это пройдёт), и в тот самый момент, когда ты переступаешь порог, кто-то хватает тебя сзади за глотку и профессиональным полицейским захватом перекрывает кислород — так вот, если ситуация напоминает сказанную, постарайся задерживать дыхание.

Тебе понадобится воздух.

Ты человек, люди — дышат.

Ты не можешь оставаться без кислорода больше минуты, а в состоянии паники — и того меньше.

В это мгновение мир сужается до нескольких сантиметров: до обидного мало, и всё, что удаётся разглядеть (помимо ключев казённых ватных бровей) — мускулистое предплечье агрессора, того, кто подло напал на тебя сзади, в самый деликатный момент, когда ты открыл рот, чтобы произнести: «Что, заждались? А вот и я!», когда ты сделал первый решительный шаг навстречу Судьбе.

2

Человек — куда более хрупкое существо, чем ему самому представляется. Меня вовсе не удивляет тот факт, что порой довольно одного неудачного падения в ванной, чтобы засадить молодого, полного жизненных сил яппи в инвалидную коляску на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны (история это подтверждает), неотвратимый удар судьбы способен в последний момент сменить траекторию, и вместо того, чтобы сровнять твой дом с землёй, угодить в дерево, забор или колодец.

Так, однажды в Армении я попал в горный обвал: вместе с тоннами камня, земли и пыли спустился по склону горы со скоростью курьерского поезда — путь в три километра, который занял при подъёме несколько часов, я проделал за минуту. Вокруг меня катились валуны, каждый — величиной с небольшой дом. Когда всё окончилось, самым трудным было — поверить в то, что это произошло.

Друзей-одноклассников, которые были свидетелями моего падения, я встретил на середине горного склона: они спускались вниз, чтобы отыскать моё брэнное тело, я поднимался, чтобы сообщить им, что жив и здоров.

Ни единой царапины.

Ни дырочки на одежде.

У меня осталось отчётливое ощущение, будто я прокатился на лыжах. Похоже, всё так и было.

Но когда я пришёл в себя на полу чужой квартиры в костюме Деда Мороза, первое впечатление сложилось не самое оптимистичное. «Боже, — подумал я, — мне сломали шею». Мои шейные позвонки решили сменить хозяина, и для начала каждый из них сдвинулся — ненамного, на миллиметр-другой. Оказывается, этого вполне достаточно для того, чтобы перестать считать шею своей собственной.

Следующая мысль: как же здесь воняет!

Это может показаться невероятным, но похоже, что запах этого помещения сыграл для меня роль нюхательной соли или нашатырного спирта, только вместо крохотной склянки под носом в наличии имелась квартира на 150–170 метров квадратных, и каждый её сантиметр был источником невыносимого зловония.

Я не знал ещё, что успею принюхаться к этому запаху и даже в какой-то (роковой) момент перестану обращать на него внимание. Моё обоняние было потрясено до такой степени, что прежде чем я понял, что происходит, меня стошнило.

Если тебе, внучек, когда-либо доведётся блевать в костюме Деда Мороза, первое, что ты должен сделать (до, а не после) — это как можно быстрее снять накладную бороду.

Или хотя бы приподнять её на резинке.

Или хотя бы раздвинуть пальцами отверстие напротив рта, чтобы тебе было, куда блевать.

В противном случае ты окажешься в том положении, в каком оказался я, когда приступ рвоты прошёл.

Нужно было как-то жить дальше. Я бы предпочёл отмотать назад. Или — в крайнем случае — вперёд (хоть и представлял себе степень риска). Но у меня не было выбора: жить предстояло тут и теперь, несмотря на то, что это казалось совершенно невозможным, невысказанным.

Каких-нибудь пару часов спустя я был уже настолько пьян, что, вспоминая первые мгновения своего пребывания в квартире дяди Вити, хохотал до слёз. Дядь Витя, ну как, как же ты мог додуматься до этого? — спрашивал я, и дядя Витя добродушно улыбался и отвечал: а шо? Я смотрел по сторонам, думая о том, что можно сделать с обыкновенной тельавивской квартирой за пару лет непрерывной пьянки: грязь, жир и копоть покрывали ровным слоем все без исключения предметы, находившиеся в пределах досягаемости: стены, стулья, холодильник, дверные ручки и даже экран телевизора.

А ведь ещё каких-нибудь полчаса назад я раскачивался в такт музыке на переднем сиденье минибуса и подпевал Снегурочке Маше, не подозревая о том, что меня ждёт полная приключений ночь в компании сумасшедшего алкоголика.

Впрочем, назвать дядю Витю сумасшедшим означало бы погрешить против истины. Не был он сумасшедшим. Он был выпавшим. Однажды этот человек исчез из нашего мира и появился в другом, не параллельном даже, а — отдельном, прямо по Карлосу Кастанеде. Дядя Витя существовал в реальности, где кроме него и Чебурашки не было ни единой живой души, и всё, что происходило снаружи, за дверью его квартиры, напоминало колыхание теней на стене, как если бы кто-то внезапно зажег спичку в тёмной комнате.

Раз в неделю ему приносили ящик водки и ящик еды — его рацион состоял из пельменей, колбасы, хлеба, отбивных и тушёнки.

И водки.

Неужели тебе никогда не хотелось съесть помидор? — спросил я (это было уже под утро, когда пьянка приблизилась к той роковой черте, за которой события уже не укладываются в общий «сюжет» происходящего, и реальность становится чередой отдельных вспышек осознания).

— Неа, — ответил дядя Витя, — мужик должен любить мясо. Возьми кусок мяса, зажарь и рычи на него!

Дядя Витя был донецким бандитом. Его единственный сын Лёша тоже был бандитом. Когда Лёшу прижали конкуренты, он сплавил отца в Израиль, купил ему пятикомнатную квартиру в центре Тель-Авива и проплатил на три года вперёд услуги ближайшего супермаркета. Посыльный из супермаркета не говорил по-русски. Дядя Витя не говорил на иврите.

Неудивительно, что дядя Витя сошёл с ума. Вернее, как уже было сказано — выпал.

Это случилось в двадцатых числах декабря, на второй год его тель-авивского заточения, годом раньше, чем в дверях этой квартиры появился я в костюме Деда Мороза, с мешком подарков за плечами.

Дядя Витя смотрел телевизор.

По телевизору показывали мультик про голубой вагон.

Из телевизора вышел Чебурашка и предложил дяде Вите сыграть в подкидного.

Дядя Витя отказался. Несмотря на изрядное подпитие, ему хватило ума понять, что дело тут нечисто. Он предложил Чебурашке выпить по стопарику и разойтись тихо-мирно: ушастому нарушителю границ предлагалось вернуться обратно, на плоскость голубого экрана, дядя Витя же в качестве ответного жеста был готов продолжать мотать свой тель-авивский срок, ограничив употребление спиртного до необходимого минимума.

— Я ему говорю: шо ж ты за скотина такая, ни стыда, ни совести. А он: тоже мне, еврей выискался! А ну топай к себе на Украину! Тогда я в него бутылкой кинул. А он, ссука: ты за это ответишь... я теперь, говорит, вообще отсюда не уйду. Буду с тобой жить. Пока не обыграешь меня — в карты. Или пока не подохнешь. Вот и живёт теперь, падла ушастая.

— Где же он? — спросил я, с пьяным ужасом озираясь по сторонам.

— Та он же ж тебя боится, прячется. Вон, в шкафу засел, наверное. Пойдём, посмотрим.

— Постой, дядя Витя. Ты меня сюда зачем притащил?

— Так ведь Новый Год. С живым человеком поговорить, выпить. Не всё же с этим пушистым говном водку глушить. А что тебя зашиб маленько, так ты извини, братуха, я ведь и в прошлом году Деда Мороза вызывал. Заплатил как надо! Привезли его, но дальше коридора, пидор бородатый, не пошёл. Говорит: воняет у тебя тут. Подарки оставил в мешке и ушёл. Нахуя мне его подарки? А?.. Воняет. Мне бы с живой душой, по-человечески.

Я покивал, выплеснул в рот остатки водки в стакане и, собравшись с силами, приподнялся на стуле. Меня сильно качало.

— Ты куда?.. — подозрительно спросил мой собутыльник.

— В туалет, — честно ответил я. Хвала Всевышнему, туалет находился неподалёку от входной двери, а дядя Витя, кажется, был не в том состоянии, чтобы представлять серьёзную угрозу. При свете тусклой жёлтой лампы я попытался отмыть холодной водой пятна на груди форменного костюма, но то ли от выпитого, то ли потому, что вода из крана, судя по запаху, текла ржавая, было совершенно ясно, что чем больше я его тру, тем гряз-

нее он становится. Пошатываясь, я вышел в тёмный коридор, где осветительные приборы, кажется, вообще не были предусмотрены, и попытался на ощупь найти входную дверь.

В это время в комнате дяди Вити что-то рухнуло, старик заорал, перекрикая телевизор. Понять, что он кричит, было невозможно.

Я судорожно нащупал дверь, защёлку, повертел какие-то ручки, пошарил вокруг, надеясь найти ключ. В голове стучало: «Как же на иврите будет "Помогите!"? Если я стану кричать по-русски, там, по ту сторону двери, меня не поймут».

Дядя Витя крушил мебель в своей комнате, я пытался сломать дверь, с разбега прыгая на неё плечом, а после — тараня её ногой.

Не знаю, сколько это продолжалось, помню, что в какой-то момент решил перевести дух и сел прямо на пол перед заколдованной дверью, а очнулся от звука падающей воды и ощущения влажного прикосновения: дядя Витя стоял, выжимая мокрую тряпку над моей головой. Вода падала мне за шиворот.

— Что такое? — спросил я, встрепенувшись.

— Беда, братуха, ОН говорит: никого не выпущу.

— Кто — «ОН»?

— Чебурашка. Подлая тварь. Поймаю — убью нах*й... Говорит: пока я карты меня не обыграешь. Слушай, а ты в дурака умеешь?..

Я помотал головой.

— Ну, зря. Я его, гада, ни разу не обыграл, как ни старался.

— Открой дверь, дядя Витя, — попросил я. — Меня ведь искать будут.

— Зуб даю — не запирали! Наверное, этот говнюк постарался. Он, знаешь, такого наворотить может.

— Дядя Витя, здесь нет никого, только мы с тобой. А у меня на сегодня ещё два заказа. Сейчас Снегурочка за мной приедет. Если дверь не откроешь, она ведь полицию позовёт.

Дядя Витя посмотрел на меня ласково и сказал:

— Не, не позовёт. Я позвонил в твою контору и заплатил за всю новогоднюю ночь. Сказал, детишкам ты очень понравился. Забавный ты, братуха. Я вытаращил глаза.

— Да ты не бойся, мы с тобой ещё хряпнем как надо. А шо?.. У людей праздник. Давай, Димыч! Шоб в ушах зазвенело!!!

3

Слушая украдкой записи папиных пациентов, я частенько задумывался, в самом ли деле логика клинического безумия противоречит обычной, повседневной логике. Человек, Который Глотал Термометры, делал это не за здорово живёшь, он глотал термометры в отместку за причинённые обиды — действительные или мнимые. Чаще всего его обижали санитары — люди физически крепкие, но — бездушные, способные обидеть как больного, так и здорового. Логическая цепочка «обида — месть — термометр» кому-то может показаться абсурдной, притянутой за уши, но давайте посмотрим правде в глаза: в самом ли деле «стресс — сигарета — рак лёг-

ких» или «долгожданная встреча — бутылка водки — головная боль» или даже «женщина — цветы — кино — постель» выглядит разумнее или целесообразнее?

У дяди Вити был Чебурашка, у меня — дядя Витя. Мне было трудно поверить в существование маленького пушистого мерзавца, но ведь и сам по себе факт существования дяди Вити мог бы показаться весьма сомнительным человеку, не говорящему по-русски: феномен из разряда тех, что появляются на страницах жёлтой прессы: «Японка три года просидела в шкафу», «Мальчик был воспитан орангутангом», «Дедушка подарил внучку резиновую женщину» или «Профессор астрономии подглядывал за соседкой при помощи дальнобойного телескопа».

Первого января, в полшестого утра, когда законопослушные ивритоязычные граждане ещё не проснулись, а русскоязычные — после салата «Оливье», разбавленного сладким артемовским шампанским — уже улеглись, на улицу Алленби вышел Дед Мороз.

Он был без Снегурочки, без мешка для подарков и без оленьей упряжки.

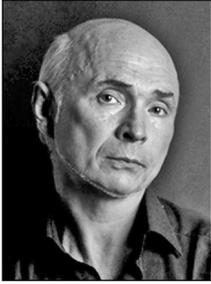
Бороду он потерял или, возможно, оставил на память фанатам или ночным поклонницам, правая ватная бровь опустилась так низко, что почти полностью закрыла обозрение, левая отсутствовала вовсе, пластмассовые очки покосились, и даже круглый красный нос съехал набок. Просторный халат был порван в трёх местах, перепачкан чем-то ядовито-зелёным и сильно обожжён, будто кто-то пытался выяснить, что получится, если подпалить его с разных сторон зажигалкой, и только форменная шапка с пушистой каёмкой сидела на нём как влитая.

— Всё в порядке? — осторожно спросила девушка при исполнении, выглядывая из окошка полицейской машины.

Я помахал ей рукой, пытаясь изобразить любезную улыбку. Небольшой утренний променад после бурной новогодней ночи. Ничего из ряда вон выходящего.

Девушка помахала в ответ и засмеялась. Их тут, в Тель-Авиве, ничем не проймёшь.

Когда полицейская машина, наконец, отчалила и скрылась за горизонтом, я остановился как вкопанный. Мне вдруг стало ясно, что я совершенно не помню, как выбрался. Глубокий провал в памяти, заполненный каким-то мельтешением, гиканьем, плясками на столе, дяди-витиным хохотком, его колоритным «а шо?». Чем дальше, тем лучше я понимал, что со мной произошло нечто настолько странное и удивительное, что память предпочла похоронить это в своих тайниках и подвалах — чтобы не смущать меня, не портить мне жизнь, не дать повода усомниться в незыблемости законов повседневного существования. И только одна фраза, состоящая из двух слов: «пики — козыри» — засела в голове так прочно, будто сама по себе могла объяснить, чем закончился этот необыкновенный новогодний ужин.



Сергей ШАТАЛОВ

/ Донецк /

Из цикла
«Театр плохих актеров»

МЕЖДУ-ЗДЕСЬ

Художник размышлял примерно так: «Если Господь — вездесущ, значит, ему нет необходимости путешествовать, значит, ему нужна одна неподвижная точка, из которой он сможет видеть ВСЕ, и эта неподвижная точка должна соответствовать определенному цвету и времени. Ну, скажем, домик в саду и краски ТАКИЕ, что это даже не краски и не время, а пронзительное сияние, — пейзажист, предвкушая удачу, заверил себя. — Это и будет цена такого полотна».

— Сколько стоит ваша работа?

— Она не продается.

— Я из чистого любопытства, — засуетился посетитель. — Это же аукцион, а не смотрины вашей картины.

— Зря ты принес ее сюда, все равно никто не купит, как и в прошлый раз, да и в позапрошлый, — обреченно сказал приятель художника. — Замуруй меня в нее — все и случится.

— Это как?

— Как... как, — приятель глазами пробежался по холсту. — Поселюсь я в этом садовом домике и дело с концом.

— Вместо кого?

— Вместо себя. Там же все равно никто не живет. А, судя по краскам, в саду — весна, все благоухает, вот до холодов и продержусь.

— Это как?

Приятель отсчитал в сторону картины несколько шагов, затем в сторону от солнца под прямым углом и, резко развернувшись, открыл дверь в садовом домике. Он снял выцветшие одежды и, почти сияющий, растворился в дверном проеме. Художник спешно сделал несколько мазков на облупившейся палитре, и все произошедшее сошло за невидимость.

— Как-то здесь все... необустроенно, — сообщил приятель.

— Конечно, картина-то написана давно и на твое присутствие не рассчитана.

— Откуда столько ракушек?

— С прошлого холста остались. Работа не получилась, вот я и...

— Да они прямо говорящие. Кричат, разрываются, — приятель поднес одну из ракушек к уху, — тонет там кто-то или что-то...

— Я рисовал тонущий корабль. Вот он до сих пор и наполняется водой. Посоветуй команде надеть спасательные жилеты и пересечь в шлюпки.

И тут солнце кардинально поменяло направление воды, и бабочка, разбавленная дождем, влетела в садовый домик.

— Откуда дождь?

— Не знаю, — и, как бы в оправдание, — я вообще не умею рисовать падающую воду.

Внезапно бабочка оживила череп скелета, занимавшего сердцевину комнаты садовника. Скелет стоял, как стакан молока: высокий, холодный, нездешний. И свет вошедшего на мгновение возродил ему тело. Но чье? «Меня здесь нет» — светилось на лбу черепа.

— Ты знал его?

— Нашел на старом кладбище, когда пытался незаметно пройти мимо чужой картины.

— А что на ней было?

— Видимо, перестоялась на глазах у любителей живописи и забродила, как старое варенье. Я как-то очень этого не люблю, а тут — скелет.

— По-моему, — твоя лучшая работа.

— Да как сказать, — болезненно хмыкнул художник. — Если учесть, что скелет получился не сразу и пришлось заменить своим, то...

— Так это ты здесь в полный рост! — воскликнул приятель, — Когда мы стояли в том месте, «где свидание малины с грозой», и молния скорби еще не сожгла твои одежды, ты выкрикивал: «На что похожи звуки в этом саду?!» Так на что они похожи?

— На боль, о которой ты не имеешь ни малейшего представления.

— Уже имею, — и у приятеля носом пошла кровь, — я же сейчас продаю твою работу почти ценой себя.

Тем временем картина изменилась.

— Сто цветов сокрыты глубоко, — буркнул, глядя на сияющее полотно, остолбеневший покупатель и собрался расплатиться.

— Стоп, стоп, стоп! Это не по правилам аукциона. Картина должна уйти с молотка, — потребовал аукционист.

«В этот день, в эту ночь, в этот дождь ищи того, кого уже нашли...», — обхватив руками картину, пропел счастливый обладатель и...

Вслед ему, кажется, покатилося солнце.

ИГРАЕМ В ДЕКАДАНС

Я знаю, откуда эта капля крови.
Ты забыл вынуть нож из рта.

Ольга Крашенко

— У нее было два сердца. Два сердца и большое чувство...

— У меня было два сердца. В теле стоял такой грохот... Своим неожиданным перемещением я могла напугать любого.

— Любое ее перемещение узнавалось по контурам шума. Особенно ночью, в полной тишине, в отсутствие света.

— Особенно ночью, в полной тишине, в отсутствие света. Никто не мог уснуть, даже самые близкие, даже те, кто, казалось, уже привык.

— Даже те, кто, казалось, уже привык, наполнялись простором чистого, нетронутого существования и становились взрослее на целую нечеловеческую жизнь.

— Порой меня покидали на целую нечеловеческую жизнь. Покидали все и вся. Даже предметы и вещи. Меня уверяли, что они всего лишь на время забыли обо мне, но на самом деле...

— Но на самом деле переживать ее присутствие вблизи требовало определенной подготовки и мужества. Любая пауза в разговоре давала повод задуматься: а сколько нас в комнате?

— Любая пауза в разговоре — проявление моей слабости. Я не должна делать паузы. Я должна говорить, говорить, говорить о чем угодно, лишь бы заглушить этот гул. Лишь бы пересилить эту невозможность остаться наедине.

— Лишь бы пересилить эту невозможность остаться в глуши самого себя без позывных и опознавательных знаков и видеть в ней только женщину. Губы, глаза. Глаза, губы, запах волос, но запах на мгновение. Потом его уносит незримое и возвращаются глаза, губы, глаза. Губы подрагивают, губы всегда подрагивают, как бы хотят о чем-то предостеречь. Губы как видимая часть сердца, но какого?

— Губы как-то связаны с сердцем, правда, я не знаю как. В этом есть что-то простое и несбыточное, что-то очень бездомное... А если к ним прикоснуться другими губами?

— А если к ним прикоснуться моими губами? Неужели я стану частью ее двойников? Этого грохота, этого недомогания, этого вызова...

— В его поцелуе все засекречено: комната, окна, двери, я... Теперь ничего и никого не могу различить. Никого! Только ОН.

— Кто?

— Не знаю...

— Она какое-то время не подавала признаков жизни. Разве можно так долго не жить? Ее тело... ее бездыханное тело...

— Только не сейчас! Только не сейчас... Воздуха больше нет. Есть разреженная вода. Есть близкое небо, есть царапины на стене. Есть кровь. Крови много. Ее хватит на двоих, на троих, на целую жизнь. Ее хватит...

— Откуда столько крови? Почему в моих руках нож? Почему ее грудь... Боже!

— Боже, зачем я его к этому подвела? Зачем? Я была уверена, что все обойдется. Я была уверена, что в этом нет ничего страшного.

— Как бы не так, как бы не так... С твоим сердцем, с твоим бешеным сердцем оборвалось мое. Вызвать скорую и б е ж а т ь...

— Тебе некуда бежать... Ты привязан ко мне... Ты не можешь бежать...

— В комнате стало значительно тише. Одни ходики: тик-тик-тик, один я с иголкой и ниткой. Все хорошо, все хорошо...

— Уезжай от моего сердца! От моего разбитого сердца! Вот билет! Вот еще один! Еще и еще... Мое сердце больше не перенесет твоего присутствия, с л ы - ш и - и - и ш ь?

Много воды. Много меня. Вода. Мыло. Жидкое мыло. Мою голову. Долго мою голову. Мою голову так, что из нее поднимается солнце и волосы сами по себе (да-да, сами по себе) становаются его продолжением. Солнца оказывается больше, чем крови во всех комнатах, и я перестаю его понимать. Только радость. Такая хмельная радость. И не хочется останавливаться в этой тишине. Н е х о - ч е - е т - с я...

ТЕАТР ПЛОХИХ АКТЕРОВ

Следящие за мной сильнее меня.

Максим Суханов

— ...У вас не хватит сердца, молодой человек, столько времени жить без крыши над головой! — заключила сидящая в инвалидной коляске старуха. — Я могу вам предоставить самую светлую комнату в своем доме. Можете приводить друзей, женщин, кутить до утра. В этом плане у меня не будет к вам претензий. Более того, я не стану брать с вас плату за жилье.

— Но я едва с вами знаком! Я для вас просто воздух. А вы так... — едва сдерживая радость. — Я всего лишь странствующий астрофизик — и только. — Юноше показалось, что он удачно пошутил.

— Вот-вот: странствующий, значит — увлеченный.

— На самом деле ничем я не увлечен: только и делаю, что живу.

— Ну, что ж, тогда и мне поможете в этом занятии, — очень уж актерски улыбнулась старуха. — Не подумайте, что за мной нужен уход, — я еще крепкий орешек. Однако чтобы у вас не возникло лиш-

них иллюзий, я объясню условия, на которых вы сможете пересмотреть мое предложение, — ее взгляд и голос обрели режиссерский каприз. — Мне не важно, нравится ли вам театр или нет. Мне нужно, чтобы вы его посещали и всякий раз после просмотра пересказывали увиденное.

— А если у меня не получится?

— Вы когда-нибудь рассказывали свои сны?

— Нет.

— Но вам же хотелось когда-нибудь кому-нибудь их рассказать? Ведь сон — это театр с ключиком. — И, не дожидаясь ответа: — Вот вам два билета. После спектакля я жду вас к ужину.

Молодой человек медленно закрыл дверь. А дверь закрывалась так медленно, а его лицо исчезало так спокойно, что за ужином старуха не преминула вспомнить:

— Мне ваш уход показался слишком театральным. Вы, наверняка, не обратили на это внимания, но все оказалось выше всех ожиданий. Ваше сосредоточенное лицо, медленно исчезающее за горизонтом двери, а ваш наряд...

— Какой там наряд...

— Да не скажите: черная рубашка, у ворота — золотая роза, черный френч — как тень начинающегося спектакля...

— Выбирать особенно не из чего: это мой единственный костюм...

Старуха засуетилась, подливая чай и подкладывая сладости.

— И что же нам сегодня подарил театр?

— Женщину.

— Совсем одну?

— Совсем.

— И что же дальше?

— Она долго ходила по сцене, будто забыла текст. Некоторое время я плохо понимал, что происходит, но это была явно не игра. Она без стеснения, прямо в упор, рассматривала зрителей.

— И вы ей понравились?

— Она не видела меня.

— У вас же хороший ряд и место!

— Я немного опоздал и сел не на свое.

Старуха озабоченно:

— Я так и знала, что пропустите самое интересное!

— Ничего подобного!

— Почему же она забыла текст?

— Когда я входил и боялся дверного хлопка, на сцену вышла пожилая женщина и сказала: «Эта актриса — моя дочь».

— Так и сказала?

— Слово в слово. А когда я сел и стул своим скрипом озвучил зал, она демонстративно развернулась и ушла. Но времени было достаточно, чтобы рассмотреть ее лицо.

— Что-то особенное?

— Мне показалось, что она очень страдает.

— От того, что дочь на сцене, или от того, что она из другого театра?

— Не все так просто... Ее уход не был в прямом смысле уходом: стоявшая рядом с кулисами женщина оказалась очень похожей на «мать», только гораздо моложе. Она смотрела на нас, будто выискивала ту, которая ушла. А мы мучительно ждали начала спектакля, поскрипывая стульями.

— Разделась бы — и все тут!

— Своим молчанием она только усугубляла свое положение на сцене. Даже кто-то из зала крикнул: «Вы не в нашем вкусе!»

— Явно подсадной!

— Она трогала воздух так, будто он твердый. Будто он навсегда откасался быть легким, и только губы, запекшиеся в слово, вбрасывали лицо в бесконечный монолог.

— Что-то удалось услышать?

— Она просила. Она просто умоляла сдать билеты в кассу, забрать свои деньги и вернуться домой! Вот я и здесь, в этот поздний час. За этим столом.

— Где же вы все это время пропадали?

— Прямо из театра я поехал в аэропорт. Наблюдать, как взлетают и садятся самолеты.

— Bravo, bravo, bravo! Если учесть, что в то время, когда вы находились в аэропорту, один из взлетевших самолетов потерял связь с землей, то спектакль еще не закончился!

— Откуда такие сведения?

— Просто взяла и придумала... Очень уж хотелось что-нибудь придумать!

Параллельно ее словам диктор по радио подтвердил исчезновение самолета.

— Совпадение, — заключил молодой человек, — чистое совпадение! Да и каким боком здесь я?

Утром на кухне встреча со старухой не случилась. Рядом с завтраком лежали два билета на другой спектакль.

— И что же нам сегодня? — обуреваемая нетерпением, распахнула входную дверь дома хозяйка.

— Мне ночью приснился пропавший самолет... — начал было, переступая порог, промокший от дождя квартирант, — в аэропорту повсюду толпились встречающие, даже на летном поле, а пассажиры, зная, что они временно не существуют, покидая трап, приветствовали только меня. Будто я был единственно реальным персонажем. Они кивали мне головой и уходили куда-то за пределы видимости...

— При чем здесь сон! Вы были в театре или нет?

Он, очень неохотно:

— Да.

Потом подошел к окну и поставил на подоконник кактус.

— Это что, из театра?

Снова неохотно:

— Да.

Старуха жестом пригласила молодого человека за стол и сосредоточилась в предвкушении рассказа.

— А рассказа не будет.

— Что за ерунда!

Хозяйка чуть не поперхнулась собственной слюной.

— Актриса, исполнявшая главную роль, — умерла. Кактус я выменял на два билета у стоявшей у входа женщины. Она уверяла, что в этом спектакле кактус — самый главный. Главнее умершей актрисы.

— Вы, наверное, ошиблись театром? Я посылала вас на спектакль, в котором никто не должен умереть! И кактусов там никаких нет в помине! Вероятно, вы попали туда, где лица актеров всегда вымазаны белизной, и потому они непрерывно орут и жестикулируют, как ненормальные. Так что смерть в такой среде — обычное дело.

Квартирант неожиданно для старухи закурил.

— Всем любопытствующим женщина с кактусом раздавала свидетельства о смерти актрисы. В этом листке большими буквами написано, что ее уход — полная неожиданность! И вообще, по словам очевидцев, в этом театре никто никогда не умирал!

— Врут! — остудила взволнованную речь старуха. — В театре всякое случается. Хотя я никогда не слышала, чтобы умерших актеров в нашем городе опускали в землю или кремировали.

Старуха прицельно взглянула на собеседника.

— Вы приглашены на похороны?

— Да. Вместе с кактусом.

— С обратной стороны свидетельства о смерти — ее прижизненная фотография?

— Кажется, да.

— Я вас поздравляю! Самое интересное случится завтра!

Завтра наступило как-то сразу и за кухонным столом, будто собеседники таким образом провели всю ночь, причем квартирант не покидал пределы дома. Однако его рассказ утверждал обратное.

— Когда я вошел в фойе театра, кактус отобрали и положили в гроб. Но гроб был не один, а целых три...

— Странная неразбериха... Но вы хоть полюбопытствовали, что там или кто там?

— Конечно! Когда на мгновение зал опустел: зрителей-то почти не было, а устроители зазевались...

— Неужели во всех трех гробах лежала одна и та же женщина?

— Именно!

— Вы пробовали с ней заговорить?

— В этом деле друзей и союзников нет и быть не может! Поначалу у меня перехватило дыхание, будто я подавился яблоком (ну, тем самым, из райского с а д а!). И ко всему, я осознал, что пришел не на похороны, а на спектакль! Я был уверен, что они меня разыгрывают, но в каждом гробу лежала она, как заплаканное божество, как та, которую встречал каждый день. Как потрясающая актриса, сумевшая сыграть себя в трех версиях одной смерти.

— Интересно, сколько же у нее тел?

— Одно... Но она не остановилась на нем одном: в театре всего должно быть беспощадно много, чтобы на самой последней репетиции ощутить себя без текста, без партнера, без спектакля. Она лежала абсолютно, как чистое событие. Она была почти ничто!

— Ну, все-таки почти?

— Я так говорю по причине некоторых неточностей: я побоялся прикоснуться к ней, так как дрожь охватила все мое тело, и потому утверждать что-либо окончательно не имею оснований.

— А какова роль кактуса?

— Кактус оказался подслушивающим устройством: все, о чем мы с вами говорили, я услышал в зале вместо похоронного марша.

— Как-то я недооценила их сразу...

Старуха открыла шкаф и попросила молодого человека достать бутылку вина.

— Если верить водолазам, вино очень древнее: его нашли в трюме корабля, который перевозил один малоизвестный театр. Корабль затонул при полном штиле и на большой глубине. Актеры даже не успели пригубить. Помимо всякой всячины, в трюме находились декорации. Сейчас трудно установить, какой спектакль они везли. Но те, кто «следил» за жизнью этой трупы, дают самые противоречивые сведения. Кое-кому пришло в голову сыграть среди спасенных декораций без грима, без текста и без чувства трагедии. Все это закончилось печально — так говорят. Причем многие так говорят. Одним словом, эту бутылку с содержанием затонувшего спектакля нужно распить после первого звонка со всеми героями и ни с кем более.

— Сегодня снова премьера?

— Да, но другая. В театр желательно войти со служебного входа и незаметно.

— Какой вам в этом прок?

— Спектакль предназначен для того, чтобы утонуть в нем с головой! На дне так много драгоценностей и так мало искусства... Именно поэтому нужна такая осторожность.

Молодой человек кивнул в знак согласия.

— Неужели вы слишком случайны, чтобы обнаружиться?

— Честно говоря, совсем не хочется, чтобы меня воспринимали как увеличительное стекло плохо загримированного актера. Я собираюсь бесконечное количество раз обратить на себя внимание даже тех, кому я покажусь невидимым. Я напою этим вином всю актерскую братию и ни одному из них не позволю выйти к зрителям. Спектакль начнется, но без актеров.

Он открыл бутылку и разлил густую смолистую жидкость в стакан старухи, а потом себе. Старуха выпила залпом.

— Вот она, идея самоуничтожения! — выдохнула хозяйка.

Молодой человек последовал ее примеру.

— Кислятина! — заключил он, глядя в окно.

В окне за происходящим в доме наблюдал некто в шутовском наряде, как шахматное чучело.

— Они уже здесь!

— Не может быть! — с этими словами старуха подкатила к окну и, приподнявшись над коляской, воткнулась лбом в стекло. Лицо шута не дрогнуло, будто это и не лицо вовсе, а копейная маска.

— Не может быть! — еще раз пробормотали бескровные губы. — Они не могли нас так быстро вычислить!

— Нужно оставить все как есть и уйти — финал додумают сами.

— Нет. Нет! Они не переживут этого! Они подадут в розыск, они на вертолетах будут протрещивать леса и горы...

Молодой человек и старуха «инвалид» выбежали из дома.

У ворот их поджидал катафалк с тремя гробами.

Кажется, срывался первый снег.

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

В. Рафеевко

Перед тем как все наступило, был пронзительный сон: я в ожидании чьих-то губ, но вместо них бродят исключительно печальные звери и каждым движением внушают мне запредельную нежность. Таков был сон. А потом...

Кому из нас первому пришло в голову отстоять дом любой ценой, трудно сейчас припомнить. Зато до сих пор несмылаемо застыли мои слова на лице Санчо:

— Ты зачем поменял местами стулья и придвинул стол к стене?

— Не знаю, но, наверное, это был не я.

— Кроме нас двоих в доме больше никого нет.

— Тогда это сделал я, но я этого не делал.

Однако самым чудовищным оказалось другое — хроническое исчезновение комнатных тапочек. ОН, ОН, я знаю — ОН: нас в доме двое, больше некому.

Если бы все происходило на сцене, если бы это только можно представить, я, не задумываясь, повернулся бы к зрителям спиной и вызывающе промолчал весь оставшийся текст. Партнеры просто умирали бы от злости, что я им не отвечаю, что я нарушаю весь замысел, а зрители, особенно из среды заядлых театралов, решили бы, что это триумф современной мистерии. Но здесь, в доме, так поступать нельзя. Что-то неладное во всем этом. Ко всему Санчо зачем-то взял мою зубную щетку, обильно выдавил ароматную пасту и...

— Мы будем защищаться, — сказал я Санчо и протянул ему АКМ. Точно такой же оказался и в моих руках. О, с каким азартом мы таскали

откуда-то из подвала мешки с песком, баррикадируя окна, двери, пропуская между делом стаканчик красного вина! А особенно... Особенно долго говорили, как мы начинались.

НА этом ВЫДОХЕ... НА том ВДОХЕ...

Сколько их среди этих комнат, посреди нашей памяти!.. Это как не отправленные письма, как голос, который хочется задержать любым способом, под любыми предлогами и поместить в эти стены, а потом приручать, приручать...

Дорогой, любимый голос! Мы вскормили тебя до размеров нашего восхищения, до бесконечности, которую ты прервешь облаком воспарившего озера, со всеми его придыханиями и хрипами. Это и будет наша жизнь, от которой не захочется уходить, убежать, з а б ы т ь с я. НО! Не перемещай стулья в том порядке, который не задуман!

В зеркале спальни комнаты качнулась сирень. Вероятно, кто-то движется перед окном, и получается — благодаря зеркалу он как бы в комнате. А может, это?..

Тра-та-та-та-та-та-та!

— Стоять! — кричал вбегающий Санчо.

— Не ори, — успокаиваю его. — Это я. Почти обойму в зеркало...

Санчо просто озверел, выбил ногой окно и спустил курок. Я сделал то же самое, только с другим окном, и выстрелил оттуда в сторону леса из гранатомета.

— Смотри, попал! — вытирая пот, сказал Санчо.

В середине леса вспыхнуло мертвое дерево. Как ритуально оно горело! Санчо и я пробивались сквозь дебри, отнимая у встречных животных куски парного мяса, тем самым утверждая свое превосходство. Момент хорошел от вызывающего вгрызания здоровыми зубами в сердцевину мякоти. Но откуда такая неслыханная печаль? Она двигалась вблизи горизонта, якобы не замечая нас, но...

Но я стою в открытом окне, а Луна с вызубренной осенью разгуливает в моем теле, жилах, дверях, которых нет... «В доме нет дверей, Санчо! Они их вынесли! И никто и никогда не простит и не поймет этих рук, взволнованных до состояния покоя, прошивающих меня только очертанием движения. Никто и никогда, слышишь, Санчо. Никто и никогда!»

— Как видишь, мы в середине леса.

Вокруг развеваются знамена, и хочется плакать. Мы обнимаемся. Мы видим перед собой пылающее дерево. Мы так близко стоим перед ним, что наши лица покрывает загар. А может, оно таким образом входит в нас или это пепел побед хочет вернуть наши руки к оружию?

— Знай, это я по ночам краду тапочки, — признался Санчо. — Но если ты запретишь мне это делать, я уйду от тебя.

Санчо забрался под кровать и принялся вытаскивать чемоданы с моими детскими игрушками. Старые чемоданы моего деда. Он всегда уезжал с ними, правда, я никогда не знал куда. Когда же возвращался, чемоданы пахли грибами. Как я любил оставаться с ними совсем рядом! Но так, чтобы никто не видел. Для этого здорово подходила ночь. Ночь, я и чемоданы. Ночь, чемоданы и я. Я, ночь и... А потом мы хранили в них

орехи. А потом... Потом Санчо вскрывал мои реликвии и, к моему, но не к его удивлению, находил там бесконечное множество патронов. Потом «с полным знанием дела» говорил, что этого нам хватит, чтобы продержаться где-то до весны, и так же по-деловому начинал набивать пустые магазины автоматов.

Санчо, милый Санчо! Как ты изменился за эти несколько часов! Неужели ты стал забывать ее? Неужели она так далеко, что... ОНА, всегда ОНА, всё ОНА... В сумерках ОНА, рядом с опадающей хризантемой, осторожно пришивает к стеблю потерянные лепестки. А вот, при полном солнце, ОНА подолгу стоит у дерева, становясь почти неразличимой. А ночью ОНА по запыленной мебели, как бы шутя, ну да, совсем ради смеха, пишет кому-то опасные донесения.

ОНА. ОНА! ОНА не ведала, что творила, вбегая в нас и поспешно меняя вокруг дверные замки. Как звучал твой голос, Санчо, доведенный до ключа невозвращения! Но мы хотели, мы старались, мы делали все, чтобы спасти дом от этого ужаса. Мы вынесли на берег реки мебель, которая могла помнить хоть что-то о ней, и приговоренная мебель погрузилась в воду, как наказанный ребенок погружается в угол своего наказания. Тогда ты бросился вплавь догонять. Что ты хотел догнать, Санчо? Что?!

«Время любования дождем», — говоришь ты, набивая патронами очередной магазин. Теперь только на крышу, ибо золото этой печали разрушает лес и небо, и лишь то, до чего мы можем достучаться, встречает дождь. Поэтому дождь идет в каждом отдельном фрагменте дня с разной одержимостью, с разной, Санчо! А там, где все забыто, дождь не идет вовсе.

Это по ее доносам началась война!

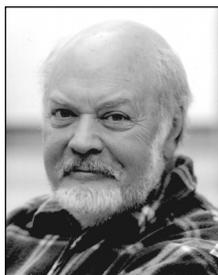
Который день, Санчо, ты подносишь и подносишь мне патроны. Сам, конечно, не стреляешь. Тебя тошнит от стрельбы. Ты на облаке разрушенной крыши под проливным дождем едва удерживаешь меня от безумия проорать невозможное слово. Слово, которое я никогда не произносил. И сейчас, находясь в полном его постижении, готов был вообразить себе того, кто страх своей смерти изучает, влюбляясь в малейший шорох...

А эти, в масках, требуют, чтобы мы покинули дом. Они заявляют, что своим поступком мы оскверняем большой карнавал и что это, с нашей стороны, всего-навсего (всего-навсего?!) оккупация скучной дороги.

Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та!!!

Лев АННИНСКИЙ

/ Москва /



ЛЕДЯНАЯ ГОРА СРЕДИ ГОРЯЧИХ МИРАЖЕЙ

*Александр Айзенберг «36. Голографические импровизации»,
Санкт-Петербург, «Алетейя» 2013*

По ходу дела я надеюсь сообразить, что в этой фразе *подлежит*, а что *дополняет* подлежащее. Но прежде хочу признаться, сколь остро жалею, читая Айзенберга, что ушла от нас красавица Одесса в украинскую незалежность: не знаю, как принимают его прозу в тамошней литературной ситуации (я после развала Союза перестал за нею следить), но в ситуации российской эта проза вызвала бы сейчас, я думаю, воспалённо горячий отклик.

Она рождена на границе наших литератур. Носители суржика с неутихающим самозабвением корёжат русскую речь, как корёжат и мову, но ведь и жизнь этих людей корёжит.

Что за жизнь?

Неуловимое «нечто», ускользающее как «ничто».

1919 год. На Украине — гражданская война. В местечке — петлюровцы. В подвале, не дыша, — евреи. Вдруг начинает плакать младенец. Демаскировка смертельна! Один из затаившихся берёт младенца, осторожно выносит из подвала и кладёт на снег.

На снег — на смерть?

Всё описано «исчезающими штрихами». Пуантилистски, — как сказали бы живописцы изысканного стиля. Но здесь стиль не изыскан — он западает в немоту. В ничто. Слышны только звуки недалёкого погрома. Да плач неутихающего младенца. Потом — скрип сапог: кто-то его уносит.

Уносит — в небытие.

Ситуация — пунктир небытия, а тут — явная гибель: петлюровцы кругом. Это же непредсказуемо!

Непредсказуемо: не петлюровец подбирает ребёнка, а случившийся здесь петроградский рабочий. Так же непредсказуемо в ходе боевых действий местечко отвоёвывают красные. И забирают младенца.

Так смысл неожиданно прорисовывается в смертельной бессмыслице. Он, смысл, брезжит из ничего, он ничем не гарантирован, он разомкнут в небытие, и нужна только ещё одна точка — замкнуть его...

Младенец выжил. Вырос. Реализовался как действующий участник истории.

25 лет спустя он брал Кенигсберг.

Эпизод — поразительно важный при ответе на вопрос о смысле событий, кажущихся непоправимо бессмысленными, трагически безысходными, невеняемыми в беспощадности.

Что-то, значит, стоит за этой антижизнью. Что-то невидимое, неощутимое, спрятанное за этим «ничто».

Разгадать неугадываемое, объяснить необъяснимое, поймать неуловимое — этим желанием продиктована и странная художественная фактура. Этюды, исполненные в «воздушной», пуантилистской технике перемежаются с плотно, густо, иногда тяжеловато написанными рассуждениями «Из философских тетрадей» — о том, можно ли и как можно познать это не поддающееся познанию бытие.

Чем фундаментальнее вопросы, тем острее скальпель анализа. Особенно те вопросы, что в качестве основных обкатаны марксизмом.

«Основной вопрос философии. Что первично: материя-бытие или сознание? То есть, кто прав: идеалисты или материалисты?»

Да это же зависит от того, на какой ноге стоять: на правой или на левой. А если на двух, так это всё равно, что на 22-х. Перебор неизбежен. Кто автор драмы бытия? Драматург? Он только соавтор. А спектакль, без которого пьеса мертворождённа, создают ещё и режиссёр, костюмер, художник, сценограф, актёры, а по нынешним временам ещё и спонсор... Что же такое «первичность»? То, что мы в данной ситуации считаем точкой опоры! Временной или постоянной, неважно.

Чтобы уравновесить этот агностический синдром, мобилизуется следующий основной вопрос... но не философии, а потребления:

«Жареных тараканов продолжают есть в Таиланде, но в стране, где можно есть вареники с творогом или там с вишнями, — тараканы, как часть меню, вряд ли имеют шансы на массовый успех».

Зато в родных палестинах у тараканов — все шансы. Особенно если понятия подкрепляются заклинаниями. Например:

«Азиатская хитрость», «загадочная русская душа», «тысячелетняя скорбь еврейского народа»... Ну, и т.д.

Реальны ли эти суждения? Ведь азиатская хитрость отнюдь не свойственна всем жителям Азии. Загадочность мучит вовсе не всякого русского. Скорбь отнюдь не мешает еврею участвовать в штурме Кёнигсберга в 1945 году. Но при всей размашистости национально-геополитических определений — они выработаны тысячелетней практи-

кой народов. Без всяких научных обоснований, а именно практически: кровью, слезами, обжигающим пламенем агрессии, знобящим режимом диктатур...

Однако хочется всё-таки обнаружить в этом практическом беспределе, в этой пляске миражей — некие законы. Автору-повествователю явно по душе «правовые построения». На первом курсе института он выбрал тему по теории государства и права. Юридическое образование получил ещё при советской власти, когда поколение, родившееся уже после войны, отправилось не в окопы, а в ВУЗы.

И что там было усвоено в качестве скреп мироздания?

«Законы...Законы... Много законов».

«И вот лежат законы. И что же?»

«Я вам знайшов! (Из глубины подсознания рвётся суржик). Про права. Но не про їх виконання».

На чём же держится наш мир? — спрашивает герой-рассказчик. И воет от отчаяния:

«Не понима-аю-ю!»

Логике ищет.

Запутанный клубок идей и действий катится по шляху истории, подталкиваемый практическими интересами, или, лучше сказать, императивами.

Императивы: комфортность, мода, пассионарность (коллективная одержимость?) и прочие неотменимые цели и задачи конкретного бытия — делают это бытие неотличимым от реальности, и чем неощутимее управляет этим делом «нечто», тем правдоподобней оно кажется (и является — в практике истории). Голографически.

«Историческая голография» ещё один излюбленный жанр Айзенберга. Особенно интересный, когда эта неотличимая от реальности голография грозит рассыпаться из-за внутренней бессосновности, то есть из-за таящегося в основе всего хаоса. Таятся «нечто» готовое столкнуть всё в «ничто».

Крестоносцы, заполучившие в своё распоряжение Иерусалим, вот-вот передерутся между собой.

Дерутся поляки и русские, жолнежи и казаки, верноподданные государственной регулярности, — для евреев в 1648 году это оборачивается безбашенными погромами. И бегут евреи с Украины аж в Нидерланды, чтобы потом бежать обратно на Украину, утешаясь в этой драме абсурда лишь тем, что в Нидерландах спасался и великий умник Спиноза.

Талейран и Меттерних, умники Венского конгресса, пытаются выстроить будущее Европы по какой-то новой логике (справедливые законы и проч.), а Бонапарт требует оставить всё так, как практически сложилось... А сложилось так, что век спустя Европа обрушится в мировую войну...

Правда-справедливость зависит от того, кто кому накостыляет в очередной «последней» драке. Кто поставит победный камень. То ли на западе, то ли на востоке.

И не говорите ничего про загадки российского западничества: Петр Первый никаким «западником» не был, а просто действовал так, чтобы одолеть противников и укрепить монолит государственности.

Славянство — никакой не монолит. «Славянофильство» — термин столь же изменчивый, как «западничество». Хотя оба термина бывают целесообразны в хаосе истории.

Так что же такое этот хаос?

Так сказано же: это нечто, очерчивающее ничто.

Это вот «ничто» и заполняется.

«Кофе по-венски... замечательные штрудели... венки... токайское... чешская кухня... венгерская кухня... венки... сливки... много взбитых сливок... венки... музыка уже совершенно чудная... Венки под музыку Вены!.. Чудесно!.. Талейран чувствовал себя в Вене превосходно».

А Меттерних?

«Меттерних взял яблоко. Почему-то у него возникла перед глазами Галиция. Яблоко... Парис... Афродита, Троя... нет, ранее: яблоко с надписью «Прекраснейшей»... Яблоко из сада Гесперид... Яблоко, принесенное Эридой... А-а, яблоко раздора. Галиция. Да-а, если бы тогда Понятовскому удалось отнять у Австрии Галицию, то поляки, наверное, потребовали бы свои провинции у России. И... А на службу Понятовскому уже поступили добровольцы из Подолии и Волыни. Яблоко раздора... Связующая нить...»

Что только не нанизывается на эту нить в неменяемой реальности!

«Шпоры... сабли... мчащиеся бешено кони... Мазурка!..

Серебряные кубки с мёдом... Кривые клинки... Кунтуши панства...

И море, и свобода, и солнце...

Мчат чёрные кони... сверкают глаза... эти матовые глаза, ах!

Мы сегодня выбираем среди дивных сеньор...

— Frau Welt! Dreimal! Hoch!

— Эту, эту — беленькую!

— Рыженькую!

— Можно и черненькую!»

Чтобы устоять в этой оргии соблазнов, достаточно мобилизовать в себе мужскую неприступность, неотделимую от человеческого достоинства. Но достоинство шире мужской неприступности; прелести красавиц не обнимают собой всего многообразия мира, а лишь встраиваются в его многоцветие.

Ледяная холодность разума помогает сопротивляться горячечному бреду, голографически неотличимому от реальности.

«Скала — каменеющая душа праведника».

Камень! Один только камень! Только один камень...

Серая неприступность — в противовес миражной всезахватанности.

Сколь богаты цвета этой мнимой реальности! Зелёная травка. Чёрная кровь, капающая с ножа сине-чёрно-грязного железа. Красная кровь и чёрная кровь чернеют вместе в смертельном объятии. Чёрный ужас! Красный огонь! Серебряные трубы в небе. На земле — красные, оранжевые и жёлтые листья. Зелёные, апельсиновые, гранатовые. Червонные матовые листья... Красная бумага. Обыкновенная бумага. Просто красная. А на ней чёрные буквы. Буквы — слова — буквы...

В этом миражном кружении всё обретает мгновенный смысл. Смысл этот может перейти в символику. Даже случайное имя... Камень, залетевший в ономастику.

Эйнштейн!

Случайно ли? Айн Штайн — один камень.

Единственно надёжный камень в качающемся фундаменте.

Заразившись этой образной логикой, я спрашиваю: что означает фамилия творца этой прозы?

Айзенберг — с идиша — железный рудник. Железо среди руды. Железная гора.

Ледяная гора среди горячих миражей.



Александр ФЕДЕНКО

/ Москва /

Из цикла
«Частная жизнь мадам Ханумы»

САБЛЯ

Я купил саблю. У старьевщика. Самую настоящую. У меня никогда не было сабли. Даже игрушечной. И ни у кого из моих друзей. И просто знакомых. Ни детских, ни взрослых. Все люди, которых я встречал, прожили свою жизнь без сабли. Так и доживут.

В детстве я был героем. Все мои друзья были героями. Мы могли стрелять из пулемета по врагам. Спасать любых, даже не слишком заманчивых, женщин. Без права на возмещение. Скакать на коне и рубить головы саблей. В этом есть прелесть и сила детства.

Я вырос и купил саблю. У старьевщика. Недорого. Она никому не была нужна. Вышел на улицу и сразу отрубил голову какому-то пешеходу. Даже не какому-то, а первому, который мне понравился. Проходившая рядом бабулька завизжала. Очень противно так завизжала. Зачем визжать, если тебе девяносто лет и приятно визжать уже не получается? И я сразу отрубил ей голову. Мимо шел усатый мужичок. Бессмысленно так шел. С бессмысленными усами. Я сразу понял, что он носит усы без всякого смысла. Видно было, что жил он без всякого смысла, и голова его покатилась так же — без всякого смысла. Пришел милиционер и попросил документы. Сказал, что я порядок нарушаю. Я показал справку из поликлиники и отрубил ему голову. Видно ведь, что человек без души живет и по улицам ходит.

Когда никого не осталось, меня сломила усталость. Я лег, положил саблю рядом с собой, обнял ее. Холодное истерзанное лезвие стало теплым.

ПРАЗДНИК

К Петру Петровичу на новый год пришли гости и стали веселиться, а ему стало скучно.

Он пошел на улицу и сел на скамейку. Сидеть было скучно.

Петр Петрович закурил.

— Какая скучная сигарета, — сказал он и прикурил другую.

Мимо шел прохожий и спросил:

— Который час?

— Скучота, — ответил Петр Петрович и решил повеситься.

Он нашел веревку и пошел искать подходящее дерево.

Прибежал хулиган в костюме Деда Мороза, забрал у Петра Петровича кошелек, часы, сигареты и веревку. А взамен дал в морду.

— Вот так праздник, — сказал Петр Петрович.

УТРО ХЛЫБЗИКОВА

К полудню сил продолжать спать дальше решительно не осталось, и Иван Петрович Хлыбзиков скинул с себя одеяло.

Он прошлепал на кухню, прилипая, отлипая и вновь прилипая необутыми ногами к серому вязкому линолеуму. Накануне Иван Петрович отмечал юбилей и вылил полбутылки крепленого на пол.

На плите муторно сипел чайник. Жена Ивана Петровича, Алина Карловна, сидела за столом, намазывая булку маслом.

Хлыбзиков зажег сигарету и засмотрелся на перекосившееся отражение кухни в старом никелированном боку чайника. Тлеющий огонек съедал сигарету, превращая ее в удушливый гадковатый дым. Иван Петрович глубоко затянулся, выперхнул из себя вместе с остатками сна сизое облачко и глухо закашлялся.

Чайник закипел.

Хлыбзиков почувствовал, что задыхается, и вспомнил детство. В глазах его проплыло далекое летнее утро, еще одно, еще, еще.

Но кашель вдруг ушел. И детство тоже ушло.

Наваждение осыпалось на пол теплым леплом сигареты. Иван Петрович наступил на него ногой и открыл окно.

Внизу под окном оранжевый дворник Галактион сливаясь с оранжевой листвой, сметал ее в кучи. Но ветер приносил новую листву, и все опять становилось оранжевым.

Иван Петрович выбросил окурок в окно и с интересом посмотрел, как он летит. Когда тот упал, Хлыбзиков сардонически засмеялся.

Зазвонил телефон. Иван Петрович взял трубку. Это был его начальник Степан Степанович, который интересовался, почему Хлыбзиков позволяет себе свинство не явиться на работу. Иван Петрович еще более сардонически засмеялся и выбросил телефон в окно. Голос Степана Степановича полетел вниз и разбился на тысячу уродливых осколков. Галактион смел осколки, а на их место тут же нападали оранжевые листья.

Хлыбзиков сел на табурет, огляделся по сторонам, увидел Алину Карловну и улыбнулся ей. Она увидела, что он увидел ее, и завизжала в контрольту, о чем-то догадавшись.

Иван Петрович схватил ее и тоже выбросил в окно.

Но она не полетела вниз. Ветер подхватил ее, как сорванную афишу или кусок обоев, и понес на деревья. Там она и застряла. И долго еще висела, держа в руке булку с маслом, пока Галактион не стряхнул ее. Лишь после этого ветер унес ее совсем уж неизвестно куда.

Иван Петрович сначала ходил по квартире, с липким треском ступая по линолеуму и сардонически смеясь, но потом проголодался.

Он сгреб крошки со стола и съел их, запив чаем.

После чая ему стало тепло и захотелось испытывать возвышенные чувства. Он пошел на бульвар и познакомился там с Агдой Карповной, которая ощущала в себе благосклонность к возвышенным чувствам.

Иван Петрович и Агда Карповна сидели на кухне Хлыбзикова, Агда Карповна мазала булки маслом, а Хлыбзиков кушал их и запивал чаем.

Насытившись сполна, Иван Петрович Хлыбзиков выкурил сигарету, посмотрел в ночное небо, лег в кровать и накрылся одеялом. Наутро он умер.

ПАРТИЯ

Корешков и Петушков сели играть в шахматы в парке.

— Я все правила знаю, меня не обжулишь, — сказал Корешков и двинул пешку влево.

— А вы сильный игрок, — ответил Петушков, подставляя свою ладью под удар. И открыл иллюстрированный справочник дебютов для ролевых игр.

Корешков задумался. Пока он думал, пешки подкрались к белой королеве и на лакированном боку нацарапали «вика-шлюха».

Три белых офицера приволокли бубнового короля и вмиг стали красными.

Петушков заскучал, налил два стакана чудесного бургундского из алюминиевой банки и предложил Корешкову выпить за победу. Они выпили, закусили луком, и Петушков тут же скончался, поврежденный цианидом.

Черный конь забил копытом, бессердечно заржал, превратился в жирафа и откусил голову Корешкову.

Кто-то подпалил ладьи.

Сидевший на дереве ворон посмотрел на вылезшего на шум червячка и прежде, чем его сожрать, по-дружески спросил:

— Зачем нам правила, если у каждого своя партия?

ПАМЯТЬ

Однажды Сидоров придумал, как жить вечно. И начал жить вечно.

Но потом он пошел в рюмочную и выпил там больше обычного. И без памяти влюбился в Элоизу Львовну.

Сидоров, потеряв память, забыл, как жить вечно. И сразу умер.

В Элоизу Львовну влюблялись только те, кто пил в рюмочной больше Сидорова. Но они не умирали, потому что перед этим ничего не придумывали.

А Элоиза Львовна жила еще долго. И любила Козлова, Жеребцова и даже Валерьяна Трофимовича, а некоторые из них любили ее. Но про Сидорова она иногда вспоминала, особенно когда заходила в ту рюмочную.

ПРОПАЖА, ИЛИ ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ

Сферический конь зацепился копытом за небесную ухабину и вывалился из вселенского вакуума прямо в наземное пространство где-то на окраине Твери. Он огляделся по сторонам, метаморфировался в мятый мусорный бак и сразу же начал соединяться с кислородом, осыпаясь красной ржавчиной на воющую землю.

Вследствие сего происшествия дворник Сидорчук из Саранска, будучи мертвецки пьян, встал, вышел из запоя и заговорил на редком диалекте арабского. Три монахини Свято-Духова монастыря испытали неземное блаженство непорочного зачатия. Ревизор Хреков открыл банку собачьих консервов и обнаружил внутри иностранные деньги.

Гражданин Веретейников нашел в своем плаще три мятых червонца.

В расплату за такое повреждение космического равновесия случилось несколько растрат в пространственно-временном континууме. Растворились в небесном эфире два депутата московской городской думы. В городе Барнаул исчез проспект Ленина весь целиком вместе с примыкающими тупиками. От Хрекова ушла собака. Сидорчук перестал понимать русский слог. Да и у монахинь обнаружился свой неочевидный ущерб.

Но самая ужасная пропаша осуществилась у гражданина Веретейникова. Он потерял веру в человечество. И никак не мог найти.

НА БЕРЕГУ

Виктор Петрович Вилкин сел на берегу реки и начал ждать.

В авоське у него была бутылка шампанского, банка шпрот и праздничная хлопушка.

Он подождал пять минут, но никто не проплыл.

— Что за волокита, — сказал Вилкин и открыл шампанское и шпроты.

Недоуменно допив шампанское, скушав шпроты и никого не дождавись, Виктор Петрович понуро бабахнул хлопушкой в небо и пошел домой.

А по реке проплыл мертвый Кондратюк, сослуживец Вилкина, взявший год назад в долг сто рублей и переставший здороваться. За ним плыл столь же мертвый Носков, сосед, он рисовал мелом некрасивые слова на двери Виктора Петровича. Следом, сразу вчетвером, проплыли

Воронцов, Торцов, Борцов и Аджарян, знакомые жены Вилкина. Этиплы особенно пикантно. И потом, не спеша, еще сто пятьдесят три не менее мертвых человека.

Но Виктор Петрович ничего этого не увидел, потому что очень торопился. Его мutilo от шпрот.

ПАДЕНИЕ

До падения оставалось всего ничего.

Елизавета Алексеевна Комфоркина очень спешила на работу и поскользнулась. Но не упала. Только залезла ногой в лужу и забрызгала чулки. Везде, куда ни глянь, была слякоть. И даже трамваи, которые ходят по ровно положенным рельсам, и те обдавали мир чем-то мутным.

Когда Елизавета Алексеевна поднималась на третий этаж, навстречу выскочил стажер Пинчук, весь в каких-то пятнах, и она выронила из рук сумочку. Сумочка упала, вещички из нее вывалились прямо на затоптаные ступени. А Пинчук сразу убежал.

Артур Тигранович тоже поднимался по лестнице. Он увидел, как она собирает свое подмаранное имущество, остановился и переждал. А когда Елизавета Алексеевна выпрямилась и оглянулась, он подмигнул ей.

Видевшая все Генриетта Петровна, поднимавшаяся за Артуром Тиграновичем, сказала Елизавете Алексеевне, что поступок ее безмерно скверен и даже непристойен. И что, наверное, ее теперь уволят.

Елизавета Алексеевна весьма огорчилась. И потому весь день у нее все валилось из рук и падало. А, когда вышла на улицу, повторно поскользнулась. И точно бы упала, но ее подхватил Артур Тигранович и не дал упасть.

Она испугалась и побледнела, но Артур Тигранович оказался исключительно почтителен и имел обходительность предложить подвезти ее на автомобиле.

А по настоящему Елизавета Алексеевна Комфоркина упала, когда запуталась в своих чулках в гостях у Артура Тиграновича. И даже повредила себе ногу и тут же стала хромать. Артур Тигранович посмотрел на ее хромоту и сказал, что в таком виде ей лучше уехать. На трамвае. Падающим женщинам в его доме не место. Тем более увечным. А сам от всей этой негармоничности тут же уснул.

Елизавета Алексеевна вернулась домой в своих обляпанных чулках и с сумочкой. Муж ее, Андрей Михайлович Комфоркин, сидел с очень зеленым лицом. Потому что за час до этого почувствовал себя совершенно неблагополучно, когда с потолка упала тяжеленная штукатурка и поцарапала ему голову. Он натер голову зеленкой. И сам весь измазался.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И.А. Савкин
Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 27.04.2014. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 20,4. Печать офсетная. Заказ 247.
Тираж 500 экз.